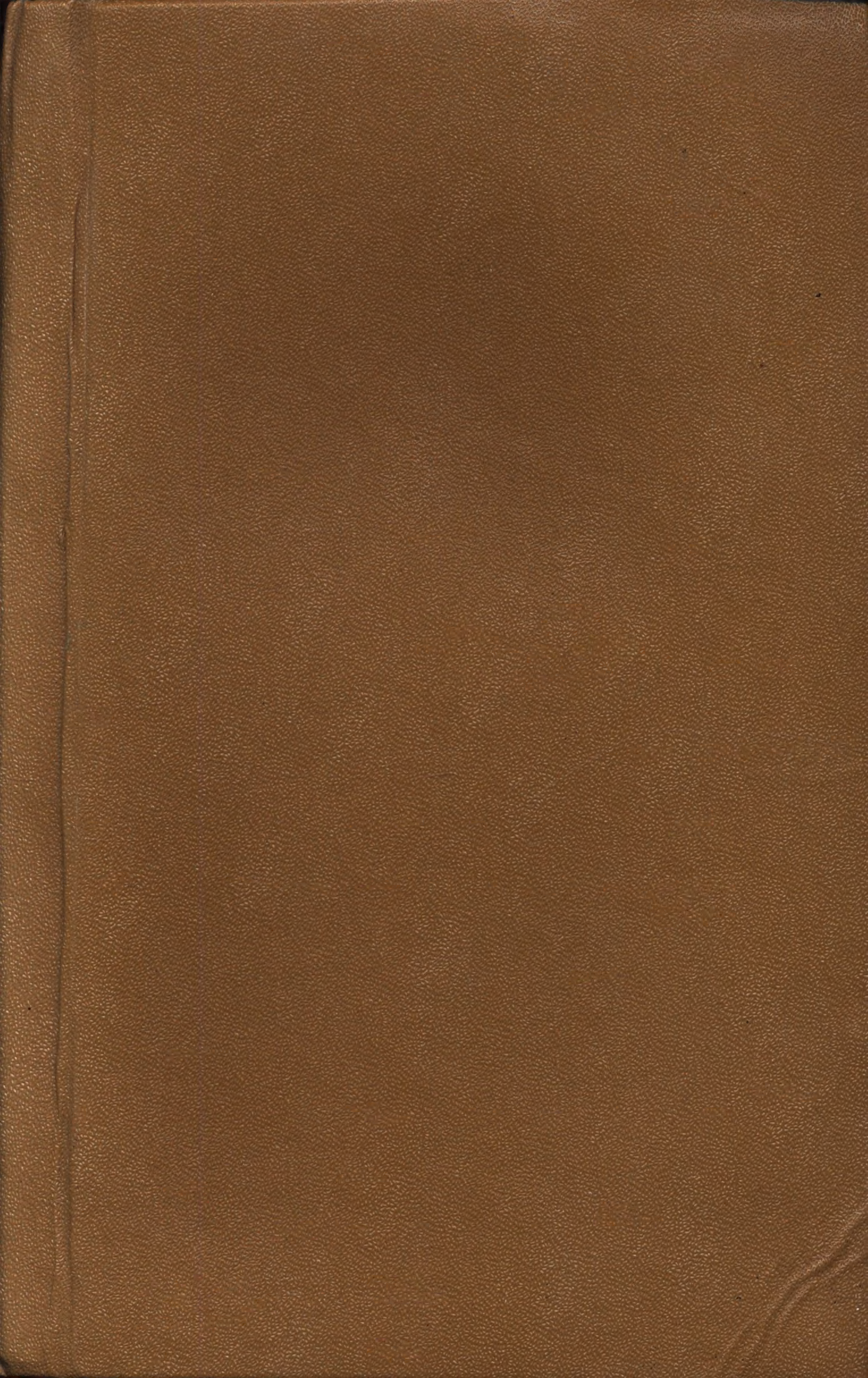


Ю. АВДЕЕНКО
Л. СЛОВИН
П. ШЕСТАКОВ

гвардия"

москва 1974





Ю. АВДЕЕНКО

повесть

ПОСЛЕДНЯЯ ЗАСАДА

Земля лежала под инеем — тонким и чуточку сизым от хмурого рассветного неба, нависшего над горами. Дорога белесой лентой разматывалась вдоль склона, по которому вниз, к оврагу, сбегали каштаны с широкими, безлистыми кронами, тоже прихваченные инеем, но не такие светлые, как дорога. Впереди, на взгорке, маячило подворье. И дым валил из трубы, пригибаемый ветром к длинной, одетой в железо крыше.

Четверо бойцов красного кавалерийского эскадрона — Иван Поддувайло, Семен Лобачев, Борис Кнут, Иван Беспризорный — ехали на лошадях и вели негромкий разговор.

— Это тот дом, — сказал Поддувайло. Он был старшим группы. — Здесь окрест километров на пятнадцать другого жилья нету. Нужно заслонить егерю путь к югу. Пужнуть его выстрелом в случае чего...

— Верно, — согласился Кнут.— Если он смоется в заповедник, тогда амбец. Тогда можно разматывать портянки и сушить их на солнышке.

— Почему? — пробурчал Лобачев.

— Потому, что Северо-Кавказский заповедник он знает лучше, чем ты свои грабли.

— Некультурное сравнение, — вмешался Беспризорный. — Огрубел ты, Боря. Можно сказать: знает лучше, чем ты свои пять пальцев.

— Это тебе для стихотворений культурные сравнения нужны. А жизнь на них плевать хотела.

Она со всякими дружит — и с культурными и с бескультурными.

— Прекратите чепуху молоть, — строго сказал Поддувайло. — Слухайте приказание. Красноармейцы Лобачев и Кнут ступайте в овраг и как можно швыдче выходите вон к тому карьеру. Ясно? Мы с Беспризорным пойдем прямо в хату...

— Опасно, — заметил Лобачев.

— Все равно вражину брать нужно. Прикрывайте.

Борис Кнут и Семен Лобачев слезли с лошадей.

Было раннее-раннее утро. Дул резкий ветер. Тучи, лохматые и седые, лениво надкусывали горы. И горы стояли без вершин, словно люди без шапок. И тишина была белой и немного сладкой от запаха прелых листьев.

Опустив морду, лошади с большой осторожностью ступали по скользким листьям, под которыми дремал овраг. И голые прутья кустарников мокро хлестали их по ногам и по крупам.

— Как ты думаешь, Семен, — спросил Боря Кнут, — у этого старого паршивца самогон есть?

— Заботы у тебя несерьезные, — ответил Лобачев укоризненно.

Боря Кнут не смутился. И не без хвастовства заявил:

— Я и сам несерьезный. Таким меня папа с мамой сладили.

— Среди людей живешь.

— Люди разные встречаются... Человек, он, понимаешь, Семен, как арбуз. Его же насквозь не видно. Это только в бутылке все ясно и прозрачно.

— Болтун ты, Борис... Уж лучше что-нибудь про любовь бы рассказал, про женское сердце...

— У кого что болит, тот про то и говорит, — усмехнулся Боря Кнут. — Относительно Марии сомневаешься. А ты плюнь на сомнения. К сердцу прислушайся. Там и ответ найдешь. Тем более не спец я по женской части. Женщины любят красивых и серьезных.

Овраг круто уходил вверх. Узкие камни лежали один на другом долгими желтыми пластами.

— Нам здесь не выбраться с лошадьми, — сказал Боря Кнут. — Лошадей привяжем в овраге. Им тут спокойней будет и безопасней. Вдруг тот псих стрелять начнет. Он птица непростая. Связным в банде Козякова был...

Семен Лобачев вздохнул:

— Места, конечно, необжитые. И даже жуткие.

— В том-то и заковырка. Как сказал бы Поддувайло: «Я те-

бя бачу, а ты меня ни». Может, старый черт нас давно на мушке держит? И наши молодые жизни от его фантазии зависят.

...Привязав лошадей, они выбрались наверх и, пригнувшись, пошли прямиком к карьеру. Дом егеря Воронина был отсюда на расстоянии полусотни метров. И они хорошо видели, как Иван Беспризорный, вскинув винтовку, присел за забором, а Поддувайло поднялся на крыльцо. Он недолго стучал в дверь. И ему открыла женщина в ярком сине-красном переднике. Он что-то сказал ей, а потом они скрылись в доме. Вскоре в дом пошел Иван Беспризорный. Было впечатление, что Поддувайло позвал его, выглянув в окно.

Семен забеспокоился:

— Может, нечисто там. И помощь наша требуется.

— Не дети они. Знак дадут. Криком или выстрелом.

— Знака нет — все спокойно. Так я понимаю?

— Правильно понимаешь, Семен. Кажется, старый хрен без боя сдался. Или дурака валяет, овечкой прикидывается.

— Закурим?

— Не грех.

Они не успели закурить. Из дома егеря Воронина вышел Поддувайло. Позвал их.

— Взяли? — спросил Кнут.

Поддувайло покачал головой:

— Утек. Старуха, значит жена евонная, бачила, что в ночь он подался. Собрал жратвы, ружье, патронташ...

— Да, — подтвердила старуха, — собрался, как для большого обхода. Только сказал, не жди, а поспешай к дочке в Курганную.

Она произносила слова без страха, но как-то злобно, словно едва сдерживала себя.

— Складно очень говоришь, мать, — прищурился Боря Кнут. — Точно молитву читаешь. А я скажу: обыскать прежде дом следует. Все закоулки, погреба, кладовки проверить.

Лицо у старухи не дрогнуло и взгляд не потускнел. Она продолжала говорить быстро. И все так же — с ожесточением. Точно избавлялась от тяжести:

— Воля ваша. Господь свидетель, правду сказываю. И утруждать себя обыском вам не нужно. Сама покажу. Склад тута есть. С оружием и припасами. На банду мой хозяин работал, чтоб ему, царица небесная, пути не было. Помогите мне горку сдвинуть.

Горка с посудой стояла в первой большой комнате, которая могла считаться и прихожей, и гостиной, и столовой, и залой.

Из этой комнаты вправо и влево вели по две двери. Таким образом, в доме имелось пять комнат. В одной из них, где нежно пахло хорошими духами, Кнут увидел на смятой постели иностранную книгу. И очень удивился, хотя и не понял, на каком языке она написана.

— Чья? — спросил он. — Кто у вас в доме по-буржуазному читает?

— Анастасия.

— Родственница?

— Сам-то велел называть ее племянницей. Только мы в родстве с полковником Козяковым не состоим. Дочкой она ему доводится, — ответила старуха.

— Где же теперь прячется эта Анастасия?

— Ушла. — Хозяйка посмотрела на Борю так, что у него мурашки на спине выступили. Боря винтовку крепче сжал. Семену Лобачеву шепнул:

— Ты выдь, посиди возле дома. Не вдруг нас здесь, как котят, передавят. Сомневаюсь, что старый черт далеко смылся.

А в это время Поддувайло и Беспризорный возились с горкой. Она была вделана в пол. Закреплена, видимо, на винтах. И хотя трещала, но не двигалась.

— Под горкой лаз в погреб, — словно шипя, говорила старуха. — Он меня выгонял, как собаку, ежели туда спускался. Ну да окна в доме есть.

— Секрет тут какой-то, — сказал Беспризорный.

— Полки пробуйте. В полках хитрость, — подсказала хозяйка.

Тогда Поддувайло обратил внимание, что ребро левой полки второй снизу, залапано и что на полке ничего не стоит. Он двинул полку ладонью, и весь левый нижний отсек пополз в стену. Из черной пасти погреба дохнуло сыростью.

Старуха зажгла керосиновую лампу. Подала ее Ивану Поддувайло, который уже стоял на лестнице, спустившись в погреб больше чем наполовину. Пламя, изогнувшись, лизало стекло, и копоть убегала вверх длинной, расширяющейся книзу дорожкой. Иван принял лампу. Держа ее над головой, спустился в погреб.

Вначале он молчал. Наверно, осматривался. Потом громко сказал:

— Хлопцы! Под вами целое богатство.

Боря Кнут крикнул:

— Иван, я к тебе!

Через несколько секунд он стоял рядом с Поддувайло в низком, но широком и длинном погребе. И считал вслух:

— Три пулемета. Винтовок... Раз, два... Семнадцать, восемнадцать... Двадцать четыре винтовки. А это, конечно, гранаты. И в ящиках гранаты.

— В ящиках патроны, — ответил Поддувайло, который успел сорвать крышку с одного ящика. Патроны лежали по пятнадцать штук в небольших коробках из промасленного картона. Поддувайло разорвал коробку, и патроны заблестели у него на ладони.

— Девять ящиков — это много, — сказал Боря Кнут. — Это тебе не хулиганство. А настоящая контра... Я вот одного, Иван, не пойму. Ведь сейчас не восемнадцатый год и не двадцатый... Тридцать третий, можно сказать, свое оттопал. И вдруг саботаж. И бандиты, как грибы после дождя, повылазили. Ты, Иван, коммунист. Ты и сведи мне концы с концами...

Поддувайло нахмурился, крякнул, бросил патроны в ящик. Сказал Кнуту:

— Подойди поближе. Глянь, на каком языке написано. А эти гарные винтовки? Что их, на Кубани или в России сработали? Догадываешься, как они сюда попали?

— Ясно.

— То-то и оно...

И Поддувайло показал рукой на темную, обшитую дубом стену. Затем, повернувшись лицом к Борису, продолжал:

— Зерно в этом. Но брось ты зерно на каменный шлях, и оно погибнет. А урони в огороде — оно поросль даст. Вот Кубань и оказалась огородом. Кулачья здесь было — хоть пруд пруди. И пришлась им коллективизация ножом к горлу! Конечно, шпионы разные воспользовались... А народ бандитов не поддержал. Вот они и лютуют...

Поддувайло резко повернулся и зашагал к лестнице. Сказал:

— Возьми лампу.

...Минут десять они держали военный совет. Обсуждали создавшуюся ситуацию, которая не была предусмотрена приказом. Стало ясно, что приказ был отдан наспех, когда кавалерийский эскадрон вышел на преследование банды Козякова. Командир взвода, уже сидя в седле, подозвал к себе Поддувайло и велел взять трех бойцов и отправиться за несколько десятков километров, чтобы задержать егеря Воронина. О том, что егеря может не быть дома, никто не подумал. Обнаруженный склад боеприпасов и оружия еще больше усложнил ситуацию. На четырех лошадях они никак не могли увезти все. С другой стороны, вполне можно было предположить, что бандиты очень рассчитывают на склад. И придут сюда. Это может

случиться и завтра, и послезавтра... Но может случиться и сегодня, через час, через два. Или даже через несколько минут.

Было принято решение, показавшееся самым разумным. Лошадей укрыть в конюшне егеря. Семену Лобачеву отправиться в штаб эскадрона. Трое же — Иван Поддувайло, Борис Кнут, Иван Беспризорный — останутся в доме егеря — в засаде.

Семен Лобачев вскочил в седло...

Поддувайло и Кнут снимали смазку с «максима», который они вытащили из погреба. Иван Беспризорный, наблюдатель, сидел у окна.

Старуха сказала:

— Сынки, я вам картошки наварю. И мука у меня есть. Оладьи пожарить можно.

— Спасибо, товарищ мамаша, — ответил Поддувайло и поинтересовался: — Скажите, как вас зовут?

— Матрена Степановна.

— Спасибо вам, Матрена Степановна. Мы про ваше хорошее участие командирам доложим.

Боря Кнут улыбнулся. Озорно спросил:

— Нескромный вопрос. Я понимаю. Но чего это вы на своего дражайшего муженька зуб имеете?

— А это уже наше между ним дело...

Матрена Степановна ушла к печи. Некоторое время никто ничего не говорил. И только было слышно, как позвякивали детали пулемета да гремела конфорками хозяйка.

Потом Кнут подмигнул Поддувайло, кивком головы указал на Беспризорного:

— Опять Иван стихи пишет.

Беспризорный положил карандаш на подоконник. Ответил:

— Первую строчку придумал. Жестокое слово засада...

— Верно, — согласился Кнут. — Слово такое, что кровью от него пахнет, как... Ищу культурное сравнение. Как из ствола порохом.

— Слово обыкновенное, — отозвался Иван Беспризорный. — Только очень старое. Придет время, и оно умрет.

— А разве слова умирают?

— Конечно. Только не так легко, как люди.

— А я не верю, — возразил Кнут. — Что их, чахотка поедает?

— Время хуже чахотки. Вот пример. Ямщик — мертвое

слово. Потому что нет на Руси ямщиков. Последний, может, уже полвека в земле лежит.

— Значит, когда-нибудь и последняя засада будет...

— Выходит, так.

Боря Кнут лицом посветлел, точно небо на рассвете:

— Братцы, кто знает: вдруг наша засада и есть самая последняя...

— Все может быть... Гадать не время, — ответил Беспризорный, всматриваясь в окно, и с тревогой добавил: — Лобачев вернулся.

Они услышали цокот копыт на дворе. А вот уже и Лобачев вбегает в комнату:

— Бандиты!

— Много?

— Десятка три. В километре от оврага. Двигаются в нашем направлении.

Поддувайло выпрямился. Руки ниже пояса. Пальцы в смазке.

— Лобачев, мигом прячь лошадь в конюшню. Пулемет на чердак. Занимаем круговую оборону. Кнут — север. Беспризорный — восток. Лобачев — юг. Они двигаются с запада. Я встречу их пулеметом. Раньше меня никто огонь не открывает. Подойдут близко, встречайте гранатами. К бою, товарищи! Кнут, подсоби мне втащить пулемет.

Возможно, осторожность и не родная сестра победы. Но все равно они в близком родстве. И это понимают бандиты. И без нужды не рискуют.

Они сосредоточились в овраге. Вперед выслали только одного. И он не шел, а трусил мелко, как побитая собака, точно чувствовал, что всадят ему сегодня промеж костей несколько граммов свинца. И жизнь кончится, и страх тоже... Он был совсем молодой. Может, шестнадцати лет, может, семнадцати... Чей-то кулацкий сынок... И вот он двигался к дому егеря Воронина с обрезом наперевес. И конечно, очень боялся... Он не упал, а плюхнулся на землю, когда раскрылась дверь и вышла Матрена Степановна. А потом, увидев старую женщину, он сообразил, что ему, казаку, не к лицу лежать перед ней на пузе, поднялся, подтянул штаны и крикнул:

— Тетка! Хозяин дома?

— Шоб тебя, проклятый, лешак побрал вместе с моим хозяином.

Парень осмелел:

— Тетка! А ты одна?

— Отвяжись, окаянный... Нешто в мои годы полюбовников приваживать?

— Эй! — закричал парень, повернувшись лицом к оврагу, и замахал над головой рукой.

Из оврага стали выбираться бандиты, и конные и пешие. Гурьбой, наперегонки устремились к дому, силясь опередить друг друга, чтобы разжиться жратвой.

Иван Поддувайло очень удивился этому. Он не знал, что кавалерийский эскадрон жестоко потрепал бандитов и преследует их буквально по пятам, что полковник Козяков уже несколько часов лежит мертвый и что бандиты очень торопятся...

Очередь вышла смачной. Бандиты падали, как в кино. Извивались, корчились, раскрывали рты в крике... Здорово! Ой как здорово! Еще десяток секунд, и все будет кончено. Им же, гадам, некуда деться. Они как оглашенные бегут к оврагу. Да только не успеют. Не успеют!.. И вдруг — тишина. Нет. Внизу стонали, и кричали, и топали. Но Иван ничего не слышал. Пулемет молчал. Заело ленту. Или что-то стряслось в механизме подачи... Иван стал на корточки. Откинул крышку затвора...

Его увидели из оврага и убили.

И если бы они тотчас вновь бросились в атаку, дом пал бы. Но бандиты не бросились. Они не знали, сколько людей засело в доме. И потому повели себя так, как вели осаждающие во все времена. Они окружили дом. И только потом поняли, что количество защитников невелико.

Но бандиты очень торопились. Они даже кричали:

— Эй, вы! Большевики! Отдайте нам три ящика патронов И мы уйдем...

Боря Кнут ответил на это предложение крепким словом.

Беспризорный стрелял редко. Он видел, как выглянуло солнце, как схлынули тучи, обнажив золотистые вершины гор. И подумал, что еще очень рано, наверное, часов восемь утра. Он бросил гранату, когда увидел группу бегущих на него небритых людей. И еще он бросил вторую гранату. А третью не успел... В последнюю секунду он не думал о стихах. Но лицо выстрелившего в него бородатого человека показалось Ивану похожим на веник. Такой узкой была голова, а борода, наоборот, расходилась клином.

Частил Семен Лобачев. Попадал редко. Но двое уже лежали возле конюшни. Неподвижно лежали. А остальные не смели подойти. Стреляли редко. Берегли, сволочи, патроны. Ему показалась подозрительной тишина. И он распахнул дверь в большую комнату. Увидел лежащего на спине Борю Кнута и кровь,

вытекающую из него. Он шагнул к товарищу... Пуля встретила Семена Лобачева.

А бандиты уже бежали прочь, бежали сломя голову. К дому егеря выходили цепи кавалерийского эскадрона...

Матрена Степановна спустилась с чердака, обошла комнаты. Перекрестилась. Но вдруг увидела живое лицо лежащего на спине Бориса Кнута. Красноармеец пошевелил губами и тихо сказал:

— Мать...

Она решила, что он просит пить. Принесла ему ковш воды. Он припал губами к холодным краям. И вода текла по подбородку на гимнастерку и смешивалась с кровью. Отстранив ковш, Боря Кнут сказал:

— Мать, у тебя нет, мать, самогончику? Хоть стакан или половину. Я тебе отдам. Честно. Мне один поп четверть должен. За библию. За такую красивую. Но тяжелую, как кирпич...

Она побежала в чулан, где под скамейкой стояла бутыль в плетеном чехле. Но когда вернулась со стаканом, Кнут был мертв.

— Царство тебе небесное, — сказала Матрена Степановна, перекрестилась торопливо.

Во дворе красноармейцы обыскивали пленных бандитов...

Так закончилась операция по уничтожению банды полковника Козякова. Но заключительная точка во всей этой истории еще не была поставлена.

Давайте же вернемся на три месяца назад и проследим за событиями, предшествовавшими последней засаде Ивана Поддувайло и его боевых друзей.

Часть первая

«ПАРИЖСКИЙ САПОЖНИК»

1

Большие жилистые руки лежали поверх малинового одеяла. И пальцы были сжаты в кулаки со страшной силой, отчего линии сосудов проступали, словно татуировка. Перебинтованная голова вминала подушку, прислоненную к низенькой спинке голубой узкой кровати — единственной в палате, с большим, выходящим во двор окном. Над окном трепетали накрахмаленные занавески. И Каиров, войдя в палату, сразу обратил внимание на эти занавески. Вернее, на то, что ветер колышет их. Значит, рамы открыты!

Каиров подошел к окну, посмотрел вниз. Он увидел асфальтированную кромку возле стены, гаревую дорожку, а за ней рыжеватый подстриженный газон. Нетрудно было догадаться, что во все палаты первого этажа можно легко проникнуть с улицы через окно, ступив ногою на маленький карниз, возвышающийся в полуметре от земли, а затем подтянуться до подоконника.

Проведя по подбородку ладонью, словно проверяя, не зарос ли, Каиров строго спросил:

— Кто распорядился поместить раненого на первом этаже?

— Я, — тихо ответил дежурный врач. — Сотрудники, доставившие его, потребовали отдельную палату. Эта была единственной. В больнице на втором этаже ремонт.

Каиров нахмурился, достал из кармана толстовки папиросу. Остановился возле кровати, глядя в затылок Челни — седенького милицейского доктора. Выпрямившись, поправив пенсне, Челни обернулся к дежурному врачу, напуганному происшествием, и спросил:

— Где у вас умывальник, коллега?

— Вторая дверь направо... Я вас провожу.

— Одну минутку... Ваше слово, доктор Челни, — сказал Каиров.

Челни вынул большой, в половину газеты, носовой платок и, вытирая руки, предложил:

— Мирзо Иванович, вчера за визит я получил ведро картошки. Это же богатство! У меня есть вяленая ставридка. И немного чачи... Поехали ужинать.

— Интеллигентный вы человек, Семен Семенович. Слишком интеллигентный для нашего сурового времени. — Каиров скептически улыбнулся. — Ну а теперь о деле...

— Смерть наступила мгновенно. Четверть часа назад, в результате ножевого ранения в область сердца.

Челни снял пенсне, убрал его в футляр и сказал дежурному врачу:

— Пойдемте, коллега.

Каиров вышел вслед за ними. Стоявший у двери милиционер вытянулся. Каиров назвал его по фамилии и велел вызвать инструктора с собакой, чтобы тщательно обследовать газон и прилегающие к нему дорожки.

Рывком распахнув дверку, Каиров втиснулся в машину. Через минуту пришел Челни. Положил на колени портфель. Сказал:

— Как же насчет ужина, Мирзо Иванович?

— Настойчивый вы мужчина, необыкновенно... — ответил

Каиров. Он говорил с незначительным кавказским акцентом, и буква «е» через раз у него звучала, как «э».

— Настойчивый... Представьте... Нет, не отмахивайтесь, а только представьте... Молодая кубанская картошка. Розовая. Одна в одну. Такую и за большие деньги не купишь.

— У кого они есть, эти большие деньги?

— Думаете, нет... Прикиньте, сколько здесь на побережье в восемнадцатом году золота осело.

— Торгсин свое дело делает...

— Товары не только в торгсине. Французское мыло предлагали моей жене не далее как вчера. Этакий ароматный желтый квадратик с выдавленной надписью: «Париж».

— Где предлагали?

— У скобяного магазина на улице Полетаева.

— Кто?

— Мужчина.

— Какой он из себя? Приметы?

— Женщина есть женщина. Даже если она и жена милицейского доктора...

— Многие женщины очень наблюдательны.

— Моя супруга не такая.

Машина ехала медленно. Улицы были узкие, без тротуаров. И люди ходили по проезжей части. И не спешили сторониться, услышав сигнал автомобиля. Они замедляли шаг. Провожали машину взглядом, не злобным, а удивленным, как если бы смотрели на слона.

— У меня прострел, — сказал Каиров.

— Нагрейте соли... А еще лучше — подкладка из собачьей шерсти.

Каиров недоверчиво покосился на доктора, но не возразил.

Вскоре машина въехала во внутренний двор трехэтажного дома, сложенного из белого кирпича. Высокий кипарис, возле которого торчала водопроводная колонка, возвышался посреди двора, покачивая узкой вершиной.

Было пять часов вечера. И небо уже отливало розовым светом. Как оно всегда отливало осенью в это время, если тучи не заволакивали солнце. Двор был не убран. На траве и около потемневшей от ветхости скамейки валялись обрывки газет. Сотрудники, разморенные за долгие часы работы в душных кабинетах, под вечер выходили подышать свежим воздухом, покурить, пожевать принесенный из дому бутерброд.

В четвертом подъезде оперуполномоченный Волгин говорил утешительные слова заплаканной вдове Мироненко — машинистке из угрозыска.

— Крепись, Нелли. Горю слезами не поможешь, — сказал Каиров. — Найдем убийцу. Верно я говорю, Волгин?

— Точно, — подтвердил Волгин.

— Пойдем. Ты мне нужен.

Каиров тщательно прикрыл за собой дверь, прошел к столу, указал Волгину на диван:

— Садись. Рассказывай, как Хмурого брали.

— Ну вы знаете, что опознали его два дня назад. Привесили хвост. Но он ни с кем не встречался. Жил в гостинице. Вещей при нем не было. Только маленький баульчик с продуктами. Во вторник и в среду с половины двенадцатого до двенадцати прогуливался на центральном бульваре у афиши кино. Ровно в двенадцать становился спиной к афише и был неподвижен в течение минуты.

— Вы не запомнили название фильма?

— «Парижский сапожник»...

— Что было дальше?

— В ночь со среды на четверг в третьем часу он пришел на вокзал к поезду. Билет купил до Ростова. За десять минут до прибытия поезда Мироненко приказал брать Хмурого... В последний момент Хмурый понял, что попался. Бросился бежать по шпалам в сторону переезда. Оттуда и грохнул выстрел... Когда мы подбежали, Хмурый уже бредил.

— А именно, что он говорил?

— Повторял слово «нумизмат»... А может, это было какое-нибудь другое слово. Но мне показалось, что он раза три повторил именно это слово.

— Больше он ничего не говорил?

— Нет... Когда мы принесли его в медпункт вокзала, он потерял сознание. Я попросил медсестру остановить кровотечение и наложить повязку. Она сказала... Возможно, боялась... Но она хотела, чтобы я был рядом. В это время раздался еще один выстрел. А секунд десять спустя началась стрельба. Я знал, что Мироненко и два дежурных милиционера обследуют прилегающий к переезду участок. Оставив Хмурого на попечение медицинской сестры, я побежал к переезду... Мироненко был уже мертв. Милиционеры лежали возле него и палили в кусты ежевики. Буквально пять минут спустя мы оцепили пустырь со стороны шоссе и по склону Бирюковой горы... Но никого не обнаружили. Вероятно, неизвестный стрелял из револьвера. И гильзы остались в барабане. Мы не нашли ни одной. Трудно предположить, чтобы он собирал их в темноте.

— Дежурный по переезду допрошен?

— Да. Ею оказалась женщина. Проверенный и надежный

товарищ. Выстрелы она слышала. Но ни по путям, ни по шоссе мимо будки никто не проходил. Побывали мы и в поликлинике. Там тоже находились дежурные. А в лаборатории люди работают круглые сутки. И они слышали выстрелы, но выходить из помещения побоялись. Говорят, береженого и бог бережет.

Лохматый, как пудель, Золотухин приоткрыл дверь и, просунув голову, спросил:

— Мирзо Иванович, можно?

— Входи!

Золотухин шел плавно, словно скользил по паркету.

— Мирзо Иванович, а мы кое-что нашли.

— Неужели гильзы?

— Сразу гильзы. Пуп земли — гильзы... Кое-что поинтереснее.

И он положил перед Каировым крошечный белый лоскуток величиною с автобусный билет.

— На кустах ежевики висел.

— Ну и что? — не скрывая разочарования, спросил Каиров.

— Я высчитал условную траекторию полета пули. Линия шла под углом в тридцать пять градусов к железнодорожному полотну. Зная убойную силу револьвера, мне нетрудно было определить место, где стоял убийца. Когда я был маленький, Мирзо Иванович, физика и тригонометрия были моими любимыми предметами. Я и сам не пойму, почему позднее решил стать милиционером. Убийца стрелял с тридцати метров. Не попади он в переносицу, мы могли бы навещать Мироненко в больнице.

Каиров скептически улыбнулся:

— Милый мой, даже точные науки подчиняются законам логики. Если ты задумаешь кого-нибудь убивать осенней ночью, ты не станешь надевать ни белую блузку, ни куртку, ни халат... Или еще черт знает какую одежду, в которой будешь виден за километр.

— Однако факт налицо. Вы же первый, кто требует от нас фактов, и прежде всего фактов.

— Ты отнимаешь у меня время, — сказал Каиров со свойственной ему прямотой. — Но раз в мои обязанности входит и воспитание кадров, садись, наматывай на ус...

Каиров раздраженно поднял телефонную трубку. С усилившимся кавказским акцентом — первым признаком недовольства — сказал:

— Девушка, соедините с поликлиникой. Заведующего... То-

варищ Акопов, это Каиров. Проконсультируйте меня по одному вопросу.

— Пожалуйста.

Кажется, у Акопова был громкий голос, а может, это целиком заслуга телефона, но Золотухин и Волгин отлично слышали все, что говорил заведующий поликлиникой.

— У вас в поликлинике кто-нибудь остается на ночь?

— Безусловно. Дежурный врач «Скорой помощи». Медицинская сестра. Кучер. Сотрудник в лаборатории.

— Скажите, они выходят ночью из здания поликлиники?

— Безусловно. В случае вызова «Скорой помощи».

— И только?

— Безусловно. То есть не совсем безусловно. У нас нет канализации.

— Ясно. Людям приходится выходить ночью...

— Да... Но в туалете, если это слово здесь применимо, отсутствует электричество.

— Остается пустырь, — подсказал Каиров.

— Вероятно, так. Мне никогда не приходилось бывать ночью в поликлинике.

— Спасибо. Еще один вопрос. Ваши люди и ночью носят белые халаты?

— Безусловно.

— Как вы думаете, они снимают их, когда выходят, э... на улицу?

— Думаю, что не всегда.

— Спасибо вам, товарищ Акопов.

Звякнула трубка. Каиров довольно посмотрел на Золотухина.

— Вот так, милый сыщик... Надо бы помочь докторам. Послать к ним электрика. И у нас, глядишь, время зря бы не пропадало.

Золотухин — большой артист. У него на лице одно, а про себя другое. Он сейчас не хочет раздражать начальника. И всем своим видом демонстрирует — сдаюсь, ваша взяла.

А Каиров любит, чтоб брала именно его... Вот он вышел из-за стола, заложил руки за спину и не спеша начал ходить от двери до окна... В кабинете стоял густой сумрак, но Каиров не включал свет. Он не хотел зашторивать окна. Потому что в свои пятьдесят лет был полным человеком, страдал одышкой и предпочитал свежий воздух всем другим благам.

— С личным делом Хмурого вы знакомы, — сказал Каиров. — Контрабанда. Валюта. Наркотики... Хмурый не убит на переезде, а час назад зарезан в больнице. Никто из его старых дружков на мокрое не пойдет... Все-таки появление Хмурого,

которого месяц назад видели в Лабинске, и действия банды Козяка — это одна цепь... С бандой будет покончено в течение ближайших недель. Нас интересует другое... Очевидно наличие иностранной агентуры, которая руководит и помогает банде. Мы не знаем каналы связи. Но они существуют... Возможно, что Хмурый прибыл сюда как связной. Но где же тот, к кому он шел... Вот это нам и поручено выяснить. К выполнению операции приступаем сегодня же. Золотухин, устроишь побег Графу Бокалову. В десять вечера. Для приличия дашь пару выстрелов вверх. С помощью Графа необходимо выявить всех, кто связан с контрабандой, валютой, торговлей наркотиками. Всю операцию знаю я. И начальник краевого отделения. Кодовое название операции... Где они встречались? У какой афиши?

— «Парижский сапожник», — подсказал Золотухин.

— Операцию назовем «Парижский сапожник», — решил Каиров.

Он любил названия загадочные и необычные.

Когда Золотухин ушел, Каиров положил руку на плечо Кости Волгина и сказал:

— Тебе, Костя, предстоит выполнить самую трудную часть операции «Парижский сапожник».

2

Хлябкая изморось. Степь круглая, как сито. Пирамидальные тополя. Оголенные, мокрые. Они, точно странники, появляются то справа, то слева. И дорога — кашица из черной грязи, по которой едва двигается телега.

Пара усталых лошадей рыжей масти бредет медленно. Воздух холодный, и над крупами животных поднимается пар. Возница сидит на передке как-то полубоком. Искоса поглядывает на пассажиров. Он не очень им доверяет.

Пассажиров трое. Один, Владимиром Антоновичем его называют, по возрасту, видать, самый старший. В шляпе, в очках, в тонком пальто. Что пальто тонкое — это его собственное дело. Очки на Кубани многие носят, особенно кто в городе родичей имеет. А вот насчет шляпы — товарищ маху дал. Не привыкшие тут до шляп жители. Раздражение такой убор вызвать может. Сомнение. Вместе со шляпой и голову потерять не в диковинку.

Второй, может, цыган, может, татарин. Глаза черные, хитрые, как у сатаны. Ростом маленький. Всю дорогу, подлец, руки в карманах плаща держит. Это точно — пистолеты не выпускает.

Третий — чистый жулик. В кожанке. И с чубчиком.

Ящики какие-то с ними, лопаты...

— Так вы, значит, добрые люди, из Ростова будете? — заискивающе спрашивает возница.

— Бери выше, отец, — говорит жуликоватый. — Из самой Москвы. Мы, батя, геологи. Полезные ископаемые в ваших краях искать будем...

— Окромя грязи, тута ничего нету, — заявил возница.

— А мы дальше поедем...

— Дальше дальшего не бывает. Куда же это?

— В хутор Соленый... Рожкао...

Возница побелел. Повернулся к ним. Руки трясутся:

— Люди добрые, не губите...

Никакого впечатления. А коротышка рук из карманов не вынимает. Так и жди, всю обойму выпустит.

— Сынки, если шо, забирайте коней и телегу тоже... Я ходом своим до Лабинской доберусь. Я, понимаете, пять душ детей имею... Жинка на прошлой неделе ногу подвернула... В каких дворах золото есть, не знаю. В нашей семье его отродясь не было.

— Что с вами, товарищ? — спросил тот, в очках и шляпе.

— Пужливый я больно... — признался возница.

— Зачем же нас пугаться? Мы ученые, приехали сюда проводить геологоразведочную работу. Я профессор Фаворский. А это мои коллеги.

— Меня зовут Аполлон, — сказал жуликоватый. — А его Меружан...

Возница опять побледнел:

— Имена-то странные.

— Какие родители дали, — усмехнулся Аполлон.

Меружан не улыбался, никак не реагировал, а сидел неподвижно, словно глухонемой. Не вынимал рук из кармана. И ткань плаща подозрительно оттопыривалась, точно в кармане и в самом деле торчали пистолеты.

— Может, нам документы предъявить? — спросил профессор.

— Для порядку бы, — сказал возница, никогда не ходивший в школу, он и расписывался-то крестиком.

Вид бумаги с машинописным текстом и фиолетовой печатью подействовал на него успокаивающе. Возвращая ее профессору, повеселевший возница сказал:

— Люди добры, да куда же вы едете? Вы знаете, шо здесь творится? А в тех краях особливо... Бандитов — как собак нерезаных. На прошлой неделе наши их сильно потрепали. Да

вот жаль, начальника отделения в том бою убили... Добрый мужик был. С пониманием... И все кулачье проклятое...

— На этих днях бандиты не показывались? — впервые за всю дорогу сказал Меружан.

— В горах, гады, отсиживаются... Если бы жинка ногу не подвернула, я бы с обрезом...

Возница достал из-под тулупа большой промасленный обрез и положил в телегу.

— Так-то лучше, отец, — сказал Меружан. — Я эту пушку давно заприметил...

— Шо вы, добры люди... Бандюги же моего родного брата прикончили. Председателем сельсовета он был. И жинку его попоганили и зарезали. И дочку трехлетнюю не пожалели. Я их, гадов, многих в лицо знаю. Всю Малую Лабу излазию, до Псибая дойду... Пусть только жинка ногой затопает...

— Горы большие, — сказал Аполлон. — Искать бандитов будет не легче, чем иголку в стоге сена.

— У меня ниточка есть... Старый княжеский холуй егерь Воронин. Чуется, что он не побрезгует и на бандитах заработать. С кем только он здесь не якшался: и с англичанами, и со шведами...

Возница провел рукавом по мокрому лицу. Вскинул вожжи... Пахло землей, лошадиным потом... Надрывно повизгивали колеса.

Одноэтажные домики станицы показались лишь в сумерках.

Гостиница стояла в самом центре. И достаточно было войти в прихожую, оклеенную состарившимися обоями, чтобы сразу представить «блага», которые ожидают путника. Вонь, холод, клопы...

Геологам отвели боковую комнату. В ней стояло пять убранных кроватей. Наволочки на подушках свежие, но залатанные и заштопанные. Одеяла — солдатские, зеленоватого цвета.

Профессор предупредил заведующего гостиницей, что они везут дорогие приборы, и просил посторонних в номер не поселять.

Койки выбрали подальше от окна. Оно вытянулось чуть ли не во всю стену, с мутными пятнами на стеклах. Вторых рам не было. Шпингалеты держались на честном слове...

Аполлон вышел в коридор и спросил у дежурной, что и где здесь можно купить из съестного. Плохо одетая женщина — и, может быть, прежде всего по этой причине непривлекательная — терпеливо разъяснила, что базар в станице бывает с шести до девяти утра. Там иногда предлагают продукты:

лепешки, требуху, вареную кожу. Но больше на обмен. За деньги купить почти ничего невозможно.

Пришлось терзать московские запасы...

Поужинав, геологи потушили свет и легли. Несмотря на дальнюю дорогу, которую им пришлось сегодня преодолеть, сон не приходил...

Аполлон сел, опустив на пол ноги, и без энтузиазма сказал:

— Клопы предприняли психическую атаку.

— Ты самый толстый, — сказал Меружан. — Клопы знают, что делают.

— Не включай свет, — предупредил профессор.

— Я не кошка, я в темноте не вижу.

— Все равно не включай, — предупредил профессор.

— Может, он не придет, — возразил Аполлон.

— Не будем дискутировать, — сказал профессор. — Лежите и ждите...

— Знаете, сколько времени человек тратит на ожидание? — спросил Меружан. — Двенадцать лет, или одну пятую всей своей жизни.

— Сам подсчитал? — спросил Аполлон.

Меружан промолчал.

— Что молчишь? Стесняешься?

— На глупые вопросы не отвечаю...

— Всё, — сказал профессор. — Молчок, коллеги...

Тикали часы. На улице лаяли собаки. Черные тараканы шуршали под обоями, словно гонимые ветром обрывки газет.

В окно трижды постучали. Профессор сбросил одеяло и оказался совершенно одетым. Мягко ступая в шерстяных носках по крашеному полу, он приблизился к окну и повернул шпингалет. Шпингалет звякнул громко, точно оброненные ключи. Скрипнув, разошлись рамы.

— Два, — сказал человек за окном.

— Восемь, — ответил профессор.

— Владимир Антонович?

— Да.

— Вам записка и привет от Кравца.

3

Светало. Вода чавкала под сапогами. Листья, и не успевшие облететь, и те, что уже несколько недель лежали на земле мягким желто-коричневым ковром, поблескивали капельками воды уныло и даже сумрачно. Потому что небо тоже было сумрач-

ным — без низких свинцовых туч, похожих на глыбы, серое обложное небо.

Пахло прелыми листьями и желудями и разными травами, пожелтевшими и примятыми монотонным осенним дождем.

День обещал быть слезливым. Это совсем не радовало егеря Воронина, путь его ожидал длинный и в такую погоду небезопасный. Вода размочила склоны, взбодрились ручьи. Они спешили вниз, пенясь и урча, узкие и холодные, как змеи.

Егерь нес трех подстреленных на заре тетеревов. Так как считал, что с пустыми руками ему идти неудобно. Воронин же любил охотиться на боровую дичь. В пятьдесят лет у человека масса привычек, от которых поздно избавляться и которые стали характером, натурой, полноправной частью человека, как голова, ноги, борода, морщины.

Давно. Очень давно. Сколько же лет? Сорок. Или тридцать девять. Да. Тридцать девять... Отцу тогда за пятый десяток перевалило. Они забрались в шалаш еще затемно. Свежие порубленные ветки отдавали тем запахом, который можно учуять, лишь ткнувшись лицом в скошенную траву, едва провяленную, зеленую, но удивительно пахучую, как молодое вино.

Не рассвело. И в синем воздухе едва проглядывали темные деревья, когда отец схватил сына за плечо и они услышали бормотание тетерева. В начале одного, затем двух, трех... Это было старое токовище. Отец помнил такие места. Он знал заповедник лучше, чем кто другой... Тетерева пели вначале на деревьях, потом на земле. Петухи дрались из-за тетерок как ненормальные. И Воронин-младший понял, что это глупая, похотливая птица. И у него не было к ней жалости. И нет. С того самого момента, когда он в первый раз нажал спусковой крючок и песня оборвалась...

Радость тогда переполняла его. Она не шла ни в какое сравнение с другими радостями, которые были позднее. Отец сказал, что сын — прирожденный охотник. И парню подумалось: вот такое чувствуют, когда любят.

Но он ошибся... Любовь никогда не приносила ему столько удовлетворения.

Он, не задумываясь, произносил слово «люблю». Говорил «люблю» Галине. Быстрой казачке. С черными глазами и косами. Говорил Марии даже после венчания... Говорил «люблю» фрейлине Вере, когда она, нагая, как создал ее господь бог, вбежала к нему в сарай, где он чистил ружье...

Они шут ведает что творили, эти фрейлины. Великий князь Кирилл не случайно привозил их в личную вотчину.

Челяди приезжало много. Летних дач не хватало. И тогда

разбивали палатки, устраивали навесы. Князь понимал толк в удовольствиях. Охота без выпивки не обходилась. И дамы не уступали мужчинам...

Воронин оступился и, упав на бок, покатился вниз по склону горы. Заросли шибляка придержали его. Егерь с трудом поднялся, присел на корточки и тупо смотрел на голые переплетенные ветви боярышника, грабинника, шиповника, держидерева. Смотрел, не думая ни о чем. Ожидал, когда пройдет боль. Терпеливо, как не однажды он ожидал секача, сидя в засаде на кабаньей тропе.

Полегчало. Воронин нашел шапку, поднял с земли тетеревов. Закурил. И, неторопливо посматривая под ноги, двинулся в гору.

Обогнув вершину, он оказался на широкой седловине, поросшей желтоватой травой. Десятка два коней бродили по поляне. Хмурый, обросший мужик с карабином навскидку выглянул из-за скалы. Узнав Воронина, сказал:

— Оне там.

Кивнул головой влево.

Шалаш был сделан под высоким грабом. Большой шалаш, похожий на опрокинутый кулек. Шипя и потрескивая, у входа горел костер. Перед костром стоял полковник Козяков в бурке и в отделанной каракулем кубанке. Лицо его было желтым, а под глазами лежали зеленоватые круги. Возможно, полковника трясла малярия.

Воронин бросил дичь, не сказав «здравствуйте». Полковник повернулся, протянул руку. Воронин пожал руку и недовольно пробурчал:

— Стар я почтарем по горам мотаться...

Он достал из кармана примятое письмо в самодельном конверте, отдал полковнику. Потом вынул из-за пазухи бутылку водки.

— Едва не угробил. Ноги чужими стали. Ревматизма...

Полковник взял бутылку. Удивился:

— Московская?

Воронин кивнул.

— Откуда?

— Постояльцы наделили.

— Что за новости? Кто такие?

Воронин неопределенно повел плечами. Закусил нижнюю губу.

— Требухов! — позвал полковник.

Юркий мужчина, с круглым, рассеченным вдоль правой

щеки лицом, поспешил к костру. Полковник кивнул на дичь:

— Займись!

— Слушаюсь, господин полковник.

Осклабившись, Требухов посмотрел на Воронина, потом нагнулся и взял тетеревов.

— Пошли, Сергей Иванович, — сказал Козяков.

В шалаше на земле лежал ковер. И еще два ковра висели. Кроме постели, накрытой коричневым одеялом из верблюжьей шерсти, в шалаше был изящный, где-то украденный столик на гнутых ножках и грубо сколоченный табурет.

— Садись, Сергей Иванович.

Егерь опустился на табурет. Полковник на постель. Читал письмо, щуря глаза. И выдох был тяжелый, как у простуженного. Повертел конверт, перегнул пополам и спрятал под подушку.

— Скучно ей, — сказал раздумчиво. — Ну да ладно! Теперь выкладывай, что за постояльцы.

— Геологами называются... Камни ищут.

— Красный конгломерат?

— Мне не докладывали.

— Много?

— Трое. Один профессор. Два чином поменьше.

— Анастасию видели?

— Пока нет... Она из боковушки не выходит. Затем и шел, чтобы посоветоваться... Может, убрать их, да и концы в воду.

— Не пойдет... Твой дом должен быть чист, как стакан, из которого пьют. Пусть девушка не прячется. Она твоя племянница, приехала из города старикам по хозяйству помогать. И смотри, Воронин, если с Анастасией что приключится. Запомни, я не господь бог. Я ничего не прощаю!

Воронин недобро усмехнулся:

— С барышней все будет в лучшем виде... О себе подумайте, господин полковник. В Курганную целый эшелон красных конников прибыл.

— Пугаешь?

— Предупреждаю... Знать, не грибы они собирать приехали.

Козяков обхватил ладонью лоб и, не глядя на егеря, спросил:

— На почту ходил?

— В среду пойду. Не могу так часто... Я человек простой. Не люблю привлекать внимание.

Положив локти на колени, Козяков согнулся, будто у него случились колики в животе. Потом резко выпрямился. Раскупорил бутылку. Крикнул:

— Требухов! Стаканы!

— Я не буду, — сказал Воронин. — Моя дорога дальняя.

— Ты сделался слишком боязливым для своей профессии.

— Моя профессия — егерь.

— Знаю, что егерь... И все же... Красных конников ты боишься. На почту ходить боишься. Хлебнуть на дорогу водки боишься!

— Лес к осторожности приучил.

Водка заполнила треть стаканов. Но запах сразу полез в нос. И Козяков морщился, когда пил, и Воронин морщился тоже...

Похрустывая огурцом, полковник сказал:

— Я шучу, Сергей Иванович. Шучу... Иначе в твоих местах одичать можно.

— Зачем так?

— А как? Места дивные... Но зимовать здесь в мои планы не входит. Я уверен, что на белом свете есть более теплая зима, нежели в предгорьях Северного Кавказа. Да и Настенька у меня на шее висит, хоть и ночует под твоей крышей. Слушай внимательно... В субботу пойдешь на почту...

Козяков опять взялся за бутылку, на какие-то секунды задержал ее в руке, потом поставил на стол. Задумчиво сказал:

— Меня беспокоит только одно: почему Бабляк не подал условленного сигнала? Теперь та же история повторяется с Хмурым... Если письма не будет, достань мне зимнее расписание поездов. Жду тебя в воскресенье. Понял?.. И не трусь. Со мной бедным не будешь. Я бумажками не расплачиваюсь. Бумажки в наше время только для одного дела годятся, если рядом лопуха нет.

— Я вам верю, — сказал Воронин. — Вы дворянин. Человек чести. Вы за идею маетесь. А дружкам вашим я не верю. И вы не верьте. Ворюги они...

— Тише, — оборвал его Козяков. — Прикончат. И я воскресить не сумею...

Воронин промолчал. Собрался было уходить, но вдруг сказал:

— Странный парень один из этих геологов...

Козяков вопросительно сдвинул брови.

— Вышел утром во двор. Озырился вокруг. Да и говорит мне: «Давно, дед, егерем служишь?» — «Почитай, тридцать лет», — отвечаю. «Значит, и отца моего тут видел». — «Красный командир», — говорю. Геолог, Аполлоном его зовут, усмехнулся. Да и сказал тихо: «С князем Кириллом отец, царство ему небесное, в этих краях бывал — смекаешь, дед?..» Я отве-

тил, что с князем Кириллом много всякого люду бывало. Всех не упомнишь.

— Фамилией не интересовался?

— Спрашивал... Не сказывает. Смеется: «Называй хоть горшком, только в печь не ставь».

— Занятно. — Козяков поднялся с постели. — Посмотреть бы на этих субчиков...

— Можно устроить.

— Следи за ними... Если что, дорогу знаешь... И про расписание не забудь...

Когда Воронин ушел, полковник Козяков собрал банду и сказал следующее:

— Четверть часа назад я получил радостное известие из центра. В ближайшие дни англичане и французы высаживаются на Черноморском побережье. От нас нужно только одно: собрать в комок нервы и силы. И быть готовыми к решающей схватке. Я даю вам слово офицера... Слово дворянина... что еще до первого снега Кубань будет свободной. А к рождеству, если это будет угодно богу, мы услышим звон московских колоколов...

Козяков вернулся в шалаш, вылил в стакан остатки водки.

«За ложь во спасение!» — произнес мысленно.

На душе было жутковато, точно он смотрел в пропасть.

4

Граф Бокалов узнал немногое...

Конечно же, он не мог узнать о Хмуром больше, чем знал сам Хмурый. А точнее, чем Ноздря. Потому что именно Ноздря поделился с Графом сомнениями. А Ноздря был битый-перебитый. И уже год молчал, как собака на морозе. И его никто не мог схватить за руку ни угро, ни Чека. Ноздря остерегался вынимать руки из карманов. Хотя, разумеется, мелкая контрабанда не обходила его стороной. Но только мелкая и верная. Без хвоста и подозрений.

С того самого дня, когда пьяный матрос с новороссийского буксира врезал Ноздре разбитой бутылкой и лицо фарцовщика стало запоминающимся, как улыбка Моны Лизы, он предпочитал работать на дому. И у людей, знающих его поверхностно, могло сложиться обманчивое впечатление, что Ноздря исчез с «делового» горизонта, завязал. И пленился разведением парниковых огурцов. Или австралийских попугайчиков...

Граф Бокалов имел на этот счет свое мнение. Потому-то мальчики Графа и не теряли Ноздрю из виду. Хотя Ноздря ни-

когда так не опускался, чтобы скупать краденое, но он иногда не брезговал услугами карманников и форточников, то есть основных асов Графа.

Графу Бокалову исполнилось девятнадцать лет. У него были доверчивые голубые глаза, широкие плечи. А за плечами — количество краж, вдвое превышавшее возраст. Кличку «Граф» ему преподнесла шпана, знавшая, что он щедр на синяки и шишки и раздает их с ловкостью фокусника.

К чести Графа нужно отметить, что он почти не употреблял спиртных напитков, не курил. И лишь чуть-чуть баловался наркотиками.

Каиров «купил» Графа тем, что в юности сам был беспризорником, ходил по тихой фене [1], сидел и трижды бежал из царских тюрем. Вместо крика и угроз Каиров сразу же поделился опытом. Рассказал, как в 1903 году с двумя товарищами в одну ночь взял булочную купца Масохина, гастроном и часовую мастерскую... Граф позавидовал. Сказал, что молодежь нынче вырождается. Работают час — пьют неделю.

Потом Каиров принес книжки Горького. Кто мог подумать, такой великий писатель, а босяками не брезговал...

Граф не любил сантиментов. А к хорошему отношению просто не привык. И книги Горького, и беседы с Каировым... Все это было ново, будто он в первый раз нырнул с открытыми глазами.

— Имей я такого отца, как вы, — признался Граф Бокалов, — падла буду, никогда бы не оказался на этом месте.

— Вова, — назвал его по имени Каиров. — Ты не знаешь своего отца. А я знаю, кто был твой отец. Я все знаю, Вова, это моя специальность. Твой отец был красный командир. Его убили врангелевцы на Перекопе. Твой отец был большевик... Вова, все немножко виноваты, что ты стал тем, кем ты стал. Но ты молод. Ты еще можешь исправиться. И я буду твоим отцом, Вова.

Они все обговорили с Каировым. И когда зашла речь, где Графу осесть после побега, вспомнили о Ноздре. Собственно, вспомнил Граф. И даже не вспомнил, а сразу, еще в первый раз, когда Каиров заговорил о деле, Граф Бокалов подумал, что Ноздря и есть то самое тихое болото, в котором могут водиться черти.

Каиров дал Графу номер своего телефона. На крайний случай. Предупредил, что Граф Бокалов должен вести себя так, как если бы на самом деле сбежал из тюрьмы. Любой опро-

---

[1] Мелкая кража *(жаргон.)*.

метчивый поступок может навлечь подозрение. И тогда его постигнет участь Хмурого.

Пароль для связи: «Вы не подскажете, где мне найти сапожника?» — «Я могу чинить обувь, но у меня нет лапки».

Две недели назад, в субботу, в девять часов вечера, Граф Бокалов совершил «побег». Два выстрела вспугнули летучих мышей, гнездившихся в развалинах за городской тюрьмой. Дежурный записал о происшествии в журнал...

Почти сутки Граф отлеживался в заброшенной часовне. Мерцание крестов. Выкрики совы... От этих прелестей леденела кровь. К утру стало совсем холодно. Куртка на «молнии» не грела. Граф Бокалов подумывал о том, стоит ли торчать в этом мусорном ящике целый день. Не лучше ли сейчас же податься к Ноздре... Согреться чайком. Вздремнуть...

Но слово есть слово. Дал — нужно держать. Каиров не какой-нибудь трепач. Пижонов презирает. Требует точного исполнения плана.

А план Граф помнит назубок. Дождаться вечера. И на морской вокзал...

День прошел без приключений.

Вместе с сумерками Граф вышел на набережную. Он был голоден, но это тоже входило в план. Каиров верил в актерские способности Бокалова, но рисковать не хотел. Все должно быть натуральным. Без подделок.

Граф двигался по освещенной электричеством набережной, держась в тени платанов. Пахло пылью и лавровишней. И, как всегда, нефтью немного пахло тоже... В горпарке трубил духовой оркестр. Мужчина в неновой стеганке ходил от скамейки к скамейке, предлагая вяленую ставриду.

У ларька, сделанного в виде большого винного бочонка, толпились забулдыги. Они чокались гранеными стаканами, курили, спорили, ругались...

Чутье подсказывало Графу: такое добычливое место не могло ускользнуть из поля деятельности «мальчиков». И точно. Бокалов увидел знакомую тощую фигуру Левки Сивого.

Левка лез к стойке, прижимаясь к невысокому толстяку в белом чесучовом костюме. Левой рукой Сивый протягивал пустой стакан. Правой... Можно было не смотреть. Можно было сесть на лавочку и взглянуть на звезды. Потому что правой рукой Левка обычно вытаскивал бумажники, закрыв глаза. И делал это так же ловко, как смежившая веки старушка безошибочно продолжает вязание на спицах.

Уже через десять секунд Левка деловито удалялся в сторону промтоварной базы Курортторга.

— Сивый! — позвал Бокалов.

Сивый остановился, удивленно повернул голову и, не веря своим глазам, произнес:

— Граф?!

Бокалов положил ему руку на плечо. Обнявшись, как два старых, добрых приятеля, они пошли по скверу.

— К твоей матери сегодня приходили из милиции. Сказали, что ты смылся.

Сивый замолк, дернул носом.

— И все? — спросил Граф.

— Объявишься, велели им сообщить...

— Сообщают сводки погоды. И то лишь для Москвы. Ладно. Жрать хочется. Сколько выбрал?

Сивый раскрыл бумажник:

— Поужинать хватит...

От Сивого несло чесноком и папиросами.

— Босяк ты, — сказал Граф. — Выходишь на вечерний променад, а жрешь чеснок, словно цыган на ярмарке.

Сивый виновато ответил:

— Забыл я.

Они вышли к морскому вокзалу — двухэтажному выбеленному зданию с пузатыми колоннами у входа и тяжелым лепным портиком.

На клумбе опадали последние цветы. Скамейки стояли грязные, и краска лезла с них так же охотно, словно шерсть с линялых кошек.

Фонарь на боковой аллее не горел...

Граф оглянулся. И схватил Сивого за локоть. На скамейке, низко опустив голову, сидела женщина. У ее ног стоял чемодан. Сивый понимал Графа без слов. Они подошли к женщине. Она дружелюбно посмотрела на них. Они увидели, что она молодая. С короткой стрижкой. Упрямым скуластым лицом. Женщина сказала:

— Мальчики, вы не подскажете, где мне найти сапожника?

— Я могу чинить обувь, но у меня нет лапки, — ответил Граф Бокалов.

Затем поднял палец и, как маленькому ребенку, пригрозил:

— Не пищать!

Сивый тяжело подхватил чемодан.

— Вы коллекционируете кирпичи, мадам? — спросил Граф. — У моего кореша прогибается позвоночник.

Женщина молчала. Только сжимала губы. И лицо было белым и плоским, как кусок стены.

В следующую секунду голова женщины дернулась, тело покосилось и ничком рухнуло на скамейку.

— Чудачка с перепугу отправилась в обморок, — заключил Граф. — Похряли... — И подумал про себя: «Каково? Сивому в голову не пришло, что все идет как по нотам. Только ноты эти писал не композитор, а начальник милиции... Женщина молодец — настоящая актриса. Изобразила обморок на все сто. Она работает секретарем у Каирова. Я ее видел там. Каиров называл ее Нелли...»

Около часа ночи Сивый крадучись, словно кот, подошел к дому Ноздри. Оглянулся... Дом, деревянный, под железной крышей, выходил окнами на проезжую часть улицы, потому что тротуар пролегал лишь с одной, противоположной стороны, где стоял длинный кирпичный дом в три этажа; в полуподвале дома размещались парикмахерская, скобяной магазин и мастерская «Гофре, плиссе».

Над входом в парикмахерскую светила небольшая лампочка.

Сторож ходил у гастронома, который находился на углу улицы Пролетарской, метрах в ста от дома Ноздри.

По правой стороне улицы, рядом с домом Ноздри и дальше, до самого Рыбачьего поселка, темнели такие же деревянные дома, с садами и огородами. Брехали собаки. Но к этому уже давно все привыкли, как и к выкрикам петухов по утрам.

Сивый постучал в ставень. В доме хлопнула дверь. Кто-то вышел на застекленную веранду. Простуженно спросил:

— Кого нелегкая носит?

— Силантий Зосимович, свои. Лева я.

— Какой Лева? Сивый?

— Да, да... Силантий Зосимович.

— Чего хочешь? — сердито спросил Ноздря, приоткрыв дверь, насколько позволяла цепочка.

— Граф Бокалов просит на пару слов.

— Граф на курорте. Любой босяк в городе это знает, — возразил Ноздря.

— Времена меняются, — сказал за забором Граф.

Ноздря распахнул дверь, по скрипучим ступенькам спустился во двор. Подошел к калитке. Злобно лаявший пес, узнав хозяина, радостно завизжал. Громыхала заржавленная цепь. Сонно выкрикивали куры. Запах куриного помета, мочи, псины и вяленой ставриды держался во дворе стойко.

Калитка закрывала Ноздре рот. И он положил ребром кирпич. Встал на кирпич, схватившись руками за верх калитки.

Он был на редкость осторожный, точно старый секач, чуявший охотника на расстоянии.

— Добрый вечер, Силантий Зосимович, — вежливо приветствовал Граф.

— Спокойной ночи, — пробурчал в ответ Ноздря.

— Спасибо за теплые пожелания. Только я вторую ночь зуборя втыкаю...

— Это точно, — подтвердил Лева. — Граф позавчера вечером отвалил...

— Я не батюшка. Зря исповедоваться пришли, — недовольно ответил Ноздря.

— Товар есть, — сказал Граф.

— Краденое не скупаю.

— Может, адресок подскажете.

— У Левки что? Память отшибло?

— Кузьмич такое не берет... И Мария Спиридоновна тоже, — оправдывался Левка.

— До свиданья. Бывайте здоровы. Абсолютно ничем помочь не могу... — Ноздря слез с кирпича. Над калиткой торчал только его нос, длинный и загнутый, словно крючок.

— Ну, сука! — взорвался Граф. — Мешок с трухой, ты еще припомнишь нашу встречу. И десять кобелей не устерегут твою поганую конуру. Мне терять нечего. Меня угро по всему городу ищет. В меня стреляли!

— Не ори, психопат! — оборвал его Ноздря. — Что за товар?

— Чемодан кофе. В зернах.

Ноздря поперхнулся от удивления. Сопя, открыл замок. Подалась калитка. Покряхтывая, Левка втащил чемодан во двор.

В дом Ноздря их не повел. Они обогнули курятник и очутились в маленьком сарайчике. С полками во всю стену, на которых что-то стояло. И хотя было темно и ничего не было видно, Граф знал: в таких сараях обычно хранят банки, пустые бутылки, столярные и другие инструменты и еще разную рвань: тряпки, плащи, старую обувь. Все это, конечно, покрыто пылью. И пауки живут по углам припеваючи.

Ноздря чиркнул спичкой. Просунул руку под полку. Щелкнула задвижка. Полка подалась на Ноздрю. В стене открылось отверстие, ведущее под пол.

Граф кивнул Левке, чтобы он лез первым. За Левкой Бокалов любезно уступил дорогу Ноздре. И последним спустился сам. Погреб оказался небольшим квадратным ящиком из бетона, размером примерно два на два.

Электрическая лампочка светила на стене. Она была вер-

нута не в простой патрон, медный с белым фарфоровым ободком. Такие патроны продавались на базаре, в скобяном магазине. Их можно увидеть в любой квартире города. Нет. На стене висело бра, вероятно переделанное из позолоченного подсвечника: пузатенький ангелочек с пупочком держал в руке рожок. В этот рожок и ввинчивалась лампочка.

Может, Ноздря купил бра у какого-нибудь ворюги, но не рискнул повесить его в комнате.

У стены под бра стоял высокий сундук, на котором лежала овчинная шуба.

Чемодан открыли. Крупные кремовые зерна кофе лежали, словно мелкая прибрежная галька.

— Турецкий, — сказал Левка.

— Ты-то, сопля, знаешь! — съязвил Ноздря.

— Что ж я, Силантий Зосимович, турецкого кофе не видал? Я даже пил его...

— В Турции кофе вообще не растет, — сказал Ноздря.

— В Турции все растет, — возразил Левка. — И табак, и кофе. Я сам в ресторане «Интурист» такое блюдо видел — турецкий кофе.

Ноздря отмахнулся от него, как от мухи.

— Сколько хочешь?

— Одежду соответственно сезону. И укромное местечко на неделю, разумеется с харчовкой. Отлежаться надо, пока фараоны решат, что я все-таки в Ростов прорвался.

— Беру, — сказал Ноздря.

Граф устало опустился на сундук.

— Задешево отдает, — сказал Левка. — Вы бы видели, Силантий Зосимович, как мы накололи чемодан. Прима! Высший класс. Дамочка в обморок. Граф — жентельмен...

— Пока будешь находиться здесь. Подушку принесу. — Ноздря кивнул Левке: — Помоги! — Левка потащил чемодан наверх. Ноздря поднялся за ним.

— Жратвы не забудь, — напомнил Граф.

Они вернулись минут через десять. Граф дремал, привалившись на тулуп.

— Сутки средь могилок ховался, — сказал Левка. — Как подумаю: гробы, покойники... Аж дрожь берет... Вставай, Вова.

Ноздря принес бутылку самогона, запечатанную туго свернутым газетным пыжом, полдюжины сырых яиц, малосольный огурец, пяток помидоров и ворох вяленой ставриды.

— Барахло завтра подберу.

— Чтоб приличное было, — напомнил Граф, потирая кулаками глаза.

— Как чижика, оденем, — успокоил Ноздря.

...Тогда они выпили крепко. Видимо, Ноздря считал сделку удачной. Он еще раз сбегал за бутылкой. И еще раз...

Захмелев, Ноздря болтнул, что к нему заходил Хмурый. Они крепко-крепко «поддали». И Хмурый держал себя как метр. Говорил, что напал на золотую жилу и намерен обеспечить себе беззаботную старость «на том берегу». Какой это берег, Ноздря не уточнял, но догадался, что турецкий.

Хмурый обещал не забывать Ноздрю, если Ноздря будет помнить его, Хмурого.

Глаза у Хмурого были масляныстыми, и он говорил, что стосковался по женщинам, но ему, дескать, нельзя впадать в разгул. У него должна состояться деловая встреча. Важная встреча, которая сыграет в его судьбе поворот... Уходя, Хмурый просил Ноздрю подумать, найдется ли где подходящее место: тайничок, надежный и безопасный. На всякий случай, если придется что спрятать.

Больше Хмурый не приходил. Однако Ноздря знал Хмурого не первый год. И был уверен: такой делец зря слов на ветер не бросает...

В конце концов Ноздря упился до чертиков и со слезами умиления лез целоваться к Графу, называя его сынком, родненьким.

Левка уволок Ноздрю лишь на рассвете.

Граф накрылся тулупом и уснул...

5

Несколько дней Анастасия видела геологов только через окно. Даже после разговора с полковником Козяковым Воронин не велел ей показываться во дворе. Он сказал, нужно выждать, присмотреться, что это за люди. Хорошие или плохие. И пусть даже хорошие. Все равно следует остерегаться. Потому что даже самый хороший, увидев такие волосы и глаза восемнадцатилетней девицы, может натворить столько дел, угодных черту, что потом никакими молитвами не откупишься.

Анастасия никогда не замечала, чтобы Воронин молился или стоял перед иконами. Но помянуть имя господа всуе с неприличным словом он любил. И делал это особенно громко. Быть может, из-за того, что жена его, сгорбленная, сердитая старушка, была туговата на ухо.

Некоторое время Анастасия не знала, как вести себя с хозяйкой дома. Лицо этой неприветливой женщины и глаза ее

казались Анастасии загадочными, а порою одержимыми. Но была ли это одержимость или какое-то обостренное состояние нервов, а может, всего сложного комплекса, который называют психикой, — определить трудно. Анастасия и Матрена Степановна относились друг к другу настороженно. Хозяйка приглашала Анастасию к столу в завтрак, обед, ужин. Девушка, поев, благодарила и уходила в свою комнату. Кажется, на второй день пребывания в доме егеря Воронина Анастасия хотела вымыть после завтрака посуду. Матрена Степановна сухо сказала:

— Я сделаю это лучше.

Воронин тут как тут:

— Вы, барышня, не извольте беспокоиться. — И добавил: — С вашими ли пальчиками в помоях возиться. Цыпки наживутся!

Вскоре она поняла, что хозяйка недолюбливает ее и потому относится с подчеркнутой холодностью. Но это не очень взволновало Анастасию. Нет, отношение людей не было для девушки безразлично. Сейчас ее беспокоило другое — отец, воскресший словно из пепла...

Как-то хозяйка истопила баню. И Анастасия мылась. Вначале одна, а потом пришла Матрена Степановна. Она помогла девушке мыться и, глядя на нее, неожиданно сказала по-матерински тепло:

— Кожа-то у тебя какая! Одно слово — господская...

— Зачем вы так?

Хозяйка вздохнула:

— Батюшка ваш, чтоб им на том свете черти подавились, не любит вас, не жалеет. Лиходей он, сколько жизней тут, на Кубани, загубил. И вас, Настенька, погубить хочет. Креста на нем нету. Тикайте вы отсюда к своей бабушке, пока не поздно.

— Почему вы так говорите? — возмутилась Анастасия. — Он за свое борется. Новая власть все у нас забрала.

— Молода ты еще, дочка. Ох как молода!.. И старую власть, стало быть, не видела. А меня при этой самой власти без всякого моего согласия вот за этого волка отдали. Мне же в пору ту и семнадцати годочков не исполнилось. И груди мои были такие высокие, как твои, и ноги тоже розовые. А волосы, они до сих пор у меня густые, сама видишь... Власть-то старая к нам из самого Петербурга приезжала. Насмотрелась я... Князь великий, значит, кобель кобелем. И женщины с ними гадючие... Никем не брезговали. Моим хозяином тоже. А он перед ними вертелся, как кот линялый.

— Бедняжка вы, — пожалела Анастасия. — Зачем же вы с мужем-то своим остались? Ушли бы.

— Уходила... Нашел он меня. Избил так, что в позвонках хрустнуло. С тех пор разогнуть спину не могу.

— Жестокий он, — согласилась Анастасия.

— Вся порода у них такая...

Высокий, плечистый, стройный, с седеющей головой и вислыми запорожскими усами, Воронин одним своим взглядом пугал Анастасию.

Однажды он вошел в ее комнату. Настенька сидела на кушетке, поджав ноги. Читала французскую книгу. Французскому языку ее научила мать. Мать была женщиной, совершенно не приспособленной к новой жизни. Но французский язык знала лучше, чем русский. За год до смерти она начала особенно серьезно заниматься с дочерью. Анастасия не только свободно говорила по-французски, но и читала, и писала. И больше того, иногда даже думала на французском языке.

Воронин остановился перед кушеткой. И Анастасия, не поднимая взгляда, сжалась в комок, будто ждала, что он подомнет ее, раздавит.

— Так запомните еще раз... Вы моя племянница, приехали из Ново-Минской. Тятька с мамкой от тифу, а может, от голоду померли. Наряды свои московские — платьица, туфельки — подальше заховайте. И книжки эти тоже. Племянница кубанского казака не может читать по-англицкому или немецкому...

— А по-французскому может? — не сдержалась Анастасия.

— Нет.

— Хорошо, — прячась за раздражение, как за щит, сказала Анастасия. — Я выполню все, что вы сказали. Но я хочу видеть отца.

— Сейчас это невозможно.

— Тогда я возвращаюсь в Москву. Мне надоело затворничество. Я не привыкла к такой жизни, без друзей, без подруг...

— Отпускать вас отсюдова не велено. Я за сохранность вашу башкой отвечаю.

— Ничего не понимаю. Ничего... Я напишу отцу...

— Только не сегодня... На следующей неделе. Всему свой срок.

Анастасия поднялась. Она доставала Воронину до подбородка. Почувствовала тошнотворный запах табака и самогона. Ощутила слабость. Может, поэтому ей показалось, что он обя-

зательно бросится на нее. Сейчас, сию минуту... Она шагнула вправо. Прильнула к окну.

— Барышня, — сказал Воронин. — На чердаке в стружке хранятся груши и яблоки...

— Принесите, — оборвала Анастасия. Она считала, что нужно показать характер. И насмешливо добавила: — Или вы хотите подняться со мной на чердак?

— Мы хотим, чтобы у вас не был бледный цвет лица, — сказал хмуро Воронин. И кашлянул.

На другой день...

Геологи куда-то ушли еще ранним утром. С рюкзаками, кирками, лопатами. И пелена дождя скрыла их, как скрывала и горы, и дорогу...

Сам отлучился из дому вчера к вечеру, велев женщинам крепко запираться и не впускать в дом никого ни под каким предлогом.

Старуха пекла хлеб. Анастасия любила смотреть, как жена Воронина возится у печи, совершая удивительное таинство серьезно и молчаливо. И в доме, и даже во дворе стоял запах свежего хлеба, сладковатый, хмельной запах...

Часам к трем погода прояснилась. Небо стало синим-синим, с круто замешенными белыми облаками, которые плыли с юга над вершиной горы.

Анастасия подошла к ограде. И смотрела вверх. Ощущение времени исчезло незаметно, как порою исчезает боль.

— Добрый день или, вернее, вечер, — сказал мужчина. И она сразу узнала самого молодого из геологов, которого несколько раз видела из окна.

Аполлон улыбался, глядя на нее чуточку смущенно. Щеки у него покраснели. И она тоже почувствовала, что не в силах скрыть румянец. Хотя за последнее время привыкла к пристальным, а порою откровенно восхищенным взглядам мужчин.

— Я так и думал, что у старого егеря есть все основания прятать свою племянницу.

— Разве такие основания вообще могут существовать?

— Да. Посмотрите в зеркало.

— Я не верю зеркалу. Лучше в воду...

— Вы говорите так, словно всегда жили в лесу. А между тем в вас много городского. Вы не похожи на внучку кубанского казака.

Аполлон, не стесняясь, разглядывал ее тонкие, белые пальцы, длинные, заостренные ногти.

— Молодые девушки везде одинаковы, — ответила Анаста-

сия. Ей все-таки нравился этот геолог из Москвы. И она добавила: — Le printemps de la vie ne revient jamais [1].

Аполлон усмехнулся:

— On a tous les ans douze mois de plus [2].

— Вот именно. — Анастасия силилась побороть смущение. И даже страх. Как ни суди, но внучке или там племяннице кубанского казака ни к чему болтать по-французски с незнакомым человеком. Однако что-то было в этом мужчине располагающее к откровенности. Кажется, глаза, умные и ласковые. Она не могла сердиться, глядя в них. Она только сказала:

— До свидания.

6

Каиров сразу узнал певучий голос уполномоченного ГПУ. Даже в трубке чистый и немного протяжный, будто человек, произносивший слова, хотел их пропеть, но потом передумал, а звучание осталось.

— Мирзо Иванович, милый, ожидаешь?

Каиров ответил:

— Мирзо Иванович человек терпеливый. Более терпеливый, чем квочка.

Уполномоченный захохотал:

— Так не пойдет... Мужчина! Азиат! И вдруг квочка. А почему не сокол, высматривающий добычу?

— Какой сокол?.. Зачем душу крутишь? Говори прямо, ты ко мне придешь или я к тебе.

— Ни то и ни другое. Сапожник молчит.

— Значит, еще не время.

— Там виднее.

— Звони.

— Домой?

— Что говоришь? — удивился Каиров. — Я у себя. В милиции. Часы есть. Смотри на стрелки.

Была пауза. Видимо, уполномоченный действительно смотрел на часы.

— Двадцать минут третьего, — донеслось из трубки.

— Вот видишь. Скоро утро.

— Хорошо бы выпить крепкого чая. Всего, Мирзо Иванович.

Положив трубку, Каиров очень зримо представил большой

---

[1] Дважды в год лета не бывает *(франц.)*.
[2] Стар будешь, а молод — никогда *(франц.)*.

фарфоровый чайник с двумя красными маками на боках, которым уполномоченный гордился, солдатскую эмалированную кружку и подумал, что неплохо бы и в милиции завести чайник, а может быть, самовар, чтобы вот такой глухой ночью ребята могли побаловаться кипяточком. Он и сам любил горячий чай со свежей душистой заваркой. И чтобы варенье было в кругленьких белых розетках, с какими-нибудь маленькими цветочками, вишневое варенье, сливовое и обязательно из алычи. И хорошо, когда за окном ветер, и голые ветки трутся о стекло, и тучи спешат, деловые, озабоченные... Тогда чай — уже не чай, а наслаждение, словно добрая баня или верховая езда. Впрочем, при одном условии: если на сердце не щемит, если на сердце все спокойно. В противном случае лучше пить вино, или чачу, или простую водку. Но только немного, ради просветления...

Каиров стиснул виски ладонями, голова раскалывалась и без вина. Он поднялся. Медленно подошел к двери, погасил свет, щелкнув выключателем, и вышел в коридор.

Дверь в туалет была распахнута. В коридоре пахло хлоркой и аммиаком, и слышно было, как журчит вода, заполняя бачок.

«Кто из врачей дежурит сегодня в милиции?» — подумал Каиров, но вспомнить не смог.

Доктор Челни сидел за столом в сером двубортном пиджаке, белой накрахмаленной рубашке, при галстуке цвета морской волны. Перед ним на газете пыхтел никелированный чайник, на блюдцах стояли две чашки, высокие, темно-бордовые, с золотой каемкой, а ручки у них были такие тонкие, такие изящные, что боязно было притронуться. В маленьких белых розетках лежало варенье. И на розетках были нарисованы мелкие цветы. Каиров различал это ясно.

Челни виновато сказал:

— Я совсем забыл про вишневое варенье. Но это из персиков, — он показал на среднюю розетку, — необыкновенно ароматное. Я бы сказал, нектар.

Каиров на какое-то время закрыл ладонью глаза. Ему показалось, что он спит стоя. Не отнимая ладони, он глухо проговорил:

— Я пришел за таблеткой, Семен Семенович. Пожалуйста, как в прошлый раз. Тогда головная боль прошла быстро и усталость вместе с ней тоже.

— Кофеин, — засуетился Челни, семенящей походкой подошел к шкафу, растворил дверки, выдвинул верхний ящик. — Вот.

Он вынул из бумажного пакетика белую таблетку.

— Запьете чаем. При содействии горячей воды она быстро растворится в организме. Через три-пять минут вы почувствуете облегчение. Садитесь, Мирзо Иванович.

Челни подвинул к нему чашку и налил в нее чай.

Каиров понял, что он не спит, а только очень устал. И не дело, и не время удивляться по поводу такого пустяка, как накрытый для чая стол.

— Сегодня спокойная ночь, — сказал Челни, может, просто для того, чтобы начать разговор.

— Ночь и должна быть спокойной. Так задумано природой. К сожалению, не все задуманное осуществимо.

— Потому что мир вещей существует вне нашего сознания...

— И каждая вещь в себе принципиально непознаваема.

— Вы читали Канта, Мирзо Иванович?!

— Когда в пятнадцатом году я сидел в Екатеринодаре в политическом изоляторе, у меня было время и на чтение, и на раздумья...

— Вам не кажется, что Кант сильно страшился будущего. И только потому хотел примирить идеализм с материализмом.

— Красивые домыслы, Семен Семенович. Кант путал божий дар с яичницей.

Челни иронически улыбнулся:

— Так просто.

— И вульгарно. Подумали, но не сказали. — Каиров поставил пустую чашку на блюдце и отодвинул от себя. — Правильно подумали. Правильно... Но я не буду оправдываться, напоминать, что в сутках двадцать четыре часа. И у меня нет времени на философию Канта, рыбную ловлю и домино. Даже если бы к суткам добавили три часа или пять, все равно я не стал бы заниматься Кантом. У меня другая задача. Борьба с преступностью. Вот на эту тему я готов говорить с увлечением, как юноша о любимой. А четыре антиономии Канта лучше оставить философам. Хотя одна из них весьма любопытна.

Челни:

— Положение: в мире существуют свободные причины. Противоположение: нет никакой свободы, а все есть необходимость. Вы имели в виду эту?

— Семен Семенович... Вы угадали. И я могу раскрыть вам тайну. Я сторонник противоположения. Все в жизни порождается необходимостью... Кстати, что вы думаете о корнях преступности?

— Они разные, — сказал Челни. — Меня, Мирзо Иванович, в молодости интересовали корни религии. Не знаю, известно ли вам, что в начале девятнадцатого века в Индии было раскрыто древнее религиозное общество фансегаров, или, как они называли себя, «братьев доброго дела». Братья поклонялись некоему божеству Бохвани, самыми желанными приношениями для которого были человеческие жизни. Формула в основе лежала весьма примитивная: блага на том свете находятся в пропорциональной зависимости от количества жертв, принесенных божеству.

— Занятно, — согласился Каиров.

— В религии многое идет от плутовства, от шулерства. Социальные наслоения легли позднее. Не случайно отмечал Вольтер, что религия произошла от встречи дурака с обманщиком.

Каиров засмеялся:

— С вами беседовать — одно удовольствие.

Голова больше не болела. После таблетки, после выпитого чая была бодрость, которую, казалось бы, способен вернуть лишь хороший сон.

Уже у дверей Каиров обернулся, внимательно посмотрел на Челни:

— Семен Семенович, только честно, вы не умеете читать чужие мысли на расстоянии?

— Мне бы так хотелось соврать, сказать «да».

— Тогда откуда это? — Каиров показал рукой на стол. — Чай, варенье... Розетки.

— Жена. Все жена... Настояла, чтобы на дежурстве при мне был горячий чай, варенье...

— Это у вас вторая жена?

— Да... — грустно ответил доктор. — Моя первая жена умерла в Одессе. От брюшного тифа. Я девять лет был верен ее памяти...

— Извините меня, Семен Семенович.

— Нет, нет... Минутку. Позвольте, я закончу свою мысль. Так вот. Вскипятив чай, я увидел из этого окна, что ваша машина стоит у подъезда. Я понял, вы здесь. И решил пригласить вас на чай. Однако вы опередили меня, словно прочитали мои мысли.

— Ловко вы это повернули. Вам надо бросить медицину и заняться адвокатской практикой.

— Возможно, вы правы. Возможно, восемнадцатилетним гимназистом я совершил ошибку.

...Каиров вернулся в свой кабинет. Телефон надрывался.

— Слушаю, — сказал Каиров.

— Приезжай, Мирзо Иванович, — сказал уполномоченный ГПУ.

Через минуту машина, фыркнув белым дымком, крепко пахнущим бензином, выползла на шоссе и помчалась по городу. Луна висела над крышами. Но небо было не очень темным, а словно выцветшим. Где-то далеко на окраине лаяли собаки. Город спал...

Машина остановилась. Каиров широким шагом вошел в один из подъездов трехэтажного дома, на фасаде которого лепилось много различных вывесок: «Рыбхоз», «Райфо», «Заготскот»... И справа, под пыльной лампочкой: «Уполномоченный ГПУ».

Некоторое время спустя Каиров вышел из подъезда, сел в машину. Бросил шоферу:

— Домой.

Передумал.

— Нет. Сначала в порт.

Спать не хотелось. До сна ли после такого известия: сегодня в 2 часа 47 минут операция «Парижский сапожник» началась.

7

Глубокая ночь. Быстро бегут облака. И луна словно купается в них. Ветер холодит землю. Холодит деревья. Холодит листья. Последние незеленые листья. Он срывает их. Бросает под ноги лошадям.

Шестеро верховых всадников и две лошади без седоков пробираются по узкой размытой дороге, ведущей к дому егеря Воронина. А вот и сам дом. Он стоит на бугре. И его белые стены видны далеко, точно паруса яхты.

Сипло дышат лошади. Цокают копытами о вымытые камни...

Всадники останавливаются в тени раскидистого граба. Спешиваются. Привязывают лошадей.

Один из них, видимо начальник, решительно говорит:

— Обождем минуту. Сейчас туча луну проглотит... Петро остается здесь. Соболев идет к дому Воронина. Мы вчетвером — к даче...

...Анастасии не спится. В комнате душно. Так душно, что не уснуть, даже сбросив одеяло. «Ну и дикая привычка у моих хозяев закрывать на ночь ставни. И не просто закрывать на

крючки, а закладывать поленом... Конечно, если всю жизнь прокоптеть здесь, как эти стены, ничто не будет казаться диким. Я зря злюсь. И на старика особенно. Он, конечно, хитрый мужик. Зверь. Да это и понятно — от рождения дела со зверями имел. Не случайно у моей кровати шкура рыси лежит.

Как мне надоело торчать в этой дыре. И отец... Чем он занимается? За два месяца я видела его всего один раз. И зачем он здесь? Где же обещанный Париж и вилла в Плезансе? «Обожди, дочка, скоро Кубань будет свободной». Говорит, а по голосу чувствуется, что и сам не верит. «Я собой не распоряжаюсь!» Кто же им распоряжается? Борец за идею. Не хочет ли он объявить себя императором Кубани? Интересно, как чувствуют себя дочери императоров? Им все можно или не все?

А ставни я попробую открыть!»

Анастасия опускает ноги на ворсистую шкуру. Ощупью находит чувяки. Крадучись добирается до окна.

Засов — толстое, обтесанное полено — поддается с трудом. Девушка напрягает силы... Есть! Прислонила засов к стене. Распахнула створки ставней. Повернула задвижку. Форточка откинулась вправо. Вот он, свежий воздух. Как легко дышится! И приятно, точно в жаркий день утоляешь жажду.

«Аполлон! Он смотрел на меня, словно я редкий минерал. «Вы не похожи на здешних девушек». А на Клеопатру я похожа?»

Чужие шаги врываются в тихое бормотание ветра. Кто-то идет к дому. Шум на даче. И выстрелы. Один, второй, третий...

Люди злобно ругаются...

Чья-то фигура метнулась мимо окна, исчезла в кустах за забором. Потом другой человек кричал:

— Стой!

И палил из пистолета...

В доме Воронина произвели обыск. Ничего подозрительного не нашли. Но главный — в серой каракулевой папахе, в длиннющей кавалерийской шинели, как положено, с раструбами на рукавах, в пахнущих сапожным кремом сапогах с блестящими шпорами, которые время от времени позвякивали, с пистолетом в руке и шашкой на боку — говорил Воронину:

— Как же ты недоглядел? На каком таком основании беляков пригрел?

— Геологами они назвались. Справки показывали, — оправдывался Воронин.

— Справки... Бандиты они, а не геологи. Шайку сюда создавать приехали. Забрать тебя, дед, нужно.

— Что же я? Я документам Советской власти верю. Бумага печатями пропечатана, — Воронин говорил неторопливо.

И в голосе не чувствовалось волнения. Вот только глаза недобро горели, как у зверя.

Главный удобно сел на стул. Свернул папироску. Прикурил от лампы. Сказал:

— Фамилия ваша Воронин?

— Она самая.

— Поскольку одному из бандитов удалось скрыться, — продолжил главный, — и он представляет опасность для населения, точно голодный волк, вы, товарищ Воронин, должны нам помочь.

Егерь понимающе кивнул.

— Что вы знаете о сбежавшем бандите?

— Зовут его Аполлоном. Роста высокого. Волосы светлые. Молодой. Лет тридцать будет... Веселый. Всегда песенки напевал... Происхождения высокого. Про отца сказывал, что тот самому князю Кириллу близок был... Больше ничего не знаю.

— Бдительности у тебя, отец, нет... Не пролетарской закалки ты человек... Да ладно... Из этих мест бандит далеко не уйдет...

— Из этих мест можно уйти в самую Турцию, — скептически возразил Воронин.

— Если знать дорогу, — многозначительно заметил главный. — Так вот, Воронин, коли бандитский Аполлон появится в ваших местах, постарайтесь задержать его силой или хитростью. И сообщите к нам в кавалерийский отряд или в отделение милиции.

Через четверть часа кавалеристы покидают хутор Воронина. Шестеро с карабинами. И между ними профессор и Меружан — руки связаны за спиной.

Луна по-прежнему купается в облаках. Только облака стали больше и плотнее.

Где-то воют шакалы...

Прибывает ветер. Кажется, днем опять польет дождь.

Кавалеристы останавливаются подле граба. Приветливо ржут лошади. Главный поворачивается и смотрит на белый, словно бумажный, дом Воронина. Потом решительно достает нож... и разрезает веревки, стягивающие руки профессора и Меружана.

— Мы вас не сильно помяли, товарищи?

«Профессор» шевелит затекшими кистями рук.

Меружан говорит:

— И холостым выстрелом можно запалить волосы, если стрелять прямо в чуб.

— Перестарались, — говорит главный.

Кавалеристы негромко смеются.

— По коням!

Осторожно ступают кони. Постукивают о камни копытами. Восемь всадников скрываются в ночи...

8

Пуговиц двадцать штук. Маленьких, перламутровых, сидящих одна возле другой. Они удлиняют платье Варвары, и без того длинной и тонкой женщины. И платье зеленое, и глаза зеленые. И волосы, густые, спадающие на плечи, тоже какого-то зеленоватого отлива. Но в этом не следует винить Варвару. Она хотела сделать локоны золотистыми. Но заграничные химикаты, которыми даже в их парикмахерской — лучшей в городе, где все вывески и объявления пишутся на двух языках, русском и английском, даже в их парикмахерской эти химикаты давали иногда самые неожиданные результаты.

Варвара меняет иголку. Опускает мембрану на черный диск пластинки. Игриво улыбается гостям. Левка пыжится. Распрямляет грудь. Приглашает Варвару. Она кладет руку на его плечо. Чуть наклоняет голову. Волосы дождем сыплются на Левкину щеку, попадают на губы. Левка доволен, как кот, вылакавший сметану.

Граф Бокалов в небрежной позе развалился на диване.

Варвара на семь лет старше Левки. И вдруг любовь...

Бокалов немножко выпил. Коньячку. Граф либо совсем не пьет, либо пьет очень мало. Левка и Варвара накурились американских сигарет. В комнате плавают круги белого сладковатого дыма.

Иголка чуть дерет пластинку. Вероятно, пластинка заиграна. Певец томно поет:

Листья падают с клена,
Значит, кончилось лето.
И под сумрачным небом
Стоят дома.

Варвара не парикмахер. Она маникюрша. В женском зале. У нее пухлые губы. Яркие, как конфетная обертка. И может, оттого, что она сама худая, а губы пухлые и глаза широкие, точно спичечные коробки, нос на лице незаметен. Он у нее маленький, с горбинкой. И ноздри хищные...

Утомленное солнце
Нежно с морем прощалось.

В этот час ты призналась,
Что нет любви.

— Ой, мальчишки, — говорит Варвара, когда они возвращаются к столу. — Сегодня до обеда случай был. Умора! Приходит такой месье. Костюмчик — обомрешь... И цвета сказать не могу какого. И синий, и серый. Одним словом, Париж! Садится за мой столик. Лопочет что-то по-французски. На ногти показывает. Делаю ему маникюр. Сама, как требуется, улыбаюсь глазами. Он... Интересный. Песенку мурлычет. Пальцами в пузырьки с лаком тыкает, насчет цвета указания дает. Обслужила его по первому классу. Ногтями любуется. Доволен. И опять что-то говорит по-французски. Я ему в ответ улыбаюсь и киваю головой. Приличия ради. Он еще в больший раж входит. «О! О!» — кричит. А потом берет, паразит, разувается. И потные свои лапы кладет на мой венский столик. У меня глаза на лоб. Я к заведующей... Но Полина Абрамовна только на немецком языке разговаривает и на английском... Кроме русского, разумеется... Кое-как она ему разъяснила, что мы педикюр не делаем. Он опять: «О! О!» — кричит. Только не радостно. Потом хлопает себя по кумполу. И достает из кармана два флакона парижских духов. Смотрите, как оригинально сделано...

— Эйфелева башня, — поясняет Бокалов.

— А ты откуда знаешь? — удивляется Варвара.

— Граф все знает, — авторитетно заявляет Левка Сивый.

— А запах! Настоящая роза! — восхищается Варвара. — Вот понюхайте.

Граф вдыхает аромат парижских духов. Спрашивает:

— Чем все кончилось?

— Ах! Чего ради французских духов не сделаешь! — призналась Варвара. — Да и Полина Абрамовна поддержала. Говорит, не расстраивайся, Варечка, педикюр — это тоже работа.

— Выпьем за педикюр! — предложил Граф.

— И за любовь тоже, — сказал Левка.

— Нет! За работу и педикюр. За француза и торгсин, что в переводе на русский язык означает торговлю с иностранцами.

— А не взять ли нам торгсин? — предложил Левка, морщась от лимона.

— При такой охране... Нереально, — ответил Граф.

— Можно продумать...

— Нереально.

Варвара поддержала Графа:

— Не зарься на государственный карман, Лева. Разве ты больше не любишь меня?

— Люблю, — сказал Лева.

— И я тебя люблю... Мальчики, — Варвара понизила голос до шепота, — есть одна квартира на примете. Провалиться мне на этом месте, если вы не поимеете там вшей.

— Что в переводе на русский язык означает золото, — весело заметил Левка.

Варвара встала и, не ожидая ответа, подошла к патефону. Стала крутить ручку.

— Нужно обмозговать. И все взвесить, — осторожно сказал Граф, которому Каиров строго-настрого запретил принимать поспешные решения.

— Что за квартира? — спросил Сивый.

Варвара поманила ребят пальцем к окну. Выключила свет и раздвинула штору. Напротив, в густом вечернем сумраке, висели окна пятиэтажного дома.

— Считайте. Четвертый этаж, шестое окно с того края. Темное. Там никогда не горит свет... Хозяйка квартиры интеллигентная старушенция. Я еще девчонкой запомнила ее. У нее был муж. И двое сыновей. Все белые офицеры. Муж, кажется, погиб, когда красные входили в город. А сыновья бежали с Кутеповым... Я второй год наблюдаю за ней. Головой ручаюсь, есть у нее золотишко. А может, и не только золотишко. И мне представляется, что она не посмеет заявить в милицию.

Комната, в которой происходил разговор, была достаточно большой, но загроможденной мебелью, высокой, темной, с резным орнаментом по дубу. Стол расплющился в центре на толстых, как тумбы, ножках. Полукресла, обшитые красным плюшем, стояли вдоль стола и справа, и слева от двери, скрытой желто-золотистой портьерой.

Вместе со старой матерью Варвара занимала комнату, просторную прихожую и кухню. И хотя это нельзя было назвать отдельной квартирой — туалет находился на другой стороне лестничной площадки, — все равно жилье очень устраивало Варвару и ее мать. Здесь не было любопытных соседок, споров и склок на кухне...

Эта удобная комната осталась им в наследство от деда, известного в прошлом ювелирного мастера. Когда-то дед имел свою мастерскую с громадной розовой вывеской на Малороссийской улице и трех помощников. С оборотом в несколько сот тысяч. Его клиентами были жены самых богатых и уважаемых людей в городе. Дворники и мелкие ремесленники кланялись ему в пояс.

В июле 1903 года прибыла на гастроли в город группа артистов из Екатеринодара. Приехала деньжонок подзаработать, в море покупаться. Выступали артисты в летнем театре на голубой эстраде, сделанной в форме раковины. И была там, среди прочих примадонн, одна такая, цыганистая. Роза Примак. Молодая, лет девятнадцати. Песни душевно исполняла. И особенно «Очи черные». Бывало, заведет:

По обычаю петербургскому,
По обычаю древнерусскому...
Нам нельзя никак без шампанского
И без табора, без цыганского...

Как аплодировали, как на «бис» вызывали. Что там цветы — лавочники кошельки бросали...

Люди говорят: седина — в голову, а бес — в ребро. Влюбился ювелир в певичку. Стыдно признаться, светлячков с нею ночью в парке ловил, со скамейки прыгал, будто дочери его не двадцать лет было, а только двадцать месяцев.

За один сезон Роза разорила деда. И плаксивой осенью убыла в Екатеринодар вместе с труппой. А дед, лишившийся сразу всего — мастерской, семьи, честного имени, — снял вот эту комнату с широкой прихожей.

Он много пил. Напившись, буйствовал. На какие средства жил, никто не знал. Полиция подозревала его в связях с контрабандистами. Вполне возможно, что филеры не ошибались. Знания деда по части золота и драгоценностей могли пригодиться молодым и ловким контрабандистам.

Осенью восемнадцатого года деда зарезанного нашли на камнях в ближайшей гавани. Что занесло его на эти громадные бетонные глыбы, в беспорядке лежавшие друг на друге, куда лишь иногда наведывались любители рыболовы, остается загадкой. Известно совершенно достоверно: дед никогда рыбалкой не увлекался. И все местные «мокрушники» были его друзьями.

С того самого дня в комнате деда поселились Варвара и ее мать.

Граф познакомился с Варварой год назад. В то время ее мужа, технолога мясокомбината, посадили за групповое хищение. И Варвара вернулась к занятию, освоенному еще в годы ранней юности. Она стала наводчицей. И теперь сама искала связи с жульем.

Работая маникюршей, она легко знакомилась с клиентами. И наиболее интересным из них вполголоса рассказывала, что

у нее старушка мать на руках и что после работы она обслуживает часть клиенток на дому. В ее распоряжении всегда имелось десятка три адресов с планами квартир и примерной стоимостью «улова»...

— Торопиться не надо, — повторил Граф, возвращаясь к дивану. — Пусть Варя планчик сработает. Мы должны быть особенно осторожными...

9

Вечером Каирову, когда он после ужина читал газету, позвонила Нелли. По взволнованному голосу своей секретарши он догадался: произошло что-то серьезное. Она просила о встрече. О немедленной встрече.

Каиров велел прийти ей к нему домой.

Жена, убиравшая со стола, сказала:

— Мирзо, ты посмотри, что творится за окном. Дождь, тьма. И ни одного фонаря на нашей улице. Ты бы встретил Нелли. Девушке неловко одной...

Жена Каирова — полная красивая армянка с седеющими волосами, зачесанными в тугой узел, — принесла плащ.

— Нелли — смелый человек, — сказал Каиров, которому не хотелось выходить из теплой комнаты, такой уютной и светлой.

— Мирзо, старый человек, — насмешливо заметила жена.

Каиров вздохнул, поднял вверх руки, потом развел их в стороны, будто вспоминая гимнастическое упражнение. Он теперь ежедневно занимался гимнастикой. Доктор Челни как-то выслушал его тщательно и вынес приговор:

— Ежедневная гимнастика или ожирение сердца.

Надев плащ, Каиров долго возился с капюшоном. Капюшон сползал на глаза, и его пришлось зашпилить булавкой.

Переложив в карман плаща пистолет и зажав в руке английский фонарик — трубку коричневого цвета, — Каиров вышел на крыльцо. Свет от окна падал на ступеньки и на часть дорожки, выложенной плоским камнем.

Батарейки были редкостью, и Каиров решил пройти до калитки, не включая фонарика.

Дождь лил не ливневый, а мелкий, обыкновенный осенний дождь, который не кончался неделями. И ветер метался. И шумело море...

Вдруг Каиров различил человеческую фигуру, копошащуюся у забора. Правая рука машинально скользнула в карман за пистолетом.

— Мирзо Иванович, батенька, — услышал он голос доктора Челни. — Я потерял галошу...

— О боже! — удивился Каиров. — Ему не спится и в дождь...

— Я составил оригинальную задачу. Белые начинают и делают мат в четыре хода... — сказал доктор Челни.

Вероятно, доктор споткнулся, потому что галоша соскочила на плите, где и грязи-то не было. Да и соскочила недавно... Когда Каиров включил фонарик, лиловая подкладка галоши еще была сухой.

— Хорошо, — сказал Каиров. — Пройдите в дом... Аршалуз обсушит вас и напоит чаем. А я через четверть часа вернусь...

— Спасибо, Мирзо Иванович. Я ведь тоже лишь на минутку.

Улица, виляя, спускалась к шоссе, с которого открывался вид на порт. Порт лежал внизу под горой. И пристани, обозначенные желтыми точками огней, и зеленые и красные огоньки над выходом в море, и корабли, стоящие у причалов, со светлыми прорезями палуб — все это было знакомо Каирову, как собственная квартира. Сейчас справа покажется маяк — домик, похожий на пчелиный улей. Он стоит на белой треноге, высотою с большой тополь. И светит нежно, фиолетово. Выше, на горе, есть еще один точно такой же маяк. Маяки — поводыри капитанов кораблей, приходящих в порт ночью. Огни обоих маяков должны совместиться. Это будет означать, что курс правильный.

Выйдя на шоссе, Каиров огляделся. Из города, разгоняя тьму метлами света, полз автобус. Когда автобус поравнялся, Каиров увидел Нелли. Она стояла у выхода, прижимая к груди черную сумочку.

— Мирзо Иванович, у меня в квартире что-то искали, — сразу же сказала она.

— Обыск? Кто давал разрешение?

— Это не обыск. И не кража. Это совсем другое... Перерыты все вещи Геннадия...

Каиров вспомнил, что за несколько дней до своей гибели Мироненко переселился к Нелли.

— Что же они могли искать?

— Плакаты, — сказала Нелли. — К счастью, я собралась перепечатать записи и взяла сегодня плакаты на работу...

— Ты их читала?

— Да.

— Что-нибудь серьезное?

— У Геннадия были подозрения, но он не доверял их бумаге...

— Плакаты с собой?

— Да.

Она открыла сумочку и вынула из нее бумажный сверток. Каиров спрятал его под плащ.

— Я боюсь возвращаться домой.

— Придется, Нелли. Я сейчас позвоню оперативному дежурному, чтобы прислали сотрудников с собакой. Может, собака возьмет след. Или нам удастся заполучить отпечатки пальцев.

Когда Каиров пришел домой, доктор Челни пил чай и рассказывал Аршалуз какую-то веселую историю. Каиров отдал распоряжение по телефону. Челни спросил:

— Займемся задачкой, Мирзо Иванович?

— У меня задачка посложнее, — буркнул Каиров и заперся в кабинете.

Доктор Челни поболтал с Аршалуз еще четверть часа и вежливо откланялся.

Каиров стал смотреть записи. Записи не в тетради, не в блокноте, а на оборотной стороне плакатов. На плакатах была нарисована физкультурница, метающая диск. Рослая, красивая девушка. Она улыбалась. Где-то на втором плане целился из ружья стрелок, стартовали бегуны, мчались мотоциклисты. Ниже белели стихи:

Работать, строить
и не ныть!
Нам к новой жизни
путь указан.
Атлетом можешь
ты не быть,
Но физкультурником —
обязан.

Знакомые плакаты. Всего три...

ПЛАКАТ ПЕРВЫЙ

Луна лежала поперек моря. Длинная, серебристая. Она рассекала его надвое — от берега до горизонта. Волны мягко накатывались и отступали, словно тая, незаметно, с тихим, клокочущим шепотом.

Колченогий шезлонг, беспризорный, забытый отдыхающими, приткнулся к зонту. Круглый, будто дыня, камень заменял ему обломанную ножку. Я присел, твердо решив разуться. Сапоги

у меня брезентовые, узкие. Стащить их не так просто. Клок парусины свисал над реей. Я поднял глаза кверху и увидел дырку, залатанную небом и звездами. Перевернутый баркас, темневший метрах в пятнадцати, заслонял огни города. И море казалось мне большим. Я видел все это впервые. И длинную пристань, и маяки, словно цветы, у входа в порт...

Со стороны города послышались шарканье шагов и негромкие мужские голоса. Двое остановились по ту сторону баркаса.

Черный буксир, входя в порт, обрадовался таким пронзительным гудком, что я невольно вздрогнул. Буксир — маленький и низкий, но габариты баржи, которую он тащил, внушали уважение. Словно муравей, он старательно волочил свою ношу. Слабый, мутноватый прожектор щупал воду. Белесая в ночи дымка изгибалась над трубой, будто парус. Буксир развернулся и пошел к пристани...

Мне почему-то стало радостно. Просто, по-человечески, и все... Хорошо, что я приехал в этот город, где пахнет рыбой и нефтью, где растут магнолии и крошечные буксиры таскают баржи-великаны. И может, совсем зря мне не понравился Волгин, дежурный по отделению, небритый и заспанный, который с лабораторной тщательностью исследовал мои документы и в завершение предложил на ночь диван в комнате угрозыска. Облезлый, с двумя горбами почище верблюжьих, в котором, наверное, столько клопов, что и до утра не сосчитать.

За баркасом кто-то застонал, почти вскрикнул. Секунду спустя что-то с глухим стуком подмяло гальку... Нет ничего хуже, чем быть застигнутым врасплох. Истина древняя, как сама жизнь. И тем не менее каждый открывает ее заново. Меня словно подбросило. Однако бежать в лишь наполовину снятом сапоге оказалось не очень ловко. Я запрыгал, потом, ругаясь, опустился на камни, стащил сапог обеими руками.

Человек лежал лицом вниз. Я осветил его фонариком. Крови почти не было. Только на затылке короткие, как щетка, волосы казались смоченными чем-то темным.

У пристани дрожали огни. Там должны быть люди. Я поспешил... Близ причала какой-то человек шпаклевал лодку.

— Слушай, товарищ, — сказал я, — нужно позвонить в милицию. Случилось убийство...

Человек выпрямился, подозрительно сдвинул брови. Я включил фонарик. Человек вздрогнул и замахнулся на меня веслом.

— Полегче, — успел сказать я и вцепился в весло. — Брось дурить... Где ближайший телефон?

Опустив руки, он недоверчиво спросил:

— Правду говоришь... убийство?

Он был немолод. Лет шестьдесят. Лицо морщинистое. Под лохматыми ресницами зоркие, как у птицы, глаза.

— Милиционер... Сейчас будет милиционер...

Он поднял с камней кепку и, сутулясь, пошел к пристани...

Вернулся с милиционером. Худым и длинным, как каланча. Осмотрев труп, милиционер сказал мне:

— Вы задержаны.

— Мне нужно обуться, — сказал я. — Мои сапоги там...

— Ничего не знаю, — сказал милиционер, расстегивая кобуру. — Вам лучше постоять... Следствие разберется.

Постоять так постоять. Только вот камни влажные, словно вспотели от страха. Это ложится роса. И чайки кричат громко и тревожно, будто не могут отыскать свои гнезда.

Подкатил новый, блестящий черным лаком ГАЗ-А. Два оперативных работника и врач, все в штатском, спустились к баркасу.

Вспышка магния — желтая клякса — легла на кусок берега. Щелкнул затвор фотоаппарата. Труп перевернули. Из кармана выпал бумажник. Оперативники не торопясь разглядывали его содержимое.

Я сказал милиционеру, что пойду обуюсь. Он кивнул, но тут же, спохватившись, шепнул:

— Кузьмич, иди с ним...

Кузьмич, тот самый лодочник, что едва не огрел меня веслом, с явной неохотой поплелся за мной.

— Сам-то не из ближних краев? — спросил он.

— С дальних.

— Брюхо рыбу чует. Публики нынешнее лето понаехало. Только и рыба не дура. Такого паршивого клева пятнадцать лет не было.

Никогда сапоги не казались мне такими легкими и удобными. Кузьмич не отставал, будто тень.

У баркаса никто не обратил на меня внимания. Невысокий оперативник, видимо возглавлявший группу, спросил:

— Как вы полагаете, доктор, сколько времени назад произошло убийство?

— В двадцать часов семнадцать минут, — ответил я.

Все с удивлением посмотрели в мою сторону.

— Документы, — потребовал невысокий оперативник.

Я расстегнул нагрудный карман гимнастерки, в котором лежало заверенное подписями и печатью мое назначение на должность начальника уголовного розыска.

...В бумажнике убитого оказались паспорт на имя Бабляка

Федора Остаповича, справка о прививке оспы, тридцать рублей и железнодорожный билет на проезд со станции Курганная. Билет двухнедельной давности.

Мокрая фотография Бабляка прилипала к газете, и потеки, словно плесень, расползались по ее краям. Репродукция была сделана с паспортного фото. Широкий, хрящеватый нос, казалось, занимал большую часть сходящего на клин лица. Темные черточки глаз, открытый, средних размеров лоб, волосы короткие, зачесанные наверх. Лицо как лицо... Словом, это была одна из тех неудачных фотографий, по которым мало что можно узнать о человеке.

Ночь кончалась. Я выключил свет, и окно отпрыгнуло назад. В кабинете душно. Распахиваю раму и сажусь на подоконник. Отсюда, со второго этажа, видна часть улицы, подпирающей круглую, как блюдце, площадь. Верещат птицы. В воздухе настоянный запах осени. Где-то вдалеке скрипит телега. Вскоре она выползает из-за дома и катит к площади. На телеге бидоны с молоком. Рядом шагает возница. Я узнал его по кепке-шестиклинке. Видимо, почувствовав на себе взгляд, он поднял голову. Опознал меня. И дружески приветствовал взмахом руки. Это был Кузьмич. Тот самый, с пристани...

Кто-то вошел. В кабинете было темнее, чем на улице, и я не мог различить, кто вошел. Щелкнул выключатель. У стены стоял мужчина с непроницаемым, как икона, лицом. Он положил на тумбочку рулон, который развернулся. Девушка в спортивном трико смотрела на меня с плаката. Она улыбалась и замахивалась диском.

Мужчина сказал:

— Каиров.

Вот он какой — начальник городского отделения милиции. Я представился. Бросив взгляд на стол, где высыхало фото Бабляка, Каиров спросил:

— В чем дело? Убийство?

— Да... Девять часов назад... Его фамилия Бабляк, — сказал я. — Это ничего не говорит вам?

— Первый раз слышу, — быстро ответил Каиров.

Он вызвал дежурного и назначил служебное совещание на восемь тридцать...

Я, кажется, уснул. Разбудила секретарь-машинистка. Я видел ее еще вчера. Она тронула меня за плечо:

— Скорее в кабинет Каирова.

— Как вас зовут? — спросил я.

— Нелли...

Ей лет двадцать. У нее каштановые, совершенно прямые

волосы и загорелое скуластое лицо. Походка угловатая, мальчишеская.

— Я хочу коротко проинформировать вас, — начал Каиров, — о совещании, которое проводил начальник ОГПУ Северо-Кавказского края...

Обстановка на Кубани напряженная. Борьба с кулаками вызвала известные временные осложнения. На реке Малой Лабе, в окрестностях заповедника орудует банда одного из царских полковников. Фамилия его точно неизвестна. Скрывается он под кличкой Козяк. Людей в банде немного. Триста-четыреста. Но они отлично вооружены. Кто-то регулярно снабжает их боеприпасами. Есть сведения, что боеприпасы поступают через наш порт.

ПЛАКАТ ВТОРОЙ

Октябрь выдался теплым. И листья на деревьях еще держались; они были серые от пыли и немного желтые от старости, но ветры, дующие с моря от берегов Турции, еще не могли сбить их. Листья держались до ноября, до тех пор, пока норд-ост, развернувшись в Новороссийске, не устремился к югу, и желтая его дорога не протянулась до самого Батуми.

Я снял комнату у полной особы, которая уверяла, что двадцать лет назад у нее была осиная, самая тонкая талия на всем побережье Северного Кавказа. Когда я пришел к ней, хозяйка спешила на концерт. Она была пианисткой.

— У вас современный вид, — сказала она. — Вы не спали и не брились по меньшей мере трое суток. Я не вижу причин, чтобы не уступить вам комнату. Судя по всему, вы ответственный работник.

— Я из угрозыска.

— В наше время такой квартирант — просто находка. Я возьму с вас вдвое дешевле.

Комната мне понравилась. Дом стоял на горе. Из окон, выходивших в маленький розарий, были видны море, порт, пристань... Но акация, что росла за соседним домом, густой кроной, точно пологом, закрывала то место на берегу, где в теплую сентябрьскую ночь произошло неразгаданное убийство. Я чувствовал, что другой, более опытный человек разобрался бы в этом деле. Вероятно, тогда на парткоме следовало проявить большую принципиальность и отказаться от неожиданного назначения.

Тяжеловато. И Каиров — человек трудный, настойчивый. Я признаю за ним силу воли. Но во многом не понимаю его...

Однажды Нелли, я и Каиров шли обедать. Был полдень. И солнце грело вполне. Цыганка в пестрых юбках сидела у входа в отделение. Это было не очень умно со стороны цыганки — усесться в таком месте, да еще, схватив Каирова за полу пиджака, нараспев сказать:

— Позолоти ручку, черноглазый. Как звать, скажу. Счастье угадаю...

Она, конечно, не знала, кто такой Каиров. И нахальничала, как с самым рядовым прохожим.

— Филиппов!

Милиционер появился на пороге.

— Проверь документы, — бросил Каиров, указывая на цыганку.

— Откуда они у нее? От сырости? — лениво сказал Филиппов.

Каиров предупредил:

— Не допускать до моего прихода.

Потом цыганку выпустили. И может, не стоило бы это вспоминать... Но в общении Каирова с людьми есть что-то панское. Я не понимаю, откуда это взялось у старого партийца. Возможно, виною возраст. Возможно, просто старый человек думает, что он самый умный, что он никогда не ошибается. Конечно, люди в пожилом возрасте бывают мудрые. Но и молодой, и средний возраст не состоит из одних дураков...

Нелли разделяет мою точку зрения...

Я нарочно избегал писать о Нелли. Но, видно, наступила пора сказать о ней сразу...

Это очень сложно рассказывать. Кто думает, что писать о любви проще пареной репы, тот либо никогда не любил, либо это было у него лет пятьдесят назад. Срок простительный, внушающий понимание.

Дело в том, что в феврале девятнадцатого года я женился на военфельдшере Тамаре Исаковой. Мне было девятнадцать лет, моей жене и того меньше. Свадьба случилась на фронте. Мы пили горилку из темных эмалированных кружек, закусывали квашеной капустой...

Я не верю в то, что есть песни, которые задумывались без души, без веры в их нужность, в их будущность. Но почему же тогда бывают плохие песни?

Кажется, именно взаимное непонимание, возникшее между мной и Тамарой в последние годы, побудило меня уехать из Ростова.

Обстоятельства сближают людей. Это не ново. Но верно.

И многое кажется значимей и желанней, чем оно могло бы казаться в другое время.

Нелли я увидел в первый день, когда сидел у Волгина. Волгин вертел мои документы, а в соседней комнате стучала пишущая машинка. Потом машинка перестала стучать, а из комнаты вышла девушка. Она быстро взглянула на меня и сказала: «Здравствуйте». Я сказал: «Добрый вечер». Но девушка уже положила ключи на стол и ушла. И в дежурке опять стало нерадостно и дымно...

Кабинеты наши были напротив, и я встречал Нелли в коридоре. Я улыбался, ее же лицо не выражало никаких эмоций. Она всегда к кому-то торопилась с зеленой папкой в руках, а когда работала за машинкой, надевала очки. Раз или два в день она заходила в мой кабинет с поручениями от Каирова. И скоро я понял, что мне приятно видеть ее упрямые глаза и короткие, словно у мальчишки, волосы.

В воскресенье меня разбудили на рассвете. Посыльный сказал, что ограблен торгсин. Мы долго возились с этим делом. Только к трем часам дня я закончил диктовать Нелли протокол допроса сторожа, которого мы нашли в кладовой целым и невредимым, завернутым в ковер.

Из отделения вышли вдвоем. Поднялись к площади, где под мимозой дремал милиционер в белых перчатках.

Купили каштанов. Старый грек, насыпая каштаны в банку, бормотал:

— Каштаны печеные, каштаны вареные... Лучше пирожного, лучше мороженого... Разобрали — не берут!

В единственном в городе кинотеатре шел новый звуковой фильм «Путевка в жизнь». Зрители брали кассы приступом.

Нелли сказала:

— Пойдем в кино.

— Пойдем, — согласился я.

Администратор, посмотрев мое удостоверение, заверила, что обеспечит на последний сеанс двумя приставными стульями.

Чтобы как-то скоротать время, мы пошли к старику Надару, с которым меня недавно познакомил Каиров.

Сидели в беседке за не покрытым клеенкой столом. Светило солнце, и белые облака бежали на запад. Нелли положила локти на стол, ладонями уперлась в подбородок. Надар принес обмотанную тряпками бутыль и граненые стаканы.

— Прошлогоднее, — сказал он. — Взгляните, какое ясное...

Нелли усмехнулась. Вино было светло-розовое, ароматное. Старик Надар добавлял в него инжир, хотя ни за что на свете не хотел в этом сознаться.

Ветер дул из щели. Он был зябким. И желтые виноградные листья падали на стол. И он выглядел почти праздничным. Я поднял бутыль и налил вино в стаканы.

— Выпей с нами, — сказал я Надару.

Надар покачал головой. Он покосился на старый, увитый глицинией дом, вздохнул и негромко пожаловался:

— Скандальная у меня баба. Не женись, кацо!

— У тебя нет такта, Надар, — лукаво сказала Нелли. — А вдруг я хочу женить его на себе?

— Вай! Вай! — смутился Надар. — Сохраню на свадьбу бочку вина. Первый сорт! Изабелла...

— Не храни, Надар... Оно скиснет. К сожалению, личные дела наших сотрудников проходят через мои руки.

— Удобная штука — личное дело, — усмехнулся я. — Человек как на ладони.

— Скука... Неразгаданное лучше. — У нее был твердый, почти жестокий взгляд и строгие, сдвинутые брови, на которые спадала челка прямых волос.

...Мы не торопились, но пришли в кино еще задолго до начала сеанса. Когда поднялись в фойе, Нелли сказала:

— У меня есть боны. Пожуем чего-нибудь...

В торгсиновском буфете лежали узкие баночки шпрот, пирожные, бутерброды из настоящего белого хлеба и зернистой икры, черной и блестящей, точно бусинки. И еще лежали там многие другие приятные вещи, среди них — папиросы «Пушка».

— И «Пушку» возьмем, — сказала Нелли.— Я ведь тоже изредка покуриваю...

— Не нужно тратиться, — остановил я. И, смеясь, добавил: — Насытимся духовной пищей...

В фойе была фотовыставка. На ней экспонировались работы местных любителей. Выставка называлась «Наш город».

Несколько морских снимков с густыми низкими облаками были талантливы. Остальные — дрова...

Уже прозвенел звонок, и народ хлынул в зрительный зал. Нелли потянула меня за руку, как вдруг на стенде, что стоял возле самого окна, я увидел фотографию... Фотографию, в которую не мог поверить. Уголок сквера, на заднем плане — пристань. А у фонтана, сделанного в виде маяка, на скамейке сидят двое мужчин. Сидят и курят. Их лица так ясно и четко выделяются на фоне зелени, словно фотограф именно на них наводил резкость. По жестам и мимике лиц было очевидно, что это не просто два случайных человека. Нет, они курили и беседовали. Нелли перехватила мой взгляд.

— Я видела этого человека... Гена, это же тот, которого убили в день твоего приезда.

— Бабляк... Но кто второй?

Я покачал головой. Потом присел и стал разглядывать снимок через лупу...

Третий звонок дрожал над обезлюдевшим фойе. Заглянула билетерша. Она торопила нас.

— Пойдем, — шепнула Нелли. — Не привлекай внимания.

Мы пошли в зал. Но мне было не до кино. Я твердил фамилию фотографа — Саркисян...

ПЛАКАТ ТРЕТИЙ

Этот стук извел меня. Он был громким и повторялся через короткие промежутки времени.

«Тяк!.. Тяк!.. Тяк!..»

Я высунул голову из-под одеяла. Посреди комнаты стоял эмалированный таз. С потолка капала вода. Таз, вероятно, принесла хозяйка, потому что за окном лил дождь и было сумрачно. А крыша была совсем как решето. Хозяйка однажды сказала:

— Достали бы мне жести. Вы все можете...

— Не обещаю.

— Вы все можете, — сказала хозяйка. — Если захотите.

— Это другое дело.

Она деланно вздохнула и покачала головой. Что ни говори — дама с манерами. Вот и сейчас я слышу ее шаги на пороге. Она не стучится в дверь, а громко, нараспев говорит:

— Вы еще спите?

— Нет. Плаваю...

— У меня к вам дело, — говорит хозяйка.

Минуту спустя она уже в комнате. Громоздкая, словно шкаф.

— Вы будете иметь возможность беседовать с человеком необыкновенным. — Голос ее звучит, как в бочке.

— Роза Карловна, кто вы по национальности? — спрашиваю я.

— Спросите что-нибудь полегче. Мать моя была гречанка. Отец прибалтийский немец... По паспорту я — русская... У вас что, профессиональная манера перебивать говорящего? За месяц я так и не смогла сказать вам то, что хотела. Но на этот раз вы меня выслушаете... Наш сосед — учитель ботаники. Настоящий русский интеллигент. Он всего боится. И только к органам власти питает доверие. К тому же он убежден, что

у такой хозяйки, как я, не может быть плохого квартиранта. У него неприятности. Поговорите с ним. Это займет немного времени. А я приготовлю вам воду для бритья...

Над жухлым, худым лицом блестело пенсне. Учитель ботаники протянул мне руку и виновато сказал:

— Чайников.

Путаясь и заикаясь, он рассказал, что этой ночью к нему залезли воры. Очистили шкаф с шерстяными вещами. А дело идет к зиме...

Расследованием кражи в доме Чайникова занялся Волгин. Он обнаружил на шпингалете отпечатки пальцев. Вскоре выяснилось, что отпечатки принадлежат местному жулику по кличке Граф Бокалов. Графа взяли в три часа дня в торгсине, когда он сдавал золотое обручальное кольцо.

Девятнадцатилетний парень, бледный, с глазами наркомана, дурковато произнес:

— Граждане начальники, меня и самого совесть мучит. К старому учителю залез. К человеку, который мне про порядочную жизнь рассказывал...

— Где вещи? — спросил Волгин.

— Какие вещи? — удивился Граф. — Что-то вы тень на плетень наводите. Лучше спросите, из каких побуждений я кодекс уголовный нарушил. Что меня в чужое окно толкнуло? Я отвечу вам, граждане начальники... Жажда знаний! Вы и не ведаете, какая у старика ботаника библиотека! При царском режиме собирал!

Болтая в таком духе, Граф Бокалов в течение трех часов утверждал, что забрался к учителю Чайникову с целью выкрасть книгу Лидии Чарской «Паж цесаревны».

Книгу обнаружили при обыске. Исчезновения ее Чайников просто не заметил. И еще в комнате Графа нашли нераспечатанную коробку в английской упаковке.

Потом Графом внезапно заинтересовался сам начальник отделения. Какие планы у Каирова на этот счет — профессиональная тайна. А может, он просто хочет помочь Бокалову порвать с преступным прошлым. Стать на правильный путь...

Я забыл написать о фотографии. Тогда, после сеанса, мы вернулись в фойе. И я снял фотографию, предъявив изумленному директору удостоверение угрозыска. Вообще я заметил, что люди либо удивляются, либо пугаются, столкнувшись с нашим братом. Почему так? Ведь большинство из них — хорошие люди...

Сразу пошел в отделение. Показал фотографию Волгину. Он часа два рылся в картотеке. Пришел и говорит:

— Привет от Хмурого. Выходит, что старый валютчик опять объявился в наших краях.

Фотографию увидел Каиров. Он поразил меня своим ответом:

— Хмурый. Поговорите с Саркисяном.

Саркисян — фотограф с базара — точно указал дату съемки:

— Двадцать третье сентября.

— Искать Хмурого. Возможно, он еще в городе, — приказал Каиров.

Вечером Хмурый был опознан сотрудниками уголовного розыска в тот самый момент, когда спокойно прохаживался возле афиши кинофильма «Парижский сапожник».

Я обещал Нелли взять билеты на этот фильм. Но, видимо, с временем я по-прежнему не в ладах.

У Нелли упрямый характер и теплый голос. Я преображаюсь, когда слышу его. Нет нужды делать тайну из того, что мы не можем жить друг без друга... Я и Нелли идем по набережной. Темной и грязной, застроенной пакгаузами, складами, мастерскими. Сегодня вечер с грустинкой, как весною. И звезды. И даже луна... Пахнет морем и нефтью. От запахов кружится голова.

У нас серьезный разговор, про высокие материи. Иногда нужно говорить и об этом. Нелли не философ. И я тоже. Говорим, что чувствуем.

— Мы какие-то особенные, — говорит Нелли. — И жизнь у нас особенная... А мне хочется простоты. Вот ты любишь меня, а не знаешь... что я обожаю танцы и мороженое. У меня есть боны. Купим мороженое?

— Время особенное, — повторяю я. — Не надо себя переоценивать. Мы только люди. И выполняем свой долг... Это главное! А потомки разберутся, что мы сделали. Как знать, может, эти улицы именами нашими называть станут...

Мороженое в круглых вафлях. На вафлях имена. Таня, Маня, Ваня... У Нелли на вафле написано «Гена».

— Твое имя, — говорит она. — Если у нас родится сын, я дам ему это имя в честь тебя...

...Мы возвращаемся домой очень поздно. Зажигаем свет. Уже три дня, как я перебрался в ее комнату. Так правильнее. И честнее... Она спит. Или делает вид, что спит...

Хмурый опять вертелся у афиши кино «Парижский сапожник». Кого он ожидал? И почему тот, неизвестный, не пришел на свидание?

— К афише не подходите...

Этот случайно услышанный телефонный разговор...

Нет. Об этом еще рано писать. Надо проверить. Надо тщательно проверить. Семь раз отмерь, один отрежь... Неужели враг действительно так близко? Я вижу его десятки раз в день. Здороваюсь с ним за руку... А может, это мания подозрительности, вызванная усталостью...

На этом записки обрывались.

В полночь Каирову позвонил дежурный по городскому отделению милиции. Он сообщил, что при тщательном осмотре квартиры на стекле книжного шкафа были обнаружены отпечатки пальцев, не принадлежащие хозяйке дома. Составленную дактилоскопическую формулу по методу Гальтона и Рошера отправили в краевое отделение милиции.

13

Костя Волгин стал Аполлоном Пращуровым не случайно. И раньше ему приходилось менять имя и фамилию. Появляться в занятом деникинцами Екатеринодаре с паспортом турецкого коммерсанта Генриха Боркмана, разгуливать в белогвардейском Симферополе в погонах кавалерийского капитана, забулдыги и циника. Разыгрывать из себя слепого, немого, припадочного...

Но, пожалуй, самой трудной была роль кафешантанного певца в Одессе в 1918 году. Может, потому, что это была первая роль. И трудности набегали, как волны на неумелого пловца. Он пел в кафе, у Фанкони. И публика там была пестрая. И весь город был пестрый, оккупированный французами. Негры, зуавы, спекулянты самых различных пошибов, великосветские дамы — бывшие фрейлины, и просто легкомысленные девицы дворянского происхождения. И конечно же, господа офицеры — всех возрастов и званий.

В моде была серо-розовая камбала, круглая, как сковорода, и крюшон из белого вина с земляникой.

Волгину удалось завязать знакомство с майором из окружения генерала Шиллинга. Сведения, выуженные у майора, пригодились подпольной организации большевиков...

Года, года...

Только память сейчас походила на кладовую, где далеко не все разложено по своим местам. Многое затерялось. Позабылось... Но не эта встреча. Там, у Фанкони. После концерта к нему подошел светловолосый худощавый человек с удлиненным лицом. Пожал руку. И представился:

— Вертинский.

Каждый одессит знал, что Александр Вертинский гастролирует в доме артистов. Там еще было кабаре. Настоящее европейское кабаре. С Изой Крамер и Плевицкой...

Жизнь родителей Кости и его близких родственников так или иначе была связана с театром: бабушка — известная костюмерша, мама — драматическая актриса. Папа (он умер молодым) писал веселые куплеты и лично исполнял их под фортепьяно. Были среди родственников декораторы, режиссеры, музыканты, суфлеры и один гардеробщик — дядя Кеша, о котором в доме говорили с тихой печалью, будто о скончавшемся младенце. Дядя Кеша не перешел Рубикон. Мало того, подавая театралам шубы, он не брезговал чаевыми. Глаза у него всегда были красными. И кончик носа тоже... Полагают, что не из-за алкоголя, а по природной стыдливости.

Мама и бабушка уверовали, что Костя будет артистом. У мальчика обнаружилась отличная мимика, правильная речь. И притвора он был порядочный. Но бабушка проказы внука определяла как способность к перевоплощению.

Костя родился 2 января 1900 года. Появись на свет лет на пять позже, он, естественно, не стал бы в 1918 году разведчиком Красной Армии. Из него скорее всего получился бы интересный актер. Быть может, даже знаменитый... Однако в 1918 году молодой Советской стране прежде всего нужны были не актеры, а воины.

В мае 1928 года Костя Волгин уволился из армии. Москва. Театральное училище. Седой профессор — старый друг семьи. И Костя. Одежда согласно времени: диагоналевая гимнастерка, хромовые сапоги. На груди два ордена Красного Знамени. Даже шашку еще не снял. Настоящую шашку, взятую у убитого офицера, в чеканенной серебряной оправе, с георгиевским темляком.

— Поздно, друг мой, — проникновенно говорит профессор.— В двадцать восемь лет поздно учиться актерскому мастерству. Может быть, режиссура. Попробуйте свои силы в режиссуре. На следующий год мы предполагаем набрать целый режиссерский курс.

Люди, которые не однажды рисковали жизнью, сами не знают, сколько им лет. Каждый раз, когда смерть уже позади, они чувствуют себя заново рожденными. Будто впервые видят небо, траву, улыбки... И зачем только седеют виски?..

В старом, пропыленном диване Костя нашел растрепанную книгу без начала и конца. Он так и не узнал название

этой книги и ее автора. Одна часть, вероятно вторая, называлась «Под Южным Крестом», последняя — «Магараджа острова Борнео». В книге лихо описывались похождения двух французских авантюристов, схватки с пиратами... И хотя книга была наивной, а приключения надуманными, все равно с пожелтевших страниц дули ветры южных морей. Белыми гривами вздымались брызги над безымянными коралловыми рифами. Грустили высокие пальмы. Кричали непоседливые попугаи...

И Косте вдруг захотелось стать моряком дальнего плавания. Пусть вначале матросом, потом штурманом. А под занавес — и капитаном... Он представлял себя шагающим по набережной Сиднея или Порт-Саида. С сигарой в зубах... Маленькие таверны с диковинными названиями: «Три носорога», «Штопаный парус»... Улыбки смуглых женщин в пестрых узких платьях, подчеркивающих стройность фигуры. Мальчишки, торгующие финиками. И ром... Душистый ямайский ром, так полюбившийся мальчикам Флинта...

Костя подался к Черному морю. Секретарь горкома партии, подвижный для своего возраста мужчина, терпеливо выслушал посетителя. И с не меньшим терпением, осилив с десяток папирос, убедил Костю Волгина, что, принимая во внимание его, Волгина, героическое прошлое, в штате городской милиции он гораздо нужнее, чем на набережной Сиднея или Сингапура...

За пять лет Волгину приходилось сталкиваться с разными феноменами преступного мира. Среди них были и дегенераты, и артисты-эрудиты...

Аполлон Пращуров... Обрадовался ли Костя? Мало сказать, да. Он уже и думать не думал, что когда-нибудь вновь ему придется заучивать роль. Вживаться в образ человека, знакомого ему лишь по легенде. О проведении операции «Парижский сапожник» были проинформированы немногие опытные и надежные люди. Но о том, что главную роль в ней будет исполнять Костя Волгин, во всем городе знал только один Каиров.

Через день после отбытия Кости в полутемном коридоре городского отделения милиции был вывешен приказ: «Оперуполномоченного К. Волгина считать в командировке в г. Ростове-на-Дону. На курсах повышения квалификации».

11

Трудно представить доподлинно, как произошла их встреча, потому что ни Волгина, ни Козякова сейчас нет в живых.

Волгин не успел подробно ознакомить Кравца с ходом операции, когда был у него однажды суматошной ночью.

Можно лишь предположить, что Волгин убедительно рассказал легенду, подготовленную для него Каировым, и полковник Козяков поверил в это. Хотя нет никаких сведений, что характера полковник был доверчивого. Но когда-то Козяков сочувствовал горю молодой вдовы полковника Пращурова, своего друга, погибшего в первой мировой войне. У Пращурова был сын Аполлон. И вероятно, не только Козяков, но и всякий другой человек с трудом мог бы признать в тридцатитрехлетнем мужчине ребенка, которого не видел более двадцати лет.

Пращуровы занимали второй этаж особняка, выходившего лиловым фасадом на набережную Фонтанки. Анфилады комнат, где все — и тяжелые портьеры, и тончайшие тюлевые занавески, и модная венская мебель — источало запах нежных духов, которые так любила мать Аполлона, белокурая немка Берта. Она была тогда молодой женщиной, умеющей томно смотреть и загадочно улыбаться. И глаза у нее были серые, а шея длинная, но красивая. И вообще, при своем высоком росте Берта отличалась на редкость правильными формами.

Козяков увлекался Бертой. И, как свидетельствовал Аполлон (подлинный, взятый в плен после разгрома Врангеля), мать легко изменяла отцу. И кажется, не только с Козяковым.

Может, сказанное выше в какой-то степени объясняет доверчивость Козякова. День молодости. Времени, о котором редко кто вспоминает без грусти...

Возможен такой диалог:

— Если это вы... В чем я не сомневаюсь... То вы очень и очень постарели, — говорит Волгин. — Последний раз... Вы были у нас на обеде. И все жалели, что папа накануне уехал в Киев. Вы принесли большую плюшевую обезьяну. Мать всегда любила игрушки. И очень жалела, что я не девочка.

— Ты похож на свою мать, — говорит Козяков. — Те же глаза, те же волосы. И улыбка... Что с ней? Она жива?

— Нет. Мама умерла в Одессе от брюшного тифа.

— Давно?

— В восемнадцатом.

Ну а если Козяков оказался менее сентиментальным? И, схватив Волгина за грудки, крикнул:

— Врешь, сволочь!

В этом случае... Он не мог не заметить золотую цепочку... И медальон. Медальон, который он когда-то подарил Берте.

И фотографию молодой Берты, Берты-девочки. И прядь волос...

— Вы любили ее? — должен был спросить Волгин у присмиревшего Козякова.

И он, вероятно, ответил:

— Да.

Он мог ничего не ответить... И весь разговор мог сложиться совсем иначе, чем он представляется сейчас. Несомненно одно: Волгин выиграл первый поединок... И в банде почувствовали, что новенький пользуется доверием и покровительством атамана.

Люди, пославшие Волгина на это трудное задание, понимали, что, даже поверив в Аполлона Пращурова, Козяков должен был спросить:

— Хорошо, мальчик мой! Но зачем, для чего ты здесь? Неужели ты всерьез веришь в спасение отечества?

Волгин должен был рассказать следующее:

— За несколько часов до смерти мать призналась, что я не сын полковника Пращурова. Я немец. Настоящий немец. Мать назвала мне кодовый номер вклада, который ее отец оставил в швейцарском банке. Это большая сумма. Мне нужно в Европу. Там я обеспеченный человек... Памятью матери заклинаю вас, помогите мне осуществить мечту.

Тогда еще никто не знал, что Анастасия дочь полковника Козякова и что по этой причине у Козякова вообще могут быть особые виды на Аполлона и на его швейцарское наследство...

12

Сохранился протокол допроса Анастасии. Вот выдержки из него.

Вопрос: Что вы знали о своем отце?

Ответ: Ничего. Я встретила его шесть месяцев назад в Староконюшенном переулке. Подошел человек. И сказал: «Я твой отец». Я привыкла верить бабушке. А бабушка никогда не говорила, что отец жив и скрывается за границей. У бабушки такие честные, искренние глаза. У меня тоже честные, искренние глаза. И они остаются честными, искренними даже тогда, когда я вру. Но сейчас я говорю правду. Чистую правду. Потому что все так ужасно... Я по-разному представляла свою жизнь. Но никогда не думала, что стану вдовой в восемнадцать лет...

Вопрос: Почему вы поехали с отцом?

Ответ: Последние дни я думала об этом. Кажется, были три причины. Незнание жизни. Отсутствие того, что в газетах называют патриотизмом. И страх... Разве я испытывала что-нибудь, кроме страха, к этому усталому мужчине с седыми висками. И когда он остановил меня в Староконюшенном переулке, мне показалось, что он принял меня за проститутку. И я покраснела, и мне хотелось провалиться сквозь асфальт, ибо от стыда и смущения я не могла больше врать. Они закрыли мне рот с бесцеремонностью печной заслонки. И тогда я испугалась. Он сразу понял это. Он сказал: «Чем же крашеные ногти лучше натуральных?» — «Моднее», — ответила я. «Твоя мать, девочка, никогда не красила ногти. А вы похожи, словно две капли воды». — «Разве вы знали мою мать? Почему я не видела вас никогда раньше?» — «Я твой отец, Анастасия. Я вернулся, чтобы больше не расставаться с тобой».

И опять повторил, что я очень похожа на мать. Я и без него знала, что моя мать была похожа на бабушку, а я на мать. И фотографии, хранившиеся в старом бархатном альбоме, подтверждали наше сходство. Так что никакого открытия он не сделал. Но он умел говорить прописные истины, точно бог.

Он взял меня под руку. Без разрешения. Словно я была его собственностью или он двадцатилетним красавцем из киноинститута и собирался предложить мне роль в своем фильме или хотя бы для знакомства пригласить в «Метрополь».

Мы шли к Арбату. И старушки в подворотне судачили о распущенности молодежи, а я как дура смотрела себе под ноги. Потому что я читала в книгах: когда отцы возвращаются из странствий, дети бросаются им на шею. Плачут, целуются... Короче говоря, проявляют теплые чувства. У меня не было никакого желания целовать его в гладко выбритые щеки, тем более в губы. Пестрый шарф выбивался из-под бежевого плаща. И этот шарф привлекал к себе внимание, точно родинка-мушка, посаженная над губой. А в его положении, как я позднее поняла, было глупо привлекать чье-либо внимание.

Вопрос: Он вас уговаривал?

Ответ: Он спросил: «Ты поедешь со мной?» — «Во Францию?» — «Да. У меня там дом в Плезансе. Это под Парижем. Розы, виноград... Бабушка говорила о твоей мечте стать актрисой. В Париже много русских эмигрантов, подвизающихся в кино, в театре».

Он шел, высоко подняв подбородок, расправив плечи. И ноги ставил, печатая шаг. Я не забыла, как бабушка однажды проболталась, что мой отец белый гвардейский офицер.

И я спросила. Нарочно. Назло. Как он будет реагировать: «Ты большевик, папа?»

Он словно поперхнулся. И походка у него изменилась, точно его кирпичом ударили. «Я русский... Я потерял здесь все, что завещали предки. Но, слава богу, при мне остались моя голова, мои руки...» — «Как у пролетария?» — «Я не беден. Я приехал за тобой, Анастасия. Может, это и не вся правда. Но основная причина моего возвращения — ты. Я хочу показать тебе мир... Он велик и необъятен. Рим, Неаполь, Париж... Ницца...»

Он стрелял названиями городов. И я балдела... Меня качало, как лодку. И я держалась за его руку уже не просто ради приличия.

«Нельзя представить возможности, какие жизнь открывает перед человеком. Представить — это значит посадить мысль в тюрьму, в клетку. А мысль должна быть свободной, как птица», — говорил он. И верил, что все это придумал сам. И это было его дело — верить или не верить. Но самое глупое заключалось в том, что и я верила в произносимые им слова. В набор слов, связанных банальностью, точно слюной. Может, в нем где-то спала телепатия. Может, иногда она пробуждалась. И тогда он мог делать с людьми все, что ему угодно. А ему угодно было подчинить меня своей воле.

Вопрос: Свадьба... Расскажите о вашей свадьбе с Аполлоном Пращуровым.

Ответ: Я полюбила Аполлона, как только увидела... Но, разумеется, ни о какой свадьбе не могло быть и речи... Отец ничего не спрашивал о чувствах. Приехал ночью, вошел в комнату, не сняв кубанки, сказал мне: «Тебе придется выйти замуж. Приготовься, венчание через полчаса».

От удивления я даже не спросила, кто же мой суженый. Я просто сидела на постели, поджав коленки к подбородку, и сонно смотрела на одеяло, сшитое из разноцветных лоскутков. «Я объясню тебе позднее. Все позднее...»

А в соседней комнате уже позвякивала посуда. Накрывали стол. Три лампы освещали комнату. И еще красноватый огонек лампадки, висевшей под большой иконой святой Марии с младенцем Иисусом на руках.

Поп, от которого разило самогоном, наскоро совершил обряд. Мы обменялись кольцами. И поцеловались...

Вопрос: Сколько времени в ту ночь оставался Козяков в доме Воронина?

Ответ: Часа два. Перед отъездом он минут на десять выходил с Аполлоном во двор. О чем-то говорили...

Вопрос: Одни?

Ответ: Нет. С ними был Генрих Требухов. Он следил за отцом.

Вопрос: Означает ли это, что полковник Козяков не мог поговорить ни с кем с глазу на глаз?

Ответ: Нет, не означает. Но Требухов, как мне известно, всегда находился на расстоянии видимости, чтобы в случае надобности прийти на помощь. Полковник так и называл его: «Мой телохранитель».

13

Вероятно, деятельность и карьера Генриха Требухова заслуживают особого изучения. Мы ничего не знаем о его детстве и юношеских годах, если не считать рассказанную им самим историю о романе с землемеровой дочкой, отличавшейся высокой грудью и низкой нравственностью... Поэтому перенесемся в 1923 год, когда Генрих работал делопроизводителем учетно-воинского стола при отделении милиции. Поскольку торговля заплесневелыми чернильницами и обкусанными ручками не сулила барыша, делопроизводитель начал продавать учетные карточки, без которых в ту пору трудно было устроиться на работу. Карточка приносила 10 000 рублей. Деньги, скажем прямо, не крупные, если учесть, что номер «Курортной газеты» стоил 20 рублей. Однако Генрих не тратился на прессу, предпочитая читать этикетки грузинских вин... Последнее занятие, как и первое, было прервано 114-й статьей Уголовного кодекса. Пункт 4, дробь 1. Народный суд определил Генриху Требухову меру наказания в три года, с сокращением в силу амнистии наполовину, с поражением в правах, по отбытии наказания, на один год.

Время точит срок, как шашель мебель...

И вот Генрих опять в губсуде. Только уже не подсудимый, а секретарь-квалификатор камеры по делам о нарушении законов о труде.

Поднатаскавшись в новой должности, секретарь-квалификатор смекает, что большинство граждан-нэпманов совершенно не знают кодекса о труде. В один прекрасный день он приходит в трикотажный магазин гражданки Гофман и заявляет напуганной даме, что она привлекается к ответственности за наем служащих без биржи труда и что за это ей грозит строгое наказание.

— Я могу вам помочь, — сказал Генрих.

И черные усики над пухлой губой дамы дрогнули от умиления.

— Я могу вас совсем освободить от суда. Или квалифицировать преступление в более легкую сторону.

— Ближе к делу, — сказала гражданка Гофман, еще надеясь на свои чары, как сорвавшийся с пятого этажа надеется, что ему повезет и внизу он встретит не мостовую, а воз свежего сена.

— Полагаю, что содержание статьи 132 Уголовного кодекса вам знакомо... Освобождение от суда обойдется вам в пять миллиардов рублей, а более легкая квалификация по первой части статьи 132 будет стоить только три миллиарда...

— Я не держу дома и рубля, — доверительно сообщила гражданка Гофман. — Так приучил меня мой покойный муж... Придите завтра.

На следующий день, не застав хозяйку в условленный час, Генрих написал записку, в которой указал номер своего телефона, имя и отчество.

Гражданка Гофман позвонила ему вечером и, проявив практическую смекалку, попросила его принести «дело», дабы убедиться, что тут нет обмана.

Отправляясь с визитом, Генрих надел накрахмаленную сорочку, галстук «кисочку». Он нежно нес «дело», как молодая мать несет первенца.

Мило улыбаясь, гражданка Гофман приняла папку. И отсчитала задаток — один миллиард рублей... Генрих спрятал деньги в карманы. Из соседней комнаты вышли милиционеры...

Пять лет.

Прощай Хванчкара... «Отто Поднек» — пишущие машинки всех систем, арифмометры, ротаторы. Трамваи и кинематограф... «Мастяжарт» — вакса, гуталин, охотничья мазь. Оптом и в розницу...

Тук-тук — стучат колеса.

Ду-ду — кричит паровоз.

Дальше в биографии Генриха Требухова — айсберг, или, как принято говорить, белое пятно. Промежуток в два-три года после выхода из лагеря не оставил никаких следов судебной хронике. И можно лишь заключить, что именно в это время и произошло превращение Требухова из рецидивиста-комбинатора в бандита.

Выяснилось, что Козяков обещал переправить Требухова за границу... Может быть, никакого превращения не было. Жулик остался жуликом, только решил переменить климат.

14

Прежде чем перейти к описанию дальнейших событий, следует отметить один маленький эпизод, а если говорить строго, всего лишь случай, озадачивший Волгина в самый первый день пребывания в банде.

Малоподвижный мужчина, с плоским, небритым лицом, вручил Волгину обрез. Сказал:

— Вычисти и покажи.

Обрез был подернут налетом ржавчины. Приклад измочален. Это насторожило Костю. Ему не доверяют. Ведь все остальные бандиты вооружены новенькими английскими карабинами.

— Кочерга, — сказал Костя. — Ею только золу ворошить.

— Какой бог послал, — лениво ответил мужчина с плоским лицом и сделал жест рукой, давая понять, что Волгину лучше выйти из землянки.

— Керосинчику бы, — напомнил Костя.

И вот у него в руке зеленая бутылка, заткнутая добротной пробкой, словно выдержанное вино, кусок ветоши. Волгин сидит под деревом и, насвистывая простенькую мелодию, чистит обрез...

Мимо кто-то проходит. Костя поднимает голову. И не верит глазам: по тропинке идут четверо красноармейцев. В шинелях, в буденовках с красными звездами. Только вот карабины за спинами все те же, английские. Люди, одетые в форму красноармейцев, садятся на лошадей и скачут вниз, в долину, где пенится река и в преддверии вечера курится туман...

Волгин в бессилии плюнул... Вот что значит не иметь связи. Бандиты задумали какую-то каверзу. А он никак не может предупредить своих. Вспомнилось наставление Каирова: «Твоя задача — Козяков. Ты должен выкрасть его при первом удобном случае. Очень важно ничем не выдать себя. Поэтому связь будет односторонней. Если нам потребуется что-то сообщить, к тебе придет человек. И скажет: «Поклон от Кравца».

Той же ночью неизвестные вырезали семью столяра Антипова и запалили дом. Соседи, боявшиеся прийти на помощь, все же следили за происходившим через окна и теперь в один голос утверждали, что налетчиков было четверо и все они красноармейцы.

Кравца мучила зубная боль, но, паля папиросу за папиросой, он лично допрашивал свидетелей. И вся загвоздка была в том, что Кравец, хотя ни на йоту не сомневался, что это

дело рук бандитов Козякова, все же не мог понять, почему жертвой вдруг стал Антипов и его семья. Хромоногий столяр никогда не служил ни в какой армии, был человеком весьма зажиточным, к Советской власти особой любви не проявлял...

Когда вышел последний свидетель, Кравец спрятал исписанные фиолетовыми чернилами листки в ящик стола. Положив руки на бедра и слегка прогнувшись, он вдруг обратил внимание на то, что пол в кабинете давно не метен, заплеван окурками и заляпан дорожной грязью...

Кравец побрызгал пол водой прямо из графина, достал из-за печки огрызок веника и, согнувшись, принялся за работу. Он еще мел пол, когда в дверь заглянул дежурный:

— Товарищ Кравец, к вам просятся.

Кравец удрученно сказал:

— Не видишь?.. Я полы мою. У нас грязнее, чем в конюшне. Сегодня вечером — генеральная уборка... Запомни.

— К вам этот...

— Кто?

— Егерь Воронин.

Воронин был бледен и зол. И глаза краснели воспаленно, словно он долго плакал.

— Присаживайтесь, — сказал Кравец и бросил веник в угол.

Но Воронин не двинулся с места. Снял шапку и, опустив голову, глухо сказал:

— Зарестуйте меня.

Не ожидавший такого разговора, Кравец подвинул егерю стул. Повторил:

— Присаживайтесь.

И сам сел. Достал из пачки папиросу. Предложил закурить Воронину. Тяжело, словно у него подкосились ноги, опустился егерь на стул. Мутно посмотрел на Кравца. По старому, изморщиненному лицу Воронина катились слезы.

— Так...

Кравец вопросительно уставился на егеря. Пряча руки между коленями, Воронин начал говорить негромко и прерывисто:

— Невтерпеж держать грех на душе. Бог свидетель... Пятьдесят лет худого людям не делал. И сейчас натура не позволяет. Во-первых, знаю я, где банда Козяка. И людей сколько в банде, знаю — немногим меньше трех сотен будет. Все при конях... Это, во-вторых... И еще, слыхал я, в наших краях они не задержатся. Уйдут... Сдается мне, в Турцию...

Вынув из кармана огрызок карандаша, Кравец положил

перед собой листок бумаги. Угрюмо посмотрев на бумагу, Воронин напомнил:

— Только отпиши, что я добровольно, по своей чистой совести пришел. И готов отряд красных такими тропками провести, каких никто и не знает. И врасплох мы Козяка застанем. Всех бандюг сничтожим.

— Хорошо, — сказал Кравец, — что сами пришли. Но почему так поздно? Вы были у Козякова связным?

— Связным я не был... Но помнил он меня по тем годам, когда приезжал сюда с князем Кириллом охотиться. Говорит, мужик ты тертый и покладистый. Вера тебе есть. А кто на моем месте не стал бы покладистым. Люблю я свою работу. И любил... Потому и угождал всем... Хотя про себя другое думал... А почему поздно пришел, гражданин начальник? Как на духу скажу, может, вовсе бы и не пришел, если бы они Ильюшку Антипова не порешили. Пляняшек он мой. Сын сестры единокровной...

— Мы тоже знаем, что это бандиты. Но зачем бы им озлоблять вас? Смысл какой?

— А чтобы я на красноармейцев больше злости лютой поимел. Да меня не проведешь. Я калач тертый. Известно мне, что они не в первый раз в форму красных переодеваются.

Лицо Воронина было суровым, глаза жестокими...

— Поможете нам, Воронин? — перегнувшись через стол, в упор спросил Кравец.

Воронин степенно кивнул. Кивнул с чувством осознанной силы, непримиримой, злой...

— Решено, — сказал Кравец. — Мы свяжемся с вами, когда вы нам понадобитесь. А сейчас возвращайтесь домой и ведите себя так, словно и вправду верите, что красноармейцы убили вашего племянника и его семью.

Воронин еще раз кивнул... Ушел не простившись.

Через полчаса Кравец послал две шифрованные телефонограммы. Одну начальнику ОГПУ Северо-Кавказского края, вторую руководителю операции «Парижский сапожник» Каирову.

Между тем Воронин, прежде чем отправиться к себе домой, заглянул на почту и у окошка «До востребования» спросил, не поступило ли письмо на его имя. Женщина в платке протянула конверт с зеленой маркой.

Выйдя на улицу, Воронин еще раз внимательно оглядел конверт, но распечатывать не стал и спрятал во внутренний карман. Потом сел на коня и уехал.

Сто шагов... Кравец отсчитал сто шагов и остановился посреди кабинета. Кабинет был маленький. И Кравец несколько минут ходил из угла в угол. Сизая темнота заполняла комнату. И она немного давила, эта темнота. Во всяком случае, мешала думать... Тогда Кравец снял стекло с керосиновой лампы. Чиркнул спичку и коснулся ею паленого фитиля. Желтый огонь, подернутый черной копотью, потянулся кверху. С хрустящим стуком влезло в гнездо стекло. Сразу же сделалось светлее. Кравец поднял лампу и, приблизившись к стене, повесил ее на гвоздь.

Ни из Ростова, ни от Каирова ответных телефонограмм еще не поступало. Кравец подумывал, не связаться ли ему лично с командиром кавалерийского отряда и, воспользовавшись помощью Воронина, накрыть бандитов врасплох.

Это было очень заманчиво — покончить с Козяковым одним ударом, понеся при операции минимальные потери. А он, Кравец, был уверен, что бандиты не ожидают нападения и не смогут оказать особого сопротивления.

С другой стороны, как человек опытный, он должен был взвесить все варианты. В том числе и самый худший... Но Кравец уже не спал двое суток. И в голове у него гудело. Неплохо бы отдохнуть...

Однако явился новый свидетель и задал новую задачу.

Переминаясь с ноги на ногу, колхозник Никодим Буров сказал, что подозревает в убийстве Антипова егеря Воронина.

— Встретил я его намедни. Плачет в тряпочку, да уж больно усердно. Жаль ему Илью... Может, это все и правда... Горе человеческое осмеивать грех... Но по тому, как знаю егеря Воронина характером, радоваться смерти племянника он должен... Известно мне, что они золотишко на Лабе при англичанах промывали и опосля тоже. И где-то вместях, как говорил однажды выпивший Антипов, до лучших времен заховали.

— Когда Антипов говорил про золото?

— Года два... три назад. На пасху...

— А если он просто болтнул?

— Я здесь родился и всю жизнь здесь безвыездно и безвыходно... Как облупленного Антипова знаю. Месяцами пропадал он на Рожкао. Красный камень толок...

— Конгломерат?

— Он самый.

— А разве вы в тех местах не бывали?

— Случалось, за ладаном ходил. Много его в горах. Попы хорошо за ладан платили...

Часть вторая

ТРЕВОГА

1. ИВАН ПОДДУВАЙЛО

— А ты знаешь, как зовут моего щенка? — спросил Егорка.

— Бобик, — ответил Иван.

— Фи, — сказал Егорка. — Бобик в каждом дворе есть. Кот Васька. И собаки: Жучка или Бобик. В зависимости, к какому роду относятся — мужчинскому или женскому.

— Ты и в этом разбираешься, — ухмыльнулся Иван и присел на лавочку, что стояла у крашенного в желтый цвет забора.

Егорка поднял с земли крупный камень, высоко пульнул его в небо. И, заломив набекрень шапку, ответил:

— Я мужик. Потому и разбираюсь. А как же иначе? Мне целых девять лет...

— Много, — согласился Иван, достал кисет с махоркой. — Не куришь?

— Горько. И неинтересно.

— А что интересно?

— То, что другие не делают.

— Потеха, — сказал Иван. — Другие вниз головой не ходят.

— А я умею. На руках... Смотри.

Егорка вначале снял шапку, потом вынул из кармана рогатку, гвоздь, сломанный ножик и темную ружейную гильзу. Сложил все в шапку. Протянул ее Ивану:

— Держи.

Стал на руки. И, едва покачивая ногами, одолел метров десять. Потом согнулся. Присел на корточки. Лицо красное. Глаза улыбчивые.

— Вот, — сказал Егорка. — Ты, конечно, так не сможешь...

— Тебе бы циркачом, — уважительно сказал Иван.

— Нет. Я стану изобретателем. Самолет, понимаешь, хочу придумать с пропеллером на хвосте.

— Шиворот-навыворот...

— Как считать... А может, мотор впереди и есть — шиворот-навыворот... Ты почем знаешь? Один мудрец надумал собак звать Бобиками. А все решили, что так и нужно.

Иван задымил самокруткой. Лукаво следил за тем, как Егор прячет в карманы свои сокровища.

— Покажи саблю, — вдруг попросил мальчишка. — Она у тебя большущая.

Иван сказал:

— Сабля как сабля... Обыкновенная.

— Хоть одного бандита зарубил?

— Зачем же одного? — степенно ответил Иван. — До десяти считать умеешь?

— До тыщи.

— Хвастанул.

— Могу посчитать... Только шестнадцать минут слушать придется.

— Тогда сдаюсь...

— То-то... — Егор присел на лавочку рядом с Иваном и милостиво сказал: — Так и быть... Щенка я назвал Аскольдом.

Иван в удивлении приподнял брови.

— Никому не нравится, — согласился Егорка. — А мне очень. Открытка есть такая. На ней корабль с пушками. И написано: «Крейсер «Аскольд».

— Но щенок же не крейсер...

— Конечно, нет... Но ведь имя же красивое...

— Сносное...

Егорка махнул рукой:

— Бестолковый ты... Не пойму, зачем ко мне каждый день приходишь?

— Сынок в Виннице таких лет, как ты, остался.

— Егорка тоже?

— Нет. Тарас...

— Хорошо. Представляю, была бы скучища, если бы всех Егорками звали...

— Имен в святцах много, — сказал Иван.

— А что такое святцы?

— Ну... У батюшки...

Иван не закончил фразы. На окраине станицы, у речки, где уже белел редкий туман, раздался звук военной трубы.

Тра-та-та...

Тревога!

— Прощай, Егорка, — сказал Иван. — Живы будем, свидимся!

2. СЕМЕН ЛОБАЧЕВ

День был сухой. И земля не липла к подошвам. И у заборов вновь зеленела трава, короткая и очень яркая трава. Солнце тоже было ярким, почти весенним. Но земля пахла иначе, чем весною. И тут уж ничего нельзя было поделать.

Через улицу, на протянутой веревке, сушилось белье. У кого-то на чердаке ворковали голуби. Тощая собака лежала возле церковной паперти и, урча, покусывала на себе шерсть. Церковь была заколочена двумя досками крест-накрест. На одной из них чернела надпись: «Брутто 600».

В центре площади, хранившей следы колес и лошадиных копыт, горбатый мужик торговал керосином. Керосин был в цистерне, закрепленной на телеге. Пегий конь уныло шевелил хвостом.

С десяток женщин — кто с ведром, кто с банкой, кто с бутылью — стояли друг за дружкой.

Семен узнал Марию. Она стояла второй от конца очереди, держа в руке бутыль, покрытую плетеным чехлом. Мария тоже увидела Семена. Но не улыбнулась, не кивнула, а посмотрела, словно незрячая... Семен сделал вид, что не знает ее. Но убавил шаг. И пошел тихо-претихо, потому что торопиться теперь просто было ни к чему.

За околицей, где дорога разветвлялась, находился колодец. Возле колодца мутнели лужи. И веревка на барабане была мокрой.

Семен вспомнил, что нужно было простирнуть носовой платок. Но ведра у колодца не было. И вообще стирать возле колодца неприлично.

Тропинка медленно сползала вниз, а потом опять поднималась вверх, огибая три раскидистые акации, поодаль от которых стоял сарай для сена с широкими, распахнутыми настежь дверями.

Вначале Семен остановился под акацией. Закурил. Темные, похожие на двоеточие муравьи торопливо ползали, нет, бегали вверх-вниз по стволу дерева. Семен обдал муравьев дымом. И длинная цепочка стала еще подвижнее. «Насекомое, — подумал Семен. — Захочу и раздавлю». Но давить не стал. Просто пугал их дымом. И все...

А когда самокрутка укоротилась до величины наперстка и уже обжигала губы и пальцы, Семен щелчком бросил ее на дорогу. И она полетела, оставляя за собой хвост мелких, быстро гаснущих искорок...

Семен пошел к сараю...

Он упал в душистое сено лицом вниз. И лежал так до тех пор, пока не почувствовал, что начинает засыпать. Тогда он сел, протянув длинные ноги, и принялся растирать виски.

Мария показалась в светлом проеме двери как-то неожиданно. Она оперлась рукой о косяк и смотрела на Семена. Он не мог сказать, смотрит ли она с интересом, с любопытством или с волнением, тепло или холодно... Она глядела без улыбки и без зла. Глядела, может, просто потому, что у нее есть глаза. И она не могла стоять на пороге сарая и жмуриться, точно от яркого света.

Он позвал:

— Иди сюда.

Она покачала головой, чуть разжав губы: они были у нее влажные и темные. Вероятно, она часто облизывала их.

— Иди сюда, — повторил он.

— Мне так лучше, — сказала она. — Я смотрю на тебя сверху. И ты кажешься маленьким. А ведь ты большой, как дом. И я боюсь тебя.

Мария повела головой, и коса свесилась через плечо. Мария стала расплетать ее, словно здесь никого не было.

— У тебя волосы как у цыганки, — сказал он.

— Ну и что?

— Просто красиво. И глаза у тебя красивые, и лицо. И все остальное.

Она покраснела. И он поднялся и стал рядом с ней.

— Ты боишься меня? — спросил он.

— Я боюсь темноты. И мышей, — ответила она.

— Не надо стоять в дверях, — сказал он. — Нас могут заметить. И пойдут разговоры.

— Обо мне и так идут разговоры, — возразила она.

— Ну и пусть, — сказал он. — На то у людей и языки, чтобы болтать ими...

— Ты же не хочешь разговоров...

— Я никого здесь не знаю. И не желаю слышать, что о тебе говорят. Я боец Красной Армии. Я здесь для дела...

— Уедешь... А обо мне опять будут судачить.

Сейчас она теребила косу, а он стоял близко и держал Марию за локоть.

— Всему причиной зависть.

— Нет, — возразила она. — Ты совсем меня не знаешь...

— Знаю. Ты самая лучшая... Я женюсь на тебе.

Она усмехнулась:

— Было бы сказано...

— Я женюсь... Я люблю тебя. Мне сегодня ничего не нуж-

но. Понимаешь, ничего... Я люблю тебя. И вернусь, как только бандитов переловим. А о прошлом забудь. Кто прошлое помянет, тому глаз вон. Я ведь тоже, Мария, не ангел. Я люблю, люблю, люблю...

Губы ее пахли садом. И сено звало, точно обрело язык...

Но в самый последний момент, когда уже не было назад дороги, раздался тревожный звук боевой трубы.

Тра-та-та...

3. БОРЯ КНУТ

Библия весила не меньше пяти килограммов. И не потому, что страниц в ней было больше, чем в обычной библии. Страниц столько же. Но они были толстые и желтые. И очень гладкие, как стекло.

Красноармейцы, большинство из которых не видело никакой другой бумаги, кроме газетной, огрубевшими пальцами гладили страницу, словно кошку. И удивлялись буквам. Крупным, темным и сочным, как смородина.

В книге были цветные иллюстрации на божественные темы, переложенные тонкой бумагой. Но сейчас осталось всего две-три картинки, сверх которых лежала полупрозрачная, словно туман, бумага. Уж очень хороши самокрутки из этой бумаги. Точно папиросы.

Переплет был кожаный, темно-коричневый, с позолоченными уголками и застежками.

Библию Боря заполучил в Батайске. Старуха учительница сунула ему в руки книгу вместо платы за перекладку печи. Он и не хотел никакой платы. И возился с печкой потому, что старуха больно хорошо рассказывала бойцам про Пушкина... И Боря Кнут отнекивался. Но старуха учительница сказала, что она сама безбожница и что книга большую ценность имеет, если предложить ее знающему человеку.

Боря возил с собой библию около года. И вот теперь, верно, настала пора распрощаться с ношей. И какую бы ценность она ни представляла, нужно найти в станице осведомленного по религиозной части человека. И договориться...

Крути не крути, думай не думай, а двадцать лет исполняется один раз в жизни. И двадцать лет — это не тридцать и не сорок. А как раз тот самый юбилей, которому радуются. Впереди целая жизнь!

Тонкую бумажку следует приберечь на самокрутки. Ну, а книгу... Самым подходящим покупателем для нее может быть местный батюшка. И хотя церковь в станице за-

крыта, а батюшка, по словам хозяйки, у которой квартировало их отделение, занимался исключительно садом и пчелами, Боря Кнут таил надежду, что литра два самогона или какой-нибудь другой, достойной заменить его жидкости у неглупого человека всегда найдется.

А то, что церковники — люди хитрые и ума не лишенные, Боря Кнут понял давным-давно, когда еще был мальчонкой...

Но не стоит вдаваться в воспоминания.

Попик, короткобородый, седенький и чуточку обрюзгший, очищал граблями землю. В саду уже был целый ворох листьев. И попик собирался поджечь их, чтобы дым окурил деревья и черви разные, гусеницы, букашки подохли бы.

Боря Кнут никогда не ходил в церковь и не знал, как нужно величать священника: батюшкой, святым отцом, гражданином или товарищем. Он с минуту нерешительно топтался возле забора. Наконец вспомнил сказку Пушкина, которую читала их батайская учительница, и крикнул:

— Эй! Поп! Ходи сюда!

Природа наделила Борю громким басом, и от смущения он позвал попа так, как если бы стоял на посту и вдруг заметил неизвестного. Неудивительно, что попик выронил грабли и со страхом смотрел на грозного верзилу в длинной, до самых пят, кавалерийской шинели.

Боря подумал, что поп артачится, и поэтому разозлился и постучал библией по забору, назвав при этом попа дураком.

Батюшка, пятясь, точно рак, начал медленно отходить к дому, видимо полагая укрыться под защитой его голубых стен.

Тогда Боря понял, в чем дело. И улыбнулся. И миролюбиво поманил попа пальцем.

— Ходь ко мне. Ходь. Не бойся.

Поп часто заморгал глазами и торопливо пошел к забору. Но остановился метрах в трех, не дойдя до ограды. Бабьим голосом спросил:

— Чем могу служить, сын мой?

— Тут вот какое дело, — сказал Боря Кнут. — Двадцать лет мне, святой отец, исполнилось...

Боря специально вставил выражение «святой отец», надеясь, что оно звучит благороднее, чем поп. Хотя поп, может, и правильнее... Занятый мыслями, Боря умолк и даже покраснел от напряжения. И батюшка пришел ему на помощь.

— Понимаю, сын мой... Ты дитя некрещеное. Овца заблудшая. Хочешь в двадцатилетие приобщиться к христианству?

Боря не расслышал. Или, может, просто не понял витиеватой речи батюшки. Кивнув на всякий случай головой, Боря сказал:

— Овца мне не попадалась. А что приобщиться, так это точно.

— Похвально, сын мой, похвально, — жалобно продолжал попик. — Но со слезой в душе признаюсь... С грустию... Условия что ни есть — самые домашние. Тазик с водой...

— Кустарщина... — согласился Боря. — Будь мы в Ростове, я бы тебе, поп, змеевик сделал.

Он спохватился. И поправился:

— Святой отец то есть...

Попик от удивления приоткрыл рот:

— Змеевик?..

— Да что ты такой пужливый? — взмолился Боря Кнут. — Да посмотри, какая книга. Очень даже шикарная!

Он прижался грудью к забору и протянул руку с книгой через штакет.

Поп взял книгу и долго любовался обложкой. И по мере этого любования менялось выражение его лица, как меняется цвет неба на закате или при восходе солнца.

Он листал книгу с упоением. И Боря Кнут понял, что хотя поп человек пужливый, но в библиях он, конечно, волка съел. И может, следует запросить не два литра самогона, а целых три.

— Четверть! — грозно сказал Боря. И уже совсем просительно, словно убоявшись своего грубого голоса, пояснил: — Самогону!

Поп еще не сообразил, чего хочет этот странный красный солдат, принесший редкостную по красоте и ценности книгу.

— День рождения у меня. Двадцать лет! Друзья... Выпить бы помаленьку нужно... Самогону бы... — объяснял Боря.

— Самогону, — глухо повторил попик.

— Четверть самогону, — уточнил Боря.

— Так много... У меня нет сегодня так много, — говорил попик, прижимая библию к узкой груди. И руки у него были белые и немного тряслись.

— Тащи сколько есть.

— Литра два нацежу.

— Давай два литра. Остальное завтра.

Попик повернулся и засеменил к дому...

Голубело небо. И воздух был прохладный, свежий. И ветер был точно весенний. И запах дыма...

Боря Кнут смотрел на голубой дом и говорил про себя,

что поп совсем не дурак и устроился с удобствами. Он видел, как попадья шмыгнула в сарай и что-то вынесла оттуда, накрытое черной тряпкой.

Попадья скрылась в доме.

И в это время Боря услышал тревожный звук трубы.

Тра-та-та...

Он еще стоял несколько секунд. Но поп что-то мешкал... Боря махнул рукой и побежал прочь от дома...

Навстречу ему неслось «тра-та-та...».

4. ИВАН БЕСПРИЗОРНЫЙ

Он держал в руке карандаш, но заточить его было нечем. И тогда Иван вынул саблю из ножен, улыбнулся собственной выдумке. И родилась первая строчка:

Я карандаш затачиваю саблей...

Строчка понравилась Ивану потому, что она точно выражала суть времени, его правду, задавала тон будущему стихотворению.

Мелкая стружка падала в воду. Вертелась и покачивалась, уплывая вниз по течению речушки. Сидящий рядом на мостках мужичок недовольно покосился на Ивана, но ничего не сказал. И опять забросил удочку. В сетке, связанной узлом и свисавшей над сваями, трепыхались два окунька и молодой судачок.

Моей сестрой и матерью моей...

Сложил Иван и тут же передумал. Можно ли затачивать карандаш сестрой, а тем более матерью? Бред!

По настилу кто-то пробежал. Черномордая дворняга с отвислыми ушами уткнулась в плечо мужичка и радостно виляла хвостом.

Иван записал:

Она мне друг вернее, чем собака...

Мужичок дернул удочку. Собака радостно завизжала. На крючке вертелся окунь размером с ладонь.

Рыболов, сопя, снял добычу с крючка. Собака водила мордой, нетерпеливо скребла лапами о доски. Мужичок пнул ее локтем, сказал:

— Пшел!

Подтянул сетку, развязал, опустил в нее рыбешку.

Она за труд не требует награды...

Иван Беспризорный остался доволен последней строчкой. Но стихи получались белыми. И это немного смущало его. Он никогда не писал белых стихов и боялся, что они получатся несобранными. Но, с другой стороны, когда-то нужно было приниматься и за белые стихи.

Я карандаш затачиваю саблей.
Она мне друг вернее, чем собака.
Она за труд не требует награды.

Дальше, как понимал Иван, должен следовать вывод. Смысловой вывод. А это давалось Ивану труднее всего.

В воздухе стояли запахи гнилых свай, реки и домашнего дымка. Иван провожал взглядом поблескивающие на закате всплески и думал, как окончится служба, и он вернется в Москву, и тетрадь будет исписана до последней страницы правдивыми стихами, пахнущими махоркой, и солдатским потом, и порохом. И выйдет его первая книжка. И на обложке будет нарисован человек в буденовке, при коне.

Чем же закончить четверостишие? И сабля никогда не обманет, если я сам себя не обману... По смыслу верно. Но ритм нарушен... Это уже проза.

Не подведет, не выдаст, не обманет,
Если я сам не обману себя.

Иван торопливо записал последние строки...

— Письмо сочиняешь? — вдруг сипло спросил рыболов.

— Сочиняю... — ответил Иван, словно отмахнулся.

— Из дальних мест родом-то?

Но Иван уже не слышал рыболова:

Я карандаш затачиваю саблей —
Она мне друг вернее, чем собака.
Она за труд не требует награды.
Не подведет, не выдаст, не обманет,
Если я сам не обману себя.

Хорошо или плохо? Хорошо или плохо? Вот бы с человеком толковым посоветоваться...

Звук трубы. Будто крик! Будто гром! Будто молния!

Тра-та-та...

Тревога!

Часть третья

ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ

1

В тот год Европу заливали осенние дожди...

И люди, стоя в очередях за газетами, держали над собой зонтики. Черные зонтики — один около другого, похожие сверху на летучих мышей. Газеты, как всегда, пахли типографской краской. И жирно набранные заголовки на полосах бросались в глаза. Это были новости. Калейдоскоп новостей. Их приносили радио, телеграф, телефон...

Политическая полиция закрыла во Франкфурте-на-Майне институт социальных исследований, обвиняя его в том, что он поощряет антигосударственные стремления.

На совещании исполнительного комитета федерации лесоторговцев в Лондоне было принято постановление отклонить вмешательство канадского премьера Беннета во внутренние дела Англии, и правительству был послан протест с требованием, чтобы лесоторговцы при заключении сделок предварительно совещались с федерацией. Эти решения расцениваются как различное отношение к импорту советского и канадского леса. Указывается, что Канада не в состоянии снабжать в достаточном количестве Англию нужным ей лесом и не может предложить лес по ценам, приближающимся к ценам тех же сортов леса, предлагаемых СССР.

Сотрудники Академии наук СССР, работая в Библиотеке имени В. И. Ленина и в архивах и книгохранилищах Горьковского края, обнаружили новые материалы о восстании Степана Разина. Найденные документы подробно освещают крестьянский быт екатерининской эпохи и дают новые сведения о разгроме ряда сел при ликвидации восстания 1670 года.

Сегодня на берлинской бирже курс доллара снова упал до 2,86 германской марки против вчерашнего курса — 2,90 за доллар (паритет 4,20 марки).

Вашингтон. Из авторитетных источников стало известно, что Рузвельт намерен без всяких ограничений осуществить программу военно-морского строительства. В 1936 году, когда программа будет завершена, в американском флоте окажется на 101 судно меньше, чем это разрешено договорами, а в английском флоте — на 64 судна меньше, тогда как японский флот достигнет к этому времени максимальных пределов.

Вчера в 16 час. 15 мин. три французских самолета, на которых следовали французский министр авиации Пьер Кот и его спутники, снизились на центральном аэродроме Аэрофлота в Москве. Все три прибывших самолета — трехмоторные монопланы. Особый интерес представляет флагманский аппарат «Девуатин-332».

Агентство Ассошиэйтед Пресс передает из Буэнос-Айреса, что все попытки Аргентины, Бразилии, Чили и Перу высту-

пить с посредничеством между Боливией и Парагваем потерпели неудачу. По словам агентства, Парагвай готовится к «войне на неопределенный срок для оказания сопротивления Боливии». Парагвайское правительство намерено завербовать в свои войска 10 тыс. русских белоэмигрантов-казаков. Царский генерал Беляев направляется в Европу в целях вербовки. Парагвайское правительство обещает белогвардейцам, которые примут участие в войне, земельные наделы в районе Чако, послужившем поводом для конфликта. Агентство указывает, что расходы по переправке белогвардейцев взял на себя «видный парижанин».

По сообщениям из Гаваны, стачечное движение на Кубе ширится. Рабочие захватили в свои руки ряд новых сахарных заводов, требуя от американских предпринимателей повышения зарплаты. Опасаясь растущего революционизирования солдат, рабочих и крестьян, новое правительство Сан-Мартина вооружает несколько тысяч студентов. Многих капралов и сержантов правительство продвинуло на высшие должности.

Радио, телеграф, телефон...

Осень тысяча девятьсот тридцать третьего года...

2

Тучи на рассвете густели. И горы казались плоскими, точно наляпанными на бумагу. Из щели дул ветер. Листья падали темные, как тучи.

Ведомые под уздцы кони ступали осторожно, будто не доверяли мокрым камням, прятавшимся под листьями. Требухов шел впереди. И его спина в запачканной глиной телогрейке маятником раскачивалась перед глазами Волгина.

Всю дорогу молчали. И это было удобно, потому что нужно было думать. Думать серьезно, как никогда. У Волгина были все основания ругать себя за то, что выполнение задания затянулось, что события приняли такой оборот, когда трудно предсказать, чем они кончатся. Но, с другой стороны, работать без связи почти невозможно. Не с кем посоветоваться, некого проинформировать...

Если даже он, Волгин, больше никогда не попадет в банду, не увидит Козякова, время, которое он пробыл здесь, даром не пропало... Ему известен пароль. Это и мало, и много. Мало, если тот, кто скрывается в городе, что-то заподозрит и не придет на место встречи. Много, если все будет хорошо... Потому что похищение Козякова не было самоцелью. Он нужен был живой, чтобы дать сведения. Рассказать, кто же действительный руководитель бандитских шаек, кто снабдил их английскими карабинами, патронами...

Этот пароль ниточка. А может, леска. Авось добыча не со-

рвется. И если сейчас вести себя как нужно и, купив билет на первый же скорый поезд, уехать в город, то Каиров не станет сердиться, не скажет: «Подвел. Сорвал серьезное задание». Вернее, не сказал бы. Не будь этой свадьбы...

Но свадьба состоялась... Да, дети не отвечают за родителей. Пусть Анастасия Козякова — человек наивный и легкомысленный, но она не преступница... Нет, нет, нет. И она красивая. И Костя Волгин любит ее. Он никого не любил раньше. А теперь любит. Но, честное слово, он не собирался на ней жениться. Честное-честное...

Да, это трудно доказать... Сейчас, когда он не привез Козякова, связанного по рукам и ногам, с кляпом во рту... Можно подумать, что это так просто — связать Козякова, словно грудного ребенка.

Костя очень рассчитывал на свадьбу, когда узнал, что она состоится в доме Воронина. Он был уверен, что гости перепьются. И если выйти с дорогим тестем подышать свежим воздухом, а потом ударить его по черепу маленьким, но таким тяжелым браунингом, который лежит в кармане куртки... И тогда не велика проблема связать его и положить поперек седла. А за полчаса, даже за полчаса можно уйти далеко...

И Косте удалось в ту ночь выманить Козякова из дому.

Холодный ветер трепал ветки. И они раскачивались, словно в танце. Иней подбелил землю, и ступеньки крыльца, и перила. Тихо ржали кони, привязанные у сарая. Мотали хвостами, гривами.

Козяков прислонился плечом к стене, спокойный, довольный. Смотрел на Волгина, попыхивая папиросой.

Волгин нащупал в кармане пистолет. Взял за ствол. Рукоятка достаточно тяжела, чтобы свалить кого угодно...

— Что ты хотел сказать мне, Аполлон? — голос Козякова был почти ласковым.

— Я теперь не один... Мы с Анастасией должны убраться отсюда, пока не настали морозы.

Он повел локтем, намереваясь вынуть из кармана пистолет. И мгновенно нанести удар. Но... Скрипнула дверь. Хмельные голоса на секунду стали громкими. Однако тут же опять затихли, словно удалились. На крыльце кто-то остался. Козяков передернул плечами и пошел к крыльцу. Волгин не двинулся с места.

— Что, Генрих, не пьется?

— Нужно ехать, — сказал Требухов.

— Аполлон, останешься здесь.

— Я бы с вами, — возразил Волгин.

— Хорош зятек... От молодой жены в первую же ночь убежать готов. Останешься до утра... Воронин проводит тебя. Мы будем на прежнем месте.

Все так же не унимался ветер. Хлопала дверь. Бандиты выходили поодиночке. С ухмылкой желали Волгину счастливой ночи.

Садились на коней. Стук копыт растворялся в шуме ветра... Горы лежали вокруг мрачными, черными пятнами. Где-то за ними была луна. Она немного подсвечивала. И поэтому небо было светлее, чем горы. А горы казались еще непрогляднее.

Старуха убирала посуду. Воронин дремал, положив голову прямо на стол.

— Ступай, — старуха кивком указала на дверь. — Волнуется она. Молодое дело известное...

Волгин вошел в комнату Анастасии. Лампа была пригашена. На спинке стула висело белье. Волгин смутился и перевел взгляд. Анастасия лежала в кровати, повернувшись лицом к стене...

Внезапно Требухов остановился, подал знак рукой. Внизу, по обмелевшей речке, двигался конный дозор. Пятеро всадников в буденовках, с карабинами в руках. Передний вскинул бинокль и долго рассматривал склон горы. Потом он что-то сказал товарищам. Всадники подъехали к горе. Теперь кусты и деревья скрывали их из виду.

Требухов шепнул:

— Надо уходить.

Вскочили на коней. И...

Днем прятались. В расщелине между скал... Вечером еще ехали около двух часов.

Наконец коней привязали в кустах близ самшита, единственного на опушке, потому приметного. Несколько километров шли до станции пешком. Уже стемнело. Дорога была незнакомая, осенняя, студеная, с вязкой глиной и лежалыми листьями.

Паровозный гудок подсказал, что станция близко. На поросшем травой запасном пути стояло несколько товарных вагонов. В маленьких, под самой крышей, оконцах бледнел свет. Сушилось белье на невидимых в темноте веревках. Играла гармошка, однообразно и вызывающе. И кто-то танцевал, кажется в крайнем вагоне, возле которого уже было срублено крыльцо из некрашеных досок.

Женщина вышла из вагона и сказала кому-то оставшемуся в тепле:

— Снимать нужно. Сыроватое... Да уж стащат, ищи ветра в поле.

Вот люди и живут. Работают, спят, стирают белье. А ветер сушит его. Хорошо. Все хорошо. И гармошка играет. Хорошо. Значит, людям радостно.

Волгин и Требухов прошли близ женщины. Она посмотрела на них. Пристально или подозрительно, попробуй разбери.

Когда шагали по шпалам, Требухов сказал:

— Пожрать бы.

Метров через тридцать остановились. Вдоль линии лежали горки угля. Под фонарем, висевшим на перекошенном столбе, топтался красноармеец, держа поперек винтовку. Искрящийся шар мерцал вокруг лампочки. Волгин провел по лицу рукой. Мокро. Изморось была мелкой и липкой, как туман.

— Придется в обход, — с досадой сказал Требухов.

— Не заблудимся?

— Язык до Киева доведет...

Но спрашивать не пришлось. Несмотря на то что было еще не поздно, на улицах не встретилось ни одного человека. Требухов сориентировался по водонапорной башне, и вскоре они стучали в нужную калитку. Долго лаяла собака. Неприветливо, хрипло. Потом вышел хозяин:

— Чего желаете, люди добрые?

— Еще минута, и я бы пристрелил твоего пса, — раздраженно ответил Требухов. — Рано спать ложишься, свояк.

— Днем не бездельничаем, — ответил хозяин.

— Керосин экономим, — подсказал Требухов.

— Проходите. — Хозяин открыл калитку, пропустил их во двор. Сам же вышел на улицу. Оглянулся. Никого не было.

Все это не нравилось Волгину. И предчувствие не обмануло его. Едва вошли в теплую продымленную комнату, как человек с коротко отросшими волосами показался ему знакомым. Стриженый и еще один угрюмый мужчина с крупным подбородком сидели за столом, в центре которого светила пятилинейная лампа. На столе, застланном чистой скатертью, больше ничего не было. Стриженый, верно, тоже узнал Волгина. Глаза его беспокойно забегали, и он убрал руки со стола, сунув их в карманы.

Может, это ловушка? Может, все подстроено Козяковым? Хорошо. Если Козяков заподозрил Костю, то зачем такие сложности? Разве он не мог прикончить его там, в горах? Резон. Последний разговор с Козяковым был особенным. Это

был разговор тестя с зятем. И Козяков доверил ему такое, на что ни Волгин, ни Каиров даже не рассчитывали. Прибыв в город, Волгин должен приклеить на углу рыбного магазина (это возле нового колхозного рынка) объявление: «Коллекционер приобретет старинные медали и монеты, а также литературу по нумизматике. С предложениями обращаться: Главпочтамт, до востребования, Лазареву Юрию Михайловичу».

И все же... Костя где-то видел эту рожу. Но где, когда, при каких обстоятельствах? Опасность быть узнанным, разоблаченным точно подстегнула его. Костя улыбнулся, спокойно сказал:

— Здорово, ребята.

Сдержанные рукопожатия, как всегда между малознакомыми людьми.

Требухов заявил:

— Корми, дядька. Голодные, словно волки.

Хозяин сам набросил на стол клеенку. Принес соленья, картошку, сало. Бутылку с мутным самогоном.

Выпили. Волгин неожиданно разомлел. Сказалось недоедание. Снял куртку, повесил ее на гвоздь, вбитый в стену. Волгин только позднее вспомнит, что в кармане куртки остался пистолет. А сейчас Костя думает о том, кто же этот стриженый? Кто?

Поезд на Сочи прибывал только в четыре утра. Билеты начинали продавать не раньше чем за четверть часа до отправления.

Хозяин предложил передохнуть.

Костя лег на сундуке в маленькой комнате с окном, выходящим во внутренний двор. Подушки не было. Костя положил руки под голову и сразу вспомнил...

Стриженый! Точно! Костя присутствовал на допросе, который вел Мироненко. В чем же тогда подозревали стриженого? Кажется, в ограблении...

Нет сомнения, что стриженый тоже опознал Костю Волгина.

3

Редкую ночь Граф Бокалов проводил теперь под одной и той же крышей. Каиров не советовал ему спать дома. Считалось, что Бокалов скрывается от милиции, а значит, и квартира его под наблюдением. Дружки, чередуясь, водили Бокалова к себе. Это было не всегда удобно и, может, порою рис-

кованно, но бродячая жизнь позволяла больше видеть и больше слышать. А это-то для него и было главным.

Видеть больше, слышать больше...

Два дня назад Граф встретился с Каировым на дровяном складе в маленькой дощатой сторожке с единственным, никогда не открывающимся окном. Каиров, по обыкновению, был в штатской одежде. Серое пальто, шарф, мягкий, из белой козлиной шерсти, кепка.

Слушал Графа не перебивая. Похвалил за наблюдательность. Потом сказал:

— Меня очень интересует Варвара. Не сможешь ли ты с ней сблизиться, Вова?

— Если нужно, я могу пойти пешком в Америку, — заверил Граф. — До Варвары гораздо ближе... Но... Левка Сивый порядочный олух. Он несерьезный и к тому же ревнивый...

— Если Сивый тебе не нужен, — сказал Каиров, — мы приютим его у себя.

— Да, — сказал Граф. — Если Левка переселится на курорт, Варвара не вынесет одиночества. И моя дружба может оказаться весьма кстати...

— Решено, — протянул руку Каиров.

— Нет, Мирзо Иванович, нужны деньги на представительство. С тех пор как я не занимаюсь делом, мой кошелек тощ, словно мартовский кот.

— Ясно, Вова. Получишь деньги...

— Сколько?

— Для начала — пятьсот...

— Считайте, что Варвара в наших руках.

— Скажешь гоп, когда перепрыгнешь. Слушай меня внимательно, Вова. Варвара часто стала бывать в клубе иностранных моряков. Сам по себе факт не очень примечательный, поскольку этот клуб привлекает многих потаскушек. Но Варвара амурных знакомств с моряками не заводит. И рано уходит из клуба. И всегда одна... Странно?

— Вполне, — согласился Граф Бокалов.

— Надо выяснить, зачем она приходит. Понял?

— Да.

— Действуй.

Темнело в шесть часов... Минут двадцать девятого Граф Бокалов направился к Варваре. Он решил не ехать автобусом, а пешком пройти через Старый порт, подняться к шоссе, а там до дома, где живет Варвара, рукой подать.

Вечер был с ветерком, сухим, северо-восточным ветерком с кубанских степей. И в городе не пахло морем, а только немного нефтью. И улицы были безлюдны.

По выложенной камнем дороге прогромыхала телега, потом проехал мужчина на велосипеде. Тонкая луна изогнулась над горой, и тени у заборов густели нечеткие. Глухая ограда судоремонтного завода тянулась вдоль левой стороны дороги. Справа обрывистая гора, только на самой вершине перехваченная кустарником, прижимала к обочине деревянные домики, глядевшие из-под драночной крыши одним-двумя занавешенными окнами.

За оградой рабочие ночной смены клепали, вероятно, обшивку судна. Грохот пневмомолотков смешивался с повизгиванием лебедок, человеческими выкриками.

Бокалов хорошо знал этих ребят. Он и сам едва не попал работать на судоремонтный завод. Колька-инженер красочно свое житье-бытье расписывал. Инженером его на улице ребята прозвали. За смекалку, за любовь к технике. А вообще на заводе Колька слесарем в сборочном цехе... И Граф согласился пойти к нему в ученики, заявление написал. Но тут, как назло, продулся майданщикам в «двадцать одно»... Майданщики, занимавшиеся кражами на железных дорогах и в поездах, были угрюмыми и злыми. И срок для выплаты долга поставили три недели. Тогда Бокалов еще не был возведен в ранг воровского графа, и с ним можно было разговаривать на таких условиях. Бокалов сошелся с двумя чердачниками. Таскал с ними белье с чердаков: трусы, простыни, бюстгальтеры... Сбывал добычу на барахолке. Получал свой сармак — так на блатном жаргоне называлась доля... Потом познакомился с домушниками... И уже месяца через два его стали величать Графом благодаря смелости, инициативе, смекалке...

Что греха таить, Бокалов не сразу понял, куда ведет дорожка, на которую он ступил. Все это казалось игрой. Рискованной, но интересной... И действительно, было в этой жизни что-то притягательное, засасывающее, как болото... Первое открытие — назад дороги нет — было особенно безотрадным. Он стал приглядываться к своей воровской компании. И подумал, что многие из ребят, абсолютное большинство, за исключением двух-трех законченных кретинов, могли бы стать людьми, вполне полезными обществу...

Камни делают дорогу похожей на шахматную доску. Они квадратные, но лежат не совсем ровно. И луна освещает их так, что одни камни блестят, точно смоченные водой, а дру-

гие остаются темными, шершавыми. И по камням хочется не шагать, а прыгать, как по «классикам».

Впрочем, больше всего Графу хочется довести дело, которое ему доверил Каиров, до хорошего конца. И начать новую жизнь...

Но кто это уже три квартала шагает сзади? Граф остановился, резко повернулся. Человек шел прямо на него. По силуэту и походке можно было определить, что это мужчина.

Чутьем или интуицией, называйте как хотите, Бокалов вдруг понял, что в него сейчас будут стрелять. И когда неизвестный вынул из кармана правую руку, Граф бросился к стене в надежде, что тень на какое-то время прикроет его. Он прильнул к стене, широко расставив руки, словно хотел обнять ее, и двигался боком, боком... Коленка ударилась о выступ. И Бокалов сообразил, что, может быть, судьба дарит ему последний и единственный шанс выиграть поединок. Вскочил на уступ, схватился руками за край стены и перебросил через нее туловище. В тот самый момент, когда Граф еще был на стене, первая пуля, попав в козырек, сбила с него кепку, вторая чиркнула о кромку стены, оставив на цементе темную продолговатую полоску.

Отряхнув брюки, Граф поднял с земли кепку и пошел к цеху — большому, длинному зданию, в широких окнах которого горел свет.

— Володя? — В голосе у паренька удивление, изумление. Ясно, что Колька-инженер ожидал увидеть здесь кого угодно, только не Бокалова.

— Он самый... — вяло ответил Граф.

— Как же ты сюда попал?

— Профессиональная тайна. Где у вас телефон?

— Телефон?

— Да. Хочу вызвать машину.

— Шутишь.

— Серьезно. Покажи, где телефон.

Граф посмотрел ему в глаза... И Колька не спросил больше ничего. Он провел Бокалова в кабинет начальника цеха. В это время там уже никого не бывало.

— Выйди, — сказал Граф.

И набрал номер телефона Каирова...

4

Иван Беспризорный сказал:

— Ребята, я вам стихи новые прочитать хочу...

— Не время, — ответил Семен Лобачев, который сейчас был за старшего.

Поддувайло возразил:

— Может, до рассвета никто и не объявится... Да и потом, кто знает, чьи это кони?

— Бабушка надвое гадала, — поддержал Боря Кнут. — Скорее всего кони ворованные. И здесь милиционеру сподручнее сидеть, а не нам, бойцам Красной Армии.

— Много говорите, — заметил Семен Лобачев. И потом разрешил: — Ладно, читай... Только не громко...

— Стихотворение называется «Сабля»... — начал вполголоса Иван Беспризорный.

Я карандаш затачиваю саблей...

Тучи расползались медленно и тихо, как расползается промокшая бумага. И появлялись звезды, маленькие, словно елочные свечи. И Семен Лобачев, который плохо слушал Ивана, глядя на небо, подумал, что третий десяток на земле живет, а первый раз видит, как звезды из-за туч появляются...

— Да, — сказал Боря Кнут. — Будешь ты, Ваня, большим поэтом. В столице жить будешь... А я к тебе проездом наведываться стану, на выпивку занимать...

— Я серьезно, ребята. Как ваше мнение?

— Мое мнение хорошее, — сказал Поддувайло. — Но я бы больше приветствовал, если бы ты анекдоты писал.

— А про любовь что-нибудь есть? — спросил Семен Лобачев.

— В смысле — про его Марию, — посмеиваясь без злобы, уточнил Боря Кнут.

— Лирических стихотворений у меня много, — заверил Иван Беспризорный. — Хотя бы это... «Я не знаю, как зовут девчонку...»

— Тише, — вскинул винтовку Семен Лобачев. — Кто-то идет...

От дороги в сторону опушки ехали всадники...

...Окно светилось в ночи. И на полу у сундука лежал белесый квадрат, рассеченный рамою, точно крестом. Где-то скреблась мышь. В соседней комнате не спали. И замочная скважина по-прежнему оставалась желтой.

Волгин натянул сапоги, присел на сундук, мысленно ругая себя последними словами. Как же он мог оплошать? Забыть на гвозде куртку с пистолетом в кармане! Может, еще не поздно пройти в соседнюю комнату?

За стеной разговаривали. Костя замер у двери. Прислушался.

— Что я, маленький? Это точно, — говорил стриженый.

— А если путаешь? — спросил Требухов. — Ты знаешь, кто он? Зять полковника.

— Все равно... Похож он на того лягаша...

Тикали часы. Под ногами Требухова попискивали доски.

— Что будем делать? Задал ты мне задачу, — бурчал Требухов.

Костя на носках пробирается к окну. Двустворчатую раму соединяет с наличником лишь крашеный шпингалет. Движение руки, и шпингалет легко скользит вверх. Створки расходятся беззвучно.

Земля сразу затрещала под ногами. И собака метнулась к углу дома. Но цепь была короткой. Собака лаяла, но достать Волгина не могла. А он уже бежал через сад до забора. Перевалился через забор. Очутился на улице. И кинулся вперед, ища глазами водонапорную башню.

Звезды прыгали над головой и неслись за ним вдогонку. Полная луна мелькала справа за крышами. Он махал руками, как бегун, на дистанции, и пот катился по его лицу. Но рубашка была тонкая, холод легко проникал сквозь нее. Между лопатками леденило, словно он прижимался к стеклу.

Черные шпалы выползали ему под ноги. И он бежал по шпалам, помня о часовом, охранявшем уголь.

И когда часовой крикнул: «Стой! Кто идет? Стой! Стреляю!» — Волгин обрадовался, будто услышал голос близкого человека.

— Ты поскорей, поскорей вызывай своих, — торопил он часового. А часовой смотрел на него подозрительно, точно на сумасшедшего.

Разводящий трижды переспросил. Покачал головой. Но, может, все же поверил, а может, просто путь в караульное помещение пролегал мимо дома, который занимал уполномоченный ГПУ. И разводящий заглянул туда. Кравец оказался на месте.

Кравец удивился. И не скрывал это.

А Волгин не знал, с чего начать. Не знал, что можно говорить, а что нет. Поэтому, подумав, он сказал самое простое:

— Я от Каирова.

— Два, — сказал Кравец.

— Восемь, — ответил Костя. И на всякий случай добавил: — «Парижский сапожник».

Через семнадцать минут на явку, где оставался Требухов, был совершен налет. Чекисты обыскали дом, подвал, чердак, сарай и сад, но ни Требухова, ни стриженого, ни самого хозяина найти не удалось. На кухне оказались лишь перепуганная женщина да двое плачущих детей.

Куртка Волгина висела на прежнем месте. Но именного пистолета в боковом кармане не было.

Волгин рассказал Кравцу самое главное, про объявление с медалями и монетами. И про телеграмму, которую он должен дать на имя Воронина, если все будет хорошо.

На раздумья не было времени. Но и Кравец, и Волгин сразу сообразили, что самое главное в настоящий момент — перехватить Требухова, не дать ему возможности связаться с Козяковым. Потому что может существовать еще какой-то канал связи, по которому Козяков сумеет предупредить того, кто в городе, об опасности. И тогда сведения, добытые Волгиным, потеряют всякую цену.

Командир кавалерийского эскадрона поступил правильно, выставив засаду возле лошадей, обнаруженных на опушке.

Когда Семен Лобачев вскинул винтовку и сказал: «Тихо. Кто-то идет», — это были не Требухов и его дружки... Это шли Волгин, Кравец и кавалерист — командир взвода...

5

Варвара читала журнал «Вокруг света». Она любила его. Здесь печатались приключенческие повести, интересные рассказы, большей частью переводные: про далекие моря и незнакомые города, по которым обезьяны разгуливают так же свободно, как у нас кошки.

Варваре нравилось читать такие штуки. И она выписывала журнал... Она всегда делала все, что хотела, без лишних слов и шума.

В кресле было уютно. Свет настольной лампы ложился на письменный стол, этажерку, зеленый пуфик и ковровую дорожку неправильным кругом — с затейливым орнаментом по краям.

«Солнце опускалось за горизонт, освещая красными лучами ярко-зеленую поверхность Саргассова моря и Остров Погибших Кораблей с его лесом мачт. Этот исковерканный бурями, искрошенный временем лес, его изломанные сучья-реи, клочья парусов, редкие, как последние листья, — все это могло бы привести в уныние самого жизнерадостного человека.

Но профессор Людерс чувствовал...»

В дверь постучали. «Мать сегодня у сестры. Кто бы это мог быть?» Часы пробили один раз. Варвара машинально взглянула на циферблат: стрелки показывали половину первого. И от сознания, что она одна и уже поздно, Варвара замедлила шаги. Нерешительно остановилась перед дверью. Ей стало жутко. Но лампочка в прихожей перегорела несколько дней назад, и свет падал лишь из той комнаты, где минуту назад она читала книгу.

Стук повторился, требовательный, громкий...

Варвара подняла крючок, повернула ключ. Скрипнула дверь и поплыла в полумрак лестничной площадки. На пороге стоял мужчина в низко надвинутой на глаза кепке. Варвара вздрогнула, но... дверь уже была далеко и потянуть ее на себя просто невозможно.

Лицо мужчины показалось ей чуточку знакомым. И хотя ей было страшно, так страшно, что хотелось плакать, она ничем не выдала своего испуга, наоборот, нагловато сказала:

— Алло, милый!

«Милый» холодно спросил:

— Одна?

Она неопределенно пожала плечами, лихорадочно думая, что же делать.

— Можно пройти?

— Я жду любимого, — на всякий случай соврала Варвара.

Мужчина вошел в прихожую.

— Закрой дверь, — сказал он.

— Закрой сам, — ответила она. — Я боюсь темноты.

Они прошли в комнату, где горела настольная лампа. Мужчина спросил:

— Ты не разрешаешь мне остаться?

— Да. Это невозможно. Не переношу, когда мужчины увечат друг друга.

Варвара еще не могла его припомнить. Но он вел себя так, будто уже оставался ночевать в этой комнате. Сел в ее кресло. Достал пачку с сигаретами. Варвара охотно закурила. Бросив быстрый взгляд на пачку, поинтересовалась:

— Из загранки?

— Угадала.

С минуту он испытующе разглядывал ее. Потом сказал:

— Ты меня помнишь, Варвара?

— Глупый вопрос. Конечно же, помню, ты обещал на мне жениться и увезти в какой-то... Э... э... Скадовск!

— Я никогда не был в Скадовске.

— Это где-то между Одессой и Севастополем.

— Возможно. Но я ничего не обещал тебе.

— Я и не верю обещаниям.

— Ты большая умница, — покровительственно сказал мужчина.

И когда он сказал эти слова, она вспомнила. Год или два назад он приносил в парикмахерскую французские лаки, помаду, пудру, одеколон. Он не торговался, и все остались им очень довольны. А Варвара, польстившись на коньяк Наполеона, пригласила его к себе...

— Даже самые умные женщины мечтают выйти замуж, — ответила она.

— Верно. Тем более что всегда можно разойтись. Не правда ли?

— Не пробовала. У меня все получилось проще... Мой супруг угодил в тюрьму... Ладно, ближе к делу. У тебя есть что-нибудь для продажи?

— Зачем так быстро? Мне приятно разговаривать с тобой на отвлеченные темы. Ты молода и красива... Тебе не место в этом городе. В Одессе ты была бы королевой...

— Легко дарить комплименты. Они ничего не стоят. А деньги? Где я возьму денег, чтобы перебраться в Одессу?

— Деньги зарабатывают не только в постели.

— Я этого не знала, — с издевкой возразила она.

— Ты по-прежнему ходишь в клуб моряков?

— Не подыхать же мне со скуки.

— Сегодня не пошла?

— Я хожу не каждый день. Кстати, сегодня понедельник, а по понедельникам клуб не работает.

— Я знаю. Поэтому хочу попросить тебя об одной услуге.

Она передернула плечами. У нее была такая привычка. Может, заменявшая усмешку. Может, слова, которые она не смогла бы так быстро подобрать.

— В среду передай эту книгу моему другу. Вы встретитесь с ним в клубе моряков.

Мужчина вынул из-под пальто книгу. Варвара прочла на буром корешке «Граф Монте-Кристо».

— Как зовут твоего друга?

— Неважно. Он сам подойдет к тебе. Ты будешь ждать его в бильярдной комнате и держать книгу на коленях, раскрытую на тринадцатой странице...

Она скорчила гримасу.

— Не бойся... Все нормально. Я полагал это сделать сам. Но мы стоим в этом порту только семнадцать часов вместо

обещанных трех суток. Если он не придет в эту среду, жди в следующую...

— Дуру нашел... — ответила Варвара. — Буду я как идиотка таскаться на танцы с книгой.

Достав из кармана бумажник, мужчина отсчитал три сотенные и положил на стол рядом с книгой.

— Это аванс... Потом получишь еще столько. Как видишь, работа не физическая и для здоровья не вредная. Согласна?

Варвара молча кивнула. Однако, словно торгуясь, сказала:

— По нынешним ценам это не такие уж большие деньги.

— Больше, чем твоя зарплата, между прочим, — резонно заметил он. Но все же опять полез в карман за бумажником и добавил еще сотню.

Она закрыла за ним дверь и несколько минут стояла не двигаясь, зажав ладошками рот, готовая кричать от страха.

6

Припекало солнце. Оно выглянуло совсем недавно, жаркое полуденное солнце. И легкая дымка дрожала над землей и над деревьями, потому что и земля, и деревья, и опавшие листья еще блестели влагой. А ветра не было. И только птицы колыхали ветки, когда садились на них. Ветки поддавались, как резина мячика под пальцами ребенка. И капли падали на землю, яркие, словно кусочки солнца.

В темных лужах, мелких, точно блюдца, лежали листья, над которыми трещали кузнечики: зеленые — величиною с палец, коричневые — размером с фасоль. Выпорхнула бабочка с длинными, стреловидными крыльями в черную полоску и долго кружилась над Волгиным, пока он не слез с коня и не повел его под уздцы.

Щебень полз под ногами. Но кусты цепко держались за землю, вставали на пути щебня. И лишь отдельные камни с тихим шорохом скатывались вниз.

Склон, по которому спускался Волгин, был открытым. И Костя и его конь могли послужить отличной мишенью, если бы кто-то захотел встретить их выстрелом. Немного успокаивало, что до Старой горы ходьбы больше часа. А засада в лощине казалась маловероятной, потому что любая группа людей, даже самая небольшая, рисковала быть замеченной сверху.

Неизвестное ждало внизу, за тем склоном. Оно не страшило, а просто сковывало мысль. И порою Костя чувствовал себя беспомощно, точно стрелок с завязанными глазами.

Явка у Старой горы была последней зацепкой, способной

возвратить Волгина в отряд Козякова. Но возвращаться можно, лишь опередив Требухова.

В лощине чуть-чуть тянуло ветром. Журчал ручей, извиваясь между мшистыми камнями. Конь опустил морду. Коснулся губами воды. Фыркнул. И начал жадно пить... Костя присел, зачерпнул горсть воды. Она была прозрачная и холодная. И зубы ломило от нее. Но пить было приятно.

Похлопав коня по крупу, Костя повел его дальше. Правый берег начисто зарос кустарником, но перебираться обратно, на левую сторону, по скользким булыжникам не хотелось. Ручей шумел... Мерно и однообразно. И шум немного раздражал и настораживал Волгина, потому что скрадывал шаги. И свои, и чужие...

Встретился куст кизила, большой, раскидистый. Ягодами усеяна земля. Но и на ветках еще много плодов. Черно-красных! Костя дивился терпкому и одновременно сладкому вкусу переспелого кизила, пахнущего диким лесом. Руки стали черными и липкими от сока...

Но вот опять молчат над головой деревья. И небо редеет за ними, точно сквозь сито. Опять душный и неподвижный воздух. И надоедливая мошкара кружится над гривой коня. На этой последней прямой можно заставить коня бежать резвее. Только нужно ли? Километра через полтора Старая гора вырастет перед ним, загораживая горизонт, словно египетская пирамида. А на открытом участке нужно скакать во всю прыть. Скакать, как в атаку. Даже страшнее, потому что в атаку по одному не ходят...

Конь сам остановился. И Костя, не ожидавший этого, подался корпусом вперед. Тревожное ржание, настороженно поднятые уши. И вдруг чей-то стон...

Если бы жизнь была длинной, как те дороги, которые он не успел пройти. Если бы ему оставалось видеть небо, слышать ветер, дышать и бороться больше, чем семнадцать часов, Костя Волгин часто вспоминал бы эту минуту, когда он спрыгнул с коня. И в придорожных кустах увидел Анастасию. Следы крови. И свой браунинг, маленький, но тяжелый, который она сжимала в руке.

Он уже не думал о том, как Анастасия очутилась здесь, на дороге к горе Старой. Он понял главное: Требухов опередил его...

7

Женщина, перевязанная платком крест-накрест, выкапывала клубни георгинов. Бережно складывала их в плетеную пе-

репачканную корзину... Неширокая, метра в полтора, полоса, окаймляющая газон перед входом в клуб моряков, еще неделю назад белевшая живыми цветами, теперь была перекопана. И женщина уже заканчивала работу, когда оперативный уполномоченный Золотухин появился на набережной.

Втиснутая в море гора чернела, словно вырубленная из угля. Волны переливались бликами, желтыми вблизи, а у горизонта розовыми. Солнце садилось.

Увидев Золотухина, женщина собрала клубни, взяла корзинку и ушла...

Наступил черед Золотухина. Он поставил мольберт, достал краски...

Свет менялся, и тени исчезали. Быстро и заметно, точно след воды на горячем песке. Скрежетали лебедки. Вода омывала сваи обветренной пристани, к которой швартовался грязный, точно бродяга, сухогруз. На его корме трепыхал флаг, сейчас малиновый, потому что закат был очень ярким, и настоящий цвет флага Золотухин не смог определить. Вдоль набережной, словно оспой, изрытой солнцем и солью, сидели рыболовы: с десяток мальчишек и меньше — стариков. Удилища свисали над водой. Но рыба ловилась плохо... Впрочем, Золотухин не имел возможности все время наблюдать за рыбаками. Гораздо больше его интересовали люди, входившие в клуб моряков и выходившие оттуда.

Несмотря на то что вход в клуб моряков был свободным, местные жители редко приходили сюда. Когда наступали сумерки, возле клуба появлялись девицы определенной категории. Они знакомились с моряками, своими и чужеземными, тут же в скверике.

Клуб моряков работал ежедневно, кроме понедельника. Это был красивый трехэтажный дом с большим концертным, бильярдным, танцевальным залами, фешенебельным рестораном, где за боны или прямо за доллары, фунты, марки продавались самые изысканные блюда и напитки.

Золотухин сразу заметил Варвару. Граф Бокалов накануне познакомил их, представив Золотухина как своего хорошего «кореша». И Варвара успокоилась, поняв, что в клубе моряков она будет не одна, что там будут люди, которые в нужную минуту помогут ей. Она не знает их. Но Золотухин предупредил: не нужно волноваться. Все обойдется хорошо. Ведь даже с Золотухиным она должна обходиться как с совершенно незнакомым человеком.

В ту ночь, когда непрошеный визитер поручил ей передать книгу «Граф Монте-Кристо», Варвара не ложилась спать. Она

сидела в кресле. Пила холодный кофе и листала «Графа Монте-Кристо», но никаких следов тайнописи или какого-то шифра она не находила.

В третьем часу ночи — опять стук в дверь. Долго не открывала, прислушивалась. Наконец узнала голос Графа, ругающегося за дверью. Встретила его как родного. И выложила все, будто на духу.

Граф помрачнел:

— Влипла ты, Варя. Одно дело взлом квартир и карманные кражи. Другое дело — шпионаж. За шпионаж — стенка.

Варвара плакала и просила выручить. Тогда Граф сказал, что он сейчас уйдет на некоторое время и чтобы она, кроме него, Графа, никого в квартиру не впускала, ни под каким предлогом.

Граф вернулся минут через тридцать, которые показались ей годом, с Золотухиным. Варваре объяснили, что она должна делать и как себя вести.

...И вот сейчас Варвара шла неторопливо. Очень плавной и очень грациозной походкой. Одетая в светлое коверкотовое пальто, с черной газовой косынкой на волосах. В правой руке, согнутой в локте, она несла книгу, прижимая ее к груди.

Кто-то из подружек поздоровался с маникюршей. Она кивнула. Затем потянула на себя бронзовую, начищенную до блеска дверную ручку и вошла в клуб моряков.

Фойе блестело паркетом. Лестница из белого мрамора, ведущая на второй этаж, была покрыта широкой темно-бордовой дорожкой с голубыми полосами по краям. Изогнутые канделябры мерцали на стенах, словно свечи.

Гардероб размещался в полуподвале. Варвара сдала пальто. Поправляя волосы, положила книгу на столике возле зеркала. Какой-то мужчина остановился за ее спиной. Она видела лишь блестящие от бриолина волосы и нос с большими ноздрями.

Мужчина маслено улыбнулся:

— Готов спорить, что книга, которую вы читаете, самая увлекательная на свете.

— Не знаю, — ответила Варвара. Она действительно не знала, что это за книга. Она не читала ее и ничего о ней не слышала. Вернее, смутно помнила, что рассказывали еще в детстве подружки, читавшие эту книгу.

— Интересуюсь названием, — сказал мужчина.

— «Граф Монте-Кристо».

— О-о... Занимательно. Мы еще увидимся, — бросил мужчина. И крикнул кому-то: — Роза Карловна, одну минуточку...

В бильярдной плавает папиросный дым. На зеленых столах шары, желтые и блестящие, словно налитые яблоки.

Возгласы. Разговоры. Говорят и по-немецки, и по-французски, и по-английски. Но Варваре все равно. Она не знает другого языка, кроме русского. Учила в школе немецкий: фатер, муттер, киндер... А больше не помнит.

Она сидит, закинув ногу за ногу, в костюме из мягкой шерсти, свежая и привлекательная. И глаза у нее красивые, задумчивые. И она не читает книжку, а думает о чем-то своем, наверное очень важном и очень далеком... Книжка уже полчаса как открыта на одной и той же странице — тринадцатой.

А в танцевальном зале играет радиола. Бойкая мелодия. Называется «Рио-Рита».

Темнокожий в салатовом пиджаке и клетчатых брюках подходит к Варваре, любезно раскланивается. Что-то говорит. Вероятно, приглашает на танец.

Она не менее любезно отказывает. Темнокожий улыбается, обнажая зубы. Они у него обыкновенные. И просто кажутся большими.

Варвара терпеливо слушает музыку. Фокстроты, танго, вальсы...

И вдруг ей стало не по себе. Хотя никто не обращал на нее внимания. И вокруг бильярдного стола мужчины спорили и даже размахивали киями, словно шпагами. А потолок по-прежнему голубел от дыма. Но у Варвары сердце замирало, словно она прыгала с большой высоты. Сказывалась усталость, вызванная бессонной ночью. Не случайно, собираясь в клуб моряков, Варвара больше часа провела перед зеркалом, растирая лицо кремами, пудрясь, укладывая волосы...

Золотухин сказал, что если никто не подойдет к ней и не заинтересуется книгой, она должна находиться в бильярдной до тех пор, пока не заиграют танго «Брызги шампанского».

В который раз Варвара перечитывала начало второй главы: «Известие о прибытии «Фараона» не дошло еще до старика, который, взобравшись на стул, дрожащей рукой оправлял настурции и ломоносы, обвившие окошко. Вдруг кто-то обхватил его сзади...»

Подсаживается пузатый иностранец. Маленькие глазки за выпуклыми очками в позолоченной оправе. Приценивающе смотрит на ноги Варвары. Что-то бормочет гнусаво, протягивает чулки.

Чулки, конечно, хорошие. Из черного шелка. И осенью, и зимой такие чулки были бы кстати. Но Варвара не имеет права их брать. Да и пузатый ей противен. Пусть о ней думают

что угодно, но она еще никогда не опускалась до того, чтобы лечь в постель с человеком, который ей не нравится.

«Известие о прибытии «Фараона»...»

«Известие о прибытии «Фараона» еще не дошло...»

Вот и знакомая мелодия. «Брызги шампанского». «Почему брызги? Почему?..»

Варвара поднялась и пересекла танцевальный зал, в котором кружилось всего лишь несколько пар. В раздевалке она лицом к лицу столкнулась с полной, сильно накрашенной дамой, которая, увидев в руке у Варвары книгу, громко воскликнула:

— Я давно мечтала об этом романе! Милочка, вы не оставите мне его почитать?

Не успела Варвара что-либо ответить, как женщина уже потянулась за книгой.

— Пожалуйста, — ответила Варвара.

— Чудесно. Я верну, как только увижу вас здесь.

— Роза Карловна! — окликнула даму гардеробщица. — Вам целый вечер звонит мужчина. А я нигде не могу вас разыскать.

Граф встретил Варвару у выхода. Без всяких предосторожностей сказал:

— Провожу тебя.

Она спросила:

— Это можно?

— Нужно, — ответил он.

Ночь была тихой. Дорога казалась белой, точно вымазанная известью. Сады утопали в темноте. Но вершины деревьев тоже были белыми, как дорога. Светила луна. Большая, полная...

8

Весь вечер Каиров не выходил из своего кабинета, но все, что происходило в клубе моряков, было известно ему до мельчайших подробностей. Телефон звонил каждые пять-десять минут. К сожалению, первые полтора часа не принесли ничего утешительного.

И вдруг:

— Варвара передала книгу пианистке Розе Карловне. В момент передачи книга не была раскрыта на тринадцатой странице. И Варвара находилась в гардеробе, а не в бильярдной. Сейчас Роза Карловна играет на рояле в голубой гостиной. Книга лежит рядом на столике.

— Продолжайте наблюдение... И выясните, по какому телефону ее вечером спрашивал мужчина.

Каиров повернулся, не вставая со стула, и протянул руку в открытый сейф, стоявший за спиной. Он вынул из сейфа тоненькую папку табачного цвета, на лицевой стороне которой была приклеена бумажка и черными чернилами выведено: «Георгец Никодим Харитонович».

Раскрыл папку. На первой странице фотография: хмурое, удлиненное лицо, шея с кадыком, нагловатые, без ресниц глаза.

Не смог удержаться Каиров от улыбки. Он вообще редко улыбался на службе.

Механик судна «Сатурн» Георгец Никодим Харитонович. Это была чуть ли не первая крупная удача. Граф Бокалов оправдал себя. А Варвара, наблюдательная пройдоха, толково выложила устный портрет незнакомца, вручившего ей книгу. Не составляло труда связаться с начальником порта и выяснить, какие суда вышли в море в ночь с понедельника на вторник.

Оказалось, что между субботой и вторником только один сухогруз «Сатурн» швартовался в порту. Он стоял у пристани ровно семнадцать часов и отбыл в Новороссийск во вторник на рассвете. «Сатурн» был приписан к местному порту. В отделе кадров Каиров довольно-таки легко разыскал фотографию, совпадавшую с приметами человека, приходившего к Варваре.

Золотухин показал фотографию маникюрше, и она без колебаний опознала незнакомца.

Кнопка возвышалась над зеленым сукном стола, словно маленькая горошинка. Каиров нажал ее. Дверь открыл сотрудник. Молча остановился у порога, ожидая приказания.

— Введите арестованного.

...Мужчина сутулился. И лицо его было небритым. Он сел на предложенный стул и, щурясь от яркого электрического света, смотрел на зашторенное окно.

— Георгец Никодим Харитонович, — сказал Каиров.

Мужчина кивнул.

— Год рождения 1901-й.

Опять кивок.

— Уроженец города Одессы.

— Да.

— Национальность.

— Родителей не помню. Считаю себя русским.

— Запишем: русский. Образование?

— Самообразование. Юнга. Ученик механика. Затем механик.

— Литературу любите?

Георгец ответил не очень уверенно:

— Люблю.

— Книги каких авторов предпочитаете читать?

— Товарищей Пушкина, Лермонтова...

— Что же вы читали товарища Лермонтова?

Молчание.

— Забыли?

— Да. У меня плохая память на названия.

— В ваши-то годы!

— А что годы? Не годы человека старят, а жизнь.

— И все же странно, — возразил Каиров. — Утверждаете, что поклонник русских классиков, и не можете вспомнить ни одной прочитанной вами книги.

— Про золотую рыбку помню... И еще «Бородино»...

— Это уже лучше. А скажите, книги товарища Дюма вы любите?

— Не знаю.

— Удивительный вы человек. Может, и роман «Граф Монте-Кристо» не читали?

— Не читал.

— Вы оплошали. Я на вашем месте непременно бы прочитал эту увлекательную книгу, прежде чем передать ее маникюрше Варваре.

— Я никому ничего не передавал, — быстро ответил Георгец и насупился.

— Может, вы и с маникюршей Варварой не знакомы?

— Не знаком.

— Что вы делали в понедельник? В ночь с двадцать второго на двадцать третье ноября, — спросил Каиров. — Отвечайте быстро. Или не помните?

— Не помню, — огрызнулся Георгец.

— Даже малолетние преступники врут ловчее.

— Двадцать второго вечером я был на берегу. Выпил вина. Потом познакомился с женщиной и пошел к ней. С берега вернулся во втором часу ночи. Можете спросить у вахтенного.

— Фамилия женщины и где она проживает?

— Я не спрашиваю фамилии у случайных знакомых. А живет она в железнодорожном городке. Где точно, не помню. Был выпивши.

— Как звали женщину?

— Тоня.

— Георгец, вы опять врете. И опять это заметно. Я, разумеется, знаю, где вы были и что делали двадцать второго ноября. Но хочу помочь вам. Мне кажется, вы запутавшийся

человек. Но вы не враг. Нам известно, что вы спекулируете по мелочам, иногда даже контрабандными товарами. Вас давно следовало арестовать. Это помогло бы вам встать на честный путь. Однако история, в которую вас втянули сейчас, не уголовное преступление. Она имеет другое определение — шпионаж в пользу иностранной державы.

Георгец стал бледным как полотно.

— Вы неглупый человек. И знаете, что шпионаж в нашей стране карается сурово. Если вы поможете следствию, это будет принято во внимание при вынесении приговора.

— Что я должен сделать? — тихо спросил Георгец.

— Рассказать, кто, где и когда передал вам книгу «Граф Монте-Кристо».

— У меня никогда не было такой книги.

— Вы забыли.

Каиров прикоснулся к кнопке звонка:

— Полагаю, у вас будет время подумать. Вы вспомните все. А завтра утром мы встретимся снова. Разумной ночи, Георгец.

Конвоир увел механика «Сатурна», и Каиров остался один.

Позвонил Золотухин. Сказал, что Роза Карловна благополучно прибыла в свой дом. Комната, которую раньше занимал Мироненко, теперь сдана молодоженам. У них маленький ребенок. Он чем-то болен. Все время плачет. Роза Карловна заходила к квартирантам. Видимо, рекомендовала вызвать врача. Потому что квартирантка тут же оделась и ушла. Роза Карловна проводила ее до калитки. Заверила: «Хороший врач. Старой школы. Сошлитесь на меня, и он придет непременно».

Каиров сказал Золотухину, чтобы тот продолжал наблюдение.

Затем принесли две шифрованные телеграммы из Ростова. В первой сообщалось, что убитый в сентябре Бабляк Федор Остапович разыскивается саратовской конторой «Заготсырье» в связи с хищением крупной суммы денег. Вторая телеграмма была очень важной. Она содержала сведения, которые Волгин успел передать Кравцу.

«Значит, так, — расхаживал по кабинету Каиров, — убийство Бабляка не имеет политических мотивов. Возможно, не имеет. Встреча Бабляка и Хмурого, зафиксированная на фотографии, могла быть чисто случайной. А Хмурый прихлопнул Бабляка, видимо, с целью грабежа. Допустим, так... Но куда же Хмурый дел деньги? Не мог ли он передать их Ноздре под видом чемоданчика с вещичками? Маловероятно... Но придется вспугнуть Ноздрю, произвести обыск».

Дела идут хорошо. В руках Каирова три нити. Георгец, Роза Карловна... «Коллекционер купит старые монеты и медали...»

Это уже целая сеть. И рыбе трудно будет из нее вырваться, какой бы крупной она ни была...

В одиннадцать вновь позвонил Золотухин. Соседка привела... доктора Челни.

Ну и Челни! Восьмой месяц работает в уголовном розыске, а частной практикой занимается словно земский врач. Нужно поговорить с ним официально.

— Следите за Розой. Не спускайте глаз с ее дома.

Через четверть часа Золотухин докладывал:

— Доктор Челни ушел. Роза Карловна жаловалась ему на печень.

— Он тебя видел?

— Да. Поздоровался. И спросил, что я здесь делаю. Я ответил: она опаздывает на свидание.

— Ох, Челни! Я же запретил ему подрабатывать на стороне.

Затем он взял чистый лист бумаги. И стал писать объявление: «Коллекционер приобретет старинные медали и монеты...»

9

У Старой его никто не ждал. Однако следы копыт и запах конского навоза свидетельствовали, что час или два назад здесь находились два всадника, поспешно ускакавшие на юго-запад, может вспугнутые именно выстрелами.

Анастасия продырявила Требухова в четырех местах. Но у него еще хватило сил вскочить на ноги и пробежать метров десять. А потом он споткнулся и покатился под гору. И Волгин просто случайно увидел тело, застрявшее в кустах, когда метался в поисках воды, надеясь привести Анастасию в чувство.

Требухов был мертв. Но открытые глаза его удивленно смотрели на землю, словно никогда не видели ее раньше.

Минут через пятнадцать Анастасия пришла в себя. Она глядела на Костю с каким-то диким изумлением.

— Какое счастье, что ты жива! — сказал он.

Она молчала.

— Тебе нужно помыться. И ты мне все расскажешь...

Они вместе нашли ручей, и она попросила его уйти. Раздевшись донага, обмыла себя студеной водой. Вернулась от ручья раскрасневшаяся. И было заметно, что белье она надела на мокрое тело.

— Что случилось? — сразу же спросил Костя.

Анастасия отвечала сбивчиво, волнуясь. Но он понял следующее...

Рано утром в дом егеря Воронина явился Требухов. Он сказал, что Аполлон вовсе не Аполлон, а сотрудник уголовного розыска... Воронин был на пасеке. Но Требухов не стал его ждать. И велел Анастасии быстро собрать необходимые вещички и идти с ним.

— Куда? — Об этом Анастасия спросила, когда они уже находились в лесу.

— К отцу, — ответил Требухов.

— Я хочу к бабушке. В Москву. Покажите мне дорогу...

— Я не знаю в Москву дороги.

— Тогда я найду ее сама, — решительно ответила Анастасия и повернула на ту дорогу, где и нашел ее Волгин.

— Вернись, — остановил ее Требухов. — Ты знаешь, кто твой отец?

— Догадываюсь...

— Вот-вот... Тебя будут судить, если задержат. Большевики не признают церковных браков. И то, что ты спала с их агентом, не поможет тебе.

— Подлец! Мне безразлично, кто он — сотрудник уголовного розыска или рыбоконсервного завода... Он мой муж. И я люблю его.

Тогда Требухов набросился на нее. Повалил на спину. Но... Из кармана выпал пистолет Кости. И Анастасия выстрелила четыре раза...

— Это правда, что говорил Требухов? Как тебя называть — Аполлоном или...

— Костей. Ты очень разочарована?

— Пусть Костя. Но я хочу знать всю правду. Я должна знать правду... — убежденно сказала Анастасия.

— Вся правда в том, что я люблю тебя.

— А ты... Ты имеешь на это право?

— Я не знаю, что такое право на любовь.

— Но почему ты не сказал об этом тогда, ночью... Ты не верил мне? Ты думал, что я способна тебя предать?

— Я не мог.

— Что мы будем делать теперь?

— Возвращаться на станцию. У нас есть лошадь. И мы доберемся к утру... Жена Воронина слышала, что говорил Требухов?

— Да. Она перепугалась...

— У меня есть краюха хлеба. И я знаю, где растет кизил. Там пообедаем.

— Мне не хочется есть. Совсем не хочется. Как все запуталось. Отец и ты. Он убьет тебя, если поймает?

— Или я его, или он меня...

— Это ужасно. Почему все так сложно в жизни?

— Помнишь у Киплинга «Маугли»?.. Там тигр-людоед.

— Помню.

— Твой же отец лишил жизни людей побольше, чем тигр Киплинга... Семьи вырезал. Детей малолетних не щадил...

— Это ужасно, — повторила Анастасия.

— Садись на коня, — сказал он. — Было бы неплохо засветло выбраться из этих дебрей.

...Они двигались остаток дня, вечер и большую часть ночи.

Потом произошла встреча.

Силуэт всадника, скакавшего одвуконь, мелькнул на фоне неба, более светлого, чем горы и лес, и Волгин сказал Анастасии, что это полковник Козяков. Он сказал, что узнал бы полковника с любого расстояния и ночью, и днем, потому что тот учился верховой езде в императорском Александровском лицее и сидел в седле артистично.

Стук копыт приходил снизу. Можно было догадаться, что всадник уже выбрался из ущелья и горной дорогой, на которой с трудом могли бы разминуться две лошади, поднимался сюда, к дубу, где стояли Анастасия и Костя.

Глухо крикнула большая птица. Улетела в ночь, рассекая воздух черными крыльями...

— Это точно Козяков, — тихо сказал Волгин.

— Спрячемся, — прошептала Анастасия.

— Пусть прячется он. Мы у себя дома. Мы здесь хозяева.

Анастасия вспомнила, что у нее в кармане пальто лежит пистолет мужа. Она опустила руку в карман, чтобы передать Константину личное оружие. Но тут же увидела в правой руке Волгина другой пистолет.

Конь Волгина внезапно заржал. Козяков остановил своего коня.

— Руки вверх! — крикнул Костя и шагнул навстречу полковнику.

Но в это время за его спиной раздался выстрел. Волгин упал плашмя. И даже не вскрикнул...

Вздрогнул конь под Козяковым, поднялся на задние ноги. Едва удержался в седле полковник.

— Не пужайтесь, господин полковник. — Из-за дуба вышел егерь Воронин с ружьем наперевес.

— Кого это ты успокоил, Сергей Иванович? — спросил Козяков, спрыгивая с седла. Но, не дождавшись ответа, вдруг опознал Анастасию и бросился к ней.

— Анастасия! Бог милостив! Бог милостив! Я не рассчитывал тебя найти.

— Что вы наделали? — выдохнула она. — Что наделали? Вы убили его! Мерзавцы, подлецы, бандиты, сволочи...

— Успокойся, дочка. Успокойся...

— Это Аполлон, — сказал Воронин. — Они уже здесь около получаса отдыхали.

Сбросив оцепенение, в которое ее ввел внезапный выстрел, Анастасия подбежала к Волгину. Упала рядом с ним на колени и прижалась лицом к его голове. Пуля, вероятно, попала в затылок. Волгин был мертв. Но кровь еще не остыла.

— Нашел? — спросил Козяков Воронина.

— Да. В полной сохранности. Только переклasть во что-то нужно. Несподручно тащить в горшке будет...

— Придумаем. Где золото?

Егерь повернулся, чтобы идти к дубу, и уже сделал несколько шагов, когда поднялась Анастасия, быстро приблизилась к Воронину и выстрелила в то место, где воротник кожуха облегал шею. Затем она повернулась к отцу:

— А теперь твоя очередь...

— Анастасия. Не смей!

— Не подходи...

— Анастасия! Воронин принес золото. Мы сегодня же уедем отсюда. Уедем туда, куда я обещал...

— Не подходи!

— Я не двигаюсь. Это тебе просто кажется!

Но она выстрелила все равно...

Да... Только все это привиделось Анастасии. Привиделось, приснилось. Бывают же сны, похожие на явь.

Это, конечно, хорошо, что не случилось ничего страшного, непоправимого. Что уснула Анастасия. Просто уснула.

Волгин и Анастасия действительно шли день, вечер и большую часть ночи. Большую часть, но не всю ночь. Потому что идти всю ночь у Анастасии не было сил. И они сделали привал возле заброшенного шалаша, с которого еще не облетели сморщенные, как гармошка, листья.

И когда Анастасия открыла глаза, то поняла, что они с Костей не одни. Кругом лошади и люди... Потом она услышала голос отца... И перепугалась за Костю...

Но Козяков еще не встречался с Ворониным. Ничего не знал... И он, вероятно, спросил Костю, почему они здесь. И Костя что-то сказал...

Когда Анастасия проснулась, то все уже очень торопились. Козяков сказал ей, что встретились они кстати. И бродить, и скитаться осталось им недолго. Он угадал, словно смотрел в воду. Но, конечно, вкладывал совсем другой смысл в свои пророчества...

Сели на лошадей. Анастасия ехала рядом с Волгиным. Наступало уже утро. Красивое утро. Но вдруг впереди крикнули:

— Красные!

А потом началась беспорядочная стрельба. Конь понес Анастасию, и Волгин едва догнал ее. Схватил коня под уздцы. А пули шипели и свистели. И кора отскакивала от деревьев. Вспышки выстрелов мелькали, будто кто-то размахивал желто-красными цветами. А потом упал один человек, и другой лежал на земле с разбитым в кровь лицом.

Козяков подтащил пулемет. Пулемет «максим». Поставил на очень хорошее место, а красные были внизу, и прошивать их из пулемета было очень сподручно. Козяков сам лег за пулемет. Брызнуло пламя. И люди внизу словно начали спотыкаться. Тогда Волгин, разгоряченный боем, крикнул:

— Уходи, атаман, я прикрою.

Козяков кинулся к лошади. Прокричал:

— Аполлон, мы поддержим твой отход огнем! Действуй!

Костя лег за пулемет, а козяковцы повскакивали на коней и подались в горы... Но когда они отъехали метров на сто, Волгин развернул пулемет и стал стрелять им вслед. И они падали и кричали. И тяжелые кони летели через головы, ломали хребты, ноги...

Стреляли и сверху, и снизу.

Анастасия лежала рядом с Волгиным и стреляла в бандитов из пистолета. И пуль было больше, чем пчел в улье. И попробуй узнай, чья пуля нашла Костю Волгина. Попробуй узнай!

Костя, конечно, видел, как выпал из седла прошитый очередью полковник Козяков. А что он еще видел, никто не знает...

...Утром кавалерийский дозор задержал молодую девушку с обезумевшими глазами. Она сжимала в руке браунинг и пыталась стрелять. Но патронов в обойме больше не было...

10

Золотухин стоял у тополя, торчавшего на изгибе улицы. Отсюда ему был виден дом Розы Карловны, вернее, верхняя часть

дома и калитка, потому что высокий фундамент и ступеньки крыльца прикрыли вьющиеся по забору розы. И хотя розы сейчас уже не цвели, кусты их были достаточно густыми, чтобы делать невидимым с улицы двор и нижнюю половину дома.

После полуночи Золотухин подошел к забору вплотную. Теперь он мог лучше рассмотреть дом и дорожку, пролегающую между домом и палисадником. Тишина. Даже слышно, как маневрируют паровозы, хотя железнодорожное депо не близко... А на часы лучше не смотреть. Время тянется долго. Так долго, словно дремлют часовые стрелки, словно они тоже наморились за день.

И вдруг Золотухин различает звук... Будто скрипнула дверь, заунывно, протяжно... Или показалось?

Бесшумно и легко (уж такая у него походка) Золотухин пробирается к калитке. Отодвигает задвижку. Двор уложен камнями, разными по размеру и по форме разными. Обыкновенными, случайными камнями. Золотухин задевает один из них носком ботинка и едва не падает. Нехорошая примета. А он верит в приметы. Хотя никому не признается в этом. Комнаты, в которые ведет парадное крыльцо, занимают квартиранты. Роза Карловна живет в противоположной части дома.

Двор густо зарос деревьями и виноградом. Во дворе темнее, чем на улице. И плохо видно из-за темноты. Золотухин огибает дом. Если с улицы дом имеет высокое бетонное крыльцо, с белыми, гладкими ступеньками, то с тыльной стороны — длинная деревянная терраса, незастекленная.

Золотухин останавливается возле узких ступенек, заглядывает на террасу. Дверь в комнату приоткрыта. Немного приоткрыта. На ширину ладони. Ну, может, чуть больше. Странно. Одинокая женщина. Пожилая. Ложится спать и забывает прикрыть дверь. Некоторое время Золотухин неподвижен. Потом, вынув из кармана наган и фонарик, он поднимается на террасу и рывком распахивает дверь.

Луч фонарика опережает его. Роза Карловна лежит на смятой подушке. Рот широко раскрыт, глаза большие, набрякшие.

...Приезжает Каиров и с ним несколько оперативных работников. Машина останавливается под горой. К дому поднимаются гуськом. Каиров тяжело дышит от быстрой ходьбы. Пока доктор Челни осматривает труп, Каиров и Золотухин бродят по саду. Выясняется, что сад заканчивается оврагом. Непроходимым? Как сказать? Просто поросшим кустами ежевики и хмеля...

Доктор Челни констатирует, что никаких внешних следов

насильственной смерти на теле Розы Карловны нет. Окончательное решение покажет вскрытие.

Да, но где же роман Дюма? Может, в доме есть тайник? Нужно все обыскать тщательнее.

11

Когда он подержал письмо над паром, между строчек выступили цифры.

010 056 002. 009
003 223 068 003
009. 068 008 204

И еще другие цифры.

Тринадцатая страница романа «Граф Монте-Кристо» начиналась следующей строкой: «Будь в Париже улица Каннебьер, Париж был бы маленьким Марселем».

Десятой была буква «ж», третьей буква «д», девятой «и»...

«Жди...» И далее, таким же методом, — «...яхту тридцатого косого мыса два часа ночи сигнал круги красным огнем».

Мужчина взял книгу, письмо, конверт. Подошел к печке. Открыл заслонку. И бросил письмо и конверт в пламя. Затем он по два, по три листка вырывал из книги и тоже клал их в огонь, свертывая в трубочки...

После он разворошил пепел кочергой. И вышел из дому. Небо было облачным. Солнце не показывалось. Было прохладно.

На улице, в конце которой высилось, мутнея стеклянной крышей, здание рынка, женщины торговали последними георгинами. На углу рыбного магазина мужчина остановился. Среди десятка объявлений, написанных на обрывках бумаги (Ищу няню. Продаю шкаф. Учу игре на баяне...), мужчина отыскал одно, видимо заинтересовавшее его.

КОЛЛЕКЦИОНЕР ПРИОБРЕТЕТ
СТАРИННЫЕ МЕДАЛИ И МОНЕТЫ,
А ТАКЖЕ ЛИТЕРАТУРУ
ПО НУМИЗМАТИКЕ.
С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ:
ГЛАВПОЧТАМТ,
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ,
ЛАЗАРЕВУ ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ.

12

Таблетка акрихина была горькой на вкус и очень приятной, светло-желтой на цвет. Каиров поморщился, запивая таблетку водой, и выругался в душе: опять подобралась лихорадка, нашла ключик. И всему причиной два последних происшествия —

ночное — с Розой Карловной и утреннее — с механиком судна «Сатурн».

В голове гудело. И немного знобило. И пот, который выступал на лбу и под мышками, был очень холодным, как вода из-под крана.

Пришел Граф Бокалов.

— Здравствуйте, Мирзо Иванович.

— Здравствуй, Володя. Садись!

Граф подвинул стул поближе к столу.

— Ты не интересовался, Володя, почему в тебя стреляли?

Граф рассудительно ответил:

— Можно допустить один из двух вариантов: или меня с кем-то перепутали, или кому-то известно, что я на... — Он хотел сказать «на вас», но тут же поправился: — ...что я у вас работаю.

— У нас много людей работает. Но без причины в наших сотрудников не стреляют.

— Разве я сотрудник?

— Внештатный... Но при желании и старании... Ладно, мы еще вернемся к этому разговору в более подходящий момент. А сейчас, Володя, к тебе еще один вопрос. Ты мне обо всем рассказываешь?

— Мирзо Иванович, как вы можете сомневаться! Все, что представляет мало-мальский интерес, вам известно.

— А то, что не представляет мало-мальского интереса?

— Разве я имею право отнимать у вас время на всякую чепуху?

— Дорогой, если в человека стреляют — это не чепуха. Иди к Нелли, возьми у нее чистой бумаги. И опиши все, день за днем, до того вечера. Пиши, с кем встречался, о чем говорил, что делал. Факты, мне известные, можешь не описывать.

Как только Граф ушел, принесли заключение медицинской экспертизы. Оно подтвердило предположение Каирова: Роза Карловна не умерла своей смертью, ее задушили.

Оставалось последнее. Объявление.

— Нелли, разбудите Золотухина.

Золотухин вначале умылся. И лишь потом пошел к начальнику.

— Георгец раскололся? — первое, что спросил Золотухин.

— Нет.

— Вы его допрашивали?

— Нет. — Каиров говорил, как всегда, когда он был раздражен, «нэт».

Но Золотухин никогда не отличался особым тактом и, казалось, не замечал плохого настроения начальника.

— Не успели?

— Как ты угадал? Не успел.

— Может, допросим?

— Этого нельзя сделать. Сегодня утром, за завтраком, Георгец принял яд.

Золотухин присвистнул от удивления.

— Не знаю, где уж он хранил цианистый калий. Не могли же его подбросить здесь, у нас! В моем учреждении! Но он принял яд с чаем, предварительно аппетитно позавтракав. Эта деталь настораживает.

— Нужно проверить отпечатки пальцев на посуде, — решительно предложил Золотухин.

Каиров махнул рукой:

— А... Чтобы подбросить яд в чай, не обязательно касаться кружки. Дошкольники такими делами не занимаются. Теперь одна надежда на объявление.

13

В те времена членский билет общества Красного Креста и Красного Полумесяца мог явиться документом, весьма уважительным для того, чтобы, взглянув в него, вам могли выдать корреспонденцию «до востребования».

Два дня спустя, после того как объявление появилось на углу рыбного магазина, что стоит возле колхозного рынка, Золотухин показал девушке с почты, сидящей за широким расколотым стеклом, членский билет Лазарева Юрия Михайловича и вежливо осведомился, не поступало ли что-нибудь на это имя.

Признаться, Золотухин был не в состоянии скрыть удивление, когда девушка приветливо положила перед ним пять писем. Достаточно было одного беглого взгляда, чтобы понять — письма писали разные люди.

Однако вежливость — прежде всего. Золотухин ответил улыбкой на улыбку девушки с почты. И поспешил к Каирову.

Итак, писем было пять.

Распечатали первое:

«Мы, члены краеведческого кружка школы № 8, прочитав ваше объявление, решили установить с вами контакт, но не на предмет купли и продажи старинных монет и медалей. А для взаимного обмена медалями и монетами... С пионерским приветом...»

Второе:

«Товарищ Лазарев!
У нас на чердаке лежат какие-то книги, на которых изображены монеты и медали. Но книги эти не русские. А на каком языке, не знаю. Если они вам нужны, отдам их даром. Василенко, работаю токарем».

Третье письмо было своеобразным:

«Ответьте мне на один вопрос, гражданин Лазарев: почему случается так, что в то время, как вся страна и весь народ напрягают силы на создание тяжелой индустрии, находятся люди, которые не помогают стране и народу в гигантском строительстве, а зарываются в мещанской трухе и выискивают разные монеты и медали, отлитые при ненавистном царском режиме? Недорезанный буржуй вы, гражданин Лазарев».

Подписи, разумеется, нет. Обратного адреса тоже.

В четвертом письме некий товарищ Коблев, шофер автобазы райпотребсоюза, предлагал товарищу Лазареву черкесский кинжал в серебряных ножнах. Кинжал очень старинный. Но... Шофер Коблев честно признавался, что ни монет, ни медалей у него нет.

«В память о моем покойном муже я храню коллекцию монет, собранную им в первые годы нашей совместной жизни. Это большая коллекция. И я не очень разбираюсь в ней, но помню, что среди монет имеется даже луидор времен Людовика XIV, которым муж мой очень гордился. В свободное время можете навестить меня, во второй половине дня я всегда дома. Адрес: улица Мойка, 16, кв. 41. Седых Ольга Павловна».

Каирову было над чем задуматься. Золотухин сказал:

— В этом весь фокус. Лазарев один. Адресатов же в городе, где население триста тысяч, не считая приезжих... Адресатов может быть сколько угодно. Я не удивлюсь, если завтра милая девушка предложит десяток писем.

Конечно, Золотухин преувеличил. На другой день девушка с почты положила перед ним четыре письма, на третий день тоже четыре. Больше писем пока не поступало.

Тринадцать писем! Роковое число. Не будем приводить здесь содержание остальных писем. Первые пять достаточно характеризуют корреспонденцию, поступившую на имя Лазарева Юрия Михайловича.

— Знаешь что, — сказал Каиров Золотухину, — Козяков, видимо, сообщил Волгину не весь пароль, а только первую его часть.

— Не вижу смысла, — возразил Золотухин. — Я склонен думать, что Волгин не успел впопыхах рассказать все

Кравцу. Или Кравец запамятовал. Будь Костя жив... Я одного не пойму, почему его тогда опять понесло в горы.

— Я говорил с Кравцом по телефону. У него создалось впечатление, что Волгин вернулся из-за этой девочки, из-за Анастасии. И Кравец не мог запретить ему. Так как задание не было выполнено до конца, он имел все основания вернуться в горы. Это было его право на риск, дело профессиональной чести.

— Да. Я знал Костю. Если он полюбил, значит, девчонка заслуживала этого.

С минуту было молчание. Может, как дань уважения погибшему товарищу. Может, это получилось просто само собой...

— Так, дорогой Золотухин, все-таки мне кажется, что Ковяков сообщил Волгину первую половину пароля, вторую он сообщил другому человеку, который должен был ехать тайно от Волгина и даже следить за ним. Вероятно, этим человеком был Требухов. В момент, когда Волгин получил бы корреспонденцию «до востребования», они повстречались бы, и тот, другой, выбрал бы нужное письмо. Ибо он знал условные слова, которых не знаем мы. Выход один. Писем всего тринадцать. Пионеры не в счет, и строитель индустрии тоже. Остается одиннадцать писем. Следует уточнить, что за люди их авторы. Действуй.

На столе под папками лежали листки, исписанные Графом Вокаловым. И когда Золотухин ушел, Каиров принял папки и подвинул листки к себе.

Граф писал крупным почерком, слегка наклоненным влево, жирно макая перо в чернила, и поэтому буквы вышли сочными и броскими. И читать было легко.

Вначале Каиров откладывал листок за листком, дивясь добросовестности Графа и тем не менее не находя в записях ничего интересного. Но вдруг он вздрогнул, словно коснулся чего-то холодного. И вновь перечитал абзацы, насторожившие его.

«Не знаю, из каких источников Варвара узнала, что у старушки водится золото. Возможно, все это явилось плодом воображения Варвары. Я не высказывал определенного отношения к предложению Варвары, но и не мог отказаться от участия «в деле», чтобы не навлечь подозрений Левки Сивого.

Наконец Варвара прямо высказалась, что пора нанести визит мадам Седых (так она называла старушку — хозяйку квартиры).

Мы работали втроем.

Левка остался на улице. Я и Варвара вошли в подъезд. И я тут же почувствовал беспокойство. И Варвара тоже. Мы остановились, одолев первую ступеньку. Дверь захлопнулась, и свет проходил через окно над дверью, которое было заделано цветными маленькими, размером с половинку кирпича, стеклами. Зеленые и красные пятна лежали на полу и на обшарпанных стенах, словно в подсвеченном аквариуме.

По лестнице кто-то спускался. Секунд через пять мы увидели на площадке сухонького пожилого человека, немного сутуловатого, который, судя по звуку и частоте шагов, спускался довольно легко. Заметив нас, человек остановился, круто повернулся и быстро пошел наверх.

Мы тоже пошли, потому что стоять было дальше неловко. И Варвара и я чувствовали себя скованно. Мужчина поднимался все выше и выше. Наконец на четвертом этаже он вошел, как нам показалось, в сорок первую квартиру — квартиру мадам Седых. Мы точно не видели, куда вошел мужчина. Но были уверены, что скрипнула именно левая дверь. Постояв на площадке, мы так и не рискнули стучать и представляться инспекторами городского жилищного управления. Мы вернулись вниз, а Левке сказали, что не достучались...»

Остальные записи не представляли ничего любопытного, разве что в психологическом плане. А между тем... в Графа Бокалова стреляли.

Каиров перевел взгляд на листок, где были записаны фамилии одиннадцати человек, откликнувшихся на объявление нумизмата, подчеркнул фамилию Седых и поставил против нее жирный восклицательный знак.

14

— Володя, ты смог бы опознать того пожилого мужчину, которого видел в подъезде дома мадам Седых?

— Разумеется, Мирзо Иванович. Тем более что я видел его не только в подъезде, но и в тот вечер, когда Варвара носила книгу в клуб моряков. На обратном пути он повстречался нам на Приморском бульваре. Я сразу шепнул об этом Варваре. У меня гениальная память на лица.

— Проверим, — решил Каиров.

И уже через час Бокалов с Золотухиным, как выразился Граф, «арендовали» комнату Варвары. Из окна отлично был виден шестнадцатый дом на Мойке и подъезд, ведущий в квартиру сорок один.

К Варваре в комнату провели телефон и обещали не отключать, что, естественно, обрадовало хозяйку.

Целый день Золотухин и Граф наблюдали безрезультатно. К вечеру набежали тучи. Стал моросить дождь. Распахнулся ветер... Людей на улице поубавилось. И это облегчало задачу Графа. Но окно сделалось мокрым, и приходилось всматриваться, до боли напрягая глаза.

Вероятно, Граф был человеком везучим. Когда казалось, что темнота вот-вот наступит, наступит раньше, чем зажгутся фонари, Граф сказал:

— Он.

— Ты не ошибся? — спросил Золотухин, глядя на человека, шагавшего под дождем.

— Нет. Смотри, он сейчас свернет в подъезд. Ну? Что я говорил?

Золотухин позвонил Каирову:

— Мирзо Иванович, Бокалов опознал человека, зашедшего во второй подъезд дома шестнадцать. Да, но это, к моему удивлению ...доктор Челни.

— Следите за ним, — сказал Каиров. — Поджидай на улице. Когда он выйдет из дому, пусть Граф сообщит мне по телефону.

Через полчаса Каиров получил у прокурора разрешение на обыск в квартире Седых Ольги Павловны. А также ордер на арест доктора Челни и на обыск в его квартире. Еще четверть часа назад, просматривая материалы расследования обстоятельств отравления механика судна «Сатурн», Каиров обратил внимание, что в момент приготовления завтрака на кухне, кроме повара, находился только один человек, доктор Челни, который снимал пробу пищи.

А еще через некоторое время Каиров установил, что отпечатки пальцев, оставленные доктором Челни на посуде, совпадали с теми, что были обнаружены в комнате Нелли на стеклах книжного шкафа.

15

Доктор Челни вышел из дома мадам Седых черным ходом, через котельную. Нет, он не заметил, что дом находится под наблюдением. Но его чутье, поистине волчье чутье, взывало к осторожности.

Итак, человек, который дал объявление, на встречу не явился. Возможно, он уже задержан. Возможно, нет. Гадать не стоит. На эту явку доктор больше не придет.

Девять лет прожил он в городе, нося личину подточенного годами старика. Доверчивый народ. На последнем году даже в милицейские врачи пробрался. Репутация: умен, спокоен, к больным внимателен. Достойный человек.

Интересно, довольны ли его работой там, за границей. Организовать банды и на первых порах снабдить их оружием ему удалось. Но потом... Не хватило ловких людей, способных переправить боеприпасы из города в горы. Первая осечка вышла на Бабляке. Ему было обещано место на яхте при условии, что он отработает его — займется доставкой патронов Козякову. Бабляк согласился, но после струсил. Хмурый чисто убрал его. Но угро искал Хмурого за старые грешки. Опознал. Привесил хвост. Пришлось ликвидировать. Грубо. В самый последний момент. А заодно с Хмурым и Мироненко. Он мог слышать, как Челни звонил в гостиницу и велел не появляться возле афиши «Парижский сапожник», потому что встреча с этим олухом, Хмурым, была назначена у рекламного щита.

Георгец идиот. Да, ему пришлось работать с такими идиотами, как Георгец, который способен доверить девке важное поручение только потому, что он однажды с ней спал. Пришить бы эту Варвару, да некогда. Пришлось пожертвовать Розой Карловной. И самое печальное — оставить следы...

Челни свернул на Приморский бульвар. Здесь ветер был сильнее и слышался шум волн. Челни с испугом подумал, что, если разыграется шторм, яхта едва ли придет тридцатого. Ветер качал редкие фонари, и круги света прыгали по скамейкам, по голым деревьям, по мокрому асфальту. И представлялось, что это мечется сам бульвар. На душе доктора было очень неспокойно.

Лодочник Кузьмич, как и договорились, ждал его у «бочонка». Возле стойки, прямо на открытом воздухе, пили еще несколько забулдыг. Челни попросил стакан «Букета Абхазии». Отошел с Кузьмичом в темноту.

— Ящики сегодня утопи, — негромко проговорил Челни.

— Все шесть?

— Да.

— Свежевато на море.

— Деньги тебе отправлены по почте.

Кузьмич кивнул, что понял.

Челни допил свое вино. Стакан поставил на прилавок. Купил пачку «Казбека». И пошел дальше. К набережной.

Возвращаться домой он считал опасным. Однако сутки

нужно было где-то отлежаться. Идти к Кузьмичу было верхом неосмотрительности. Его вполне могут задержать, когда он будет сбрасывать в море ящики с оружием. Бродить по городу — не лучший выход из положения. Каиров наверняка объявит розыск.

Есть только одно место, где можно укрыться. По адресу, который оставил Хмурый...

Ноздря встретил его неприветливо. Смотрел с подозрительной настороженностью. Отвечал кратко и негромко, словно ленился раскрывать рот. Но Челни не был обескуражен холодным приемом. Именно таких замкнутых, осторожных людей, как Ноздря, Челни считал надежными, достойными доверия.

Он выложил перед Ноздрей сто рублей и сказал:

— На текущие расходы. Завтра получишь вдвое больше.

Ноздря спросил:

— Где желаете находиться? В доме или в тайнике?

— Веди в тайник, — решил Челни.

Ноздря повел Челни тем же путем, которым когда-то шел Граф Бокалов.

В тайнике было холодно и сыровато.

— Да-а... — поежился Челни.

— Можно электроплитку организовать, — сказал Ноздря.

— Умно. Это было бы очень умно, — согласился Челни.

Вскоре Ноздря принес ржавую электроплитку и узелок с продуктами.

— Ужинайте. — Ноздря вытащил из кармана неполную бутылку самогона. Поставил ее на сундук перед Челни.

В узелке были яйца, хлеб, огурцы, пустой стакан. Челни налил самогону в стакан. И тут он совершил последнюю, роковую ошибку. Может, ему уж очень понравился Ноздря, может, осечка, вышедшая у него с Графом, раздражала, будто заноза, во всяком случае, он сказал:

— Вы знакомы с Графом Бокаловым?

— Да, — ответил Ноздря.

— Не доверяйте ему, он работает на Каирова.

Внешне Ноздря реагировал на предостережение Челни так же «бурно», как если бы услышал:

— Приготовьте галоши, завтра пойдет дождь.

Короче, он даже не шевельнул бровью. Словно Челни ничего и не говорил. Между тем в голове его мелькнула такая мысль: если Каиров подсылал к нему Графа, значит, дела плохи, значит, надо спасать собственную шкуру. А как спасать? Можно ли спасти? Кажется, да.

И, выбрав момент, Ноздря ударил Челни бутылкой по голове. Связал. Очистил карманы. Деньги припрятал в укромное место. Пистолет, какие-то порошки, бумаги завернул в сверток. И пошел к Каирову...

...Лодочник Кузьмич этой же ночью был задержан пограничниками. А еще через сутки чекисты встретили яхту у мыса Косого.

«Дорогая Марфа Гавриловна!

С большой скорбью сообщаю Вам тяжелую весть о геройской гибели Вашего сына и товарища нашего, Лобачева Семена Матвеевича, который бесстрашно и не щадя жизни сражался с белобандитами, отстаивая завоевания рабочих и крестьян.

Ваш сын, Лобачев С. М., был храбрым и сознательным красноармейцем, пользовался любовью и уважением товарищей. Память о нем навсегда сохранится в сердце революционного народа.

Похоронен Ваш сын и наш дорогой товарищ, Лобачев Семен Матвеевич, на кладбище в станице Лабинской.

С командирским приветом!

Комэска Лихоносов

20 ноября 1933 года».

«Здравствуйте, Оксана Петровна!

С большим горем и скорбью спешу сообщить, что муж Ваш, Иван Антонович Поддувайло, геройски погиб в схватке с белобандитами, отстаивая завоевания трудового народа.

Товарищ Поддувайло И. А. был храбрым и сознательным красноармейцем, пользовался уважением друзей. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Похоронен Ваш муж и наш дорогой товарищ, Поддувайло Иван Антонович, на кладбище в станице Лабинской.

С командирским приветом!

Комэска Лихоносов

20 ноября 1933 года».

16

Иван Беспризорный и Боря Кнут родственников и близких не имели.

И опять светило солнце. Здесь всегда так. Сегодня дождь или мокрый снег, а завтра солнце, жаркое, южное. И словно нет на земле никакой осени, нет зимы. Только весна и лето. И небо было голубое. И море голубое. Они сливались совсем незаметно, и поэтому казалось, что город повис в голубом воздухе.

Башенки на железнодорожном вокзале были цвета неба, а все здание — белое и желтое, похожее на дворец какого-нибудь бухарского эмира.

Люди на перроне торговали виноградом, каштанами, вяле-

ной ставридкой и белыми хризантемами. Проводница сказала, что здесь меняют паровоз и стоянка продлится двадцать пять минут, но Анастасия не вышла из вагона, а стояла на площадке прокуренного тамбура. Она знала, что ее должны встречать друзья Кости Волгина, и считала, что на площадке ее легче найти, нежели в толпе у вагона. Анастасия ехала в Гагры, в санаторий, куда была направлена ростовскими врачами, под наблюдением которых она находилась целый месяц.

Золотухин поднимал над головой букет хризантем. Каиров обеими руками прижимал к груди кулек с виноградом из сада старика Надара.

— Я вас узнал сразу, — заявил Золотухин. — У вас внешность героини. Вам нужно сниматься в кино.

Анастасия была бледна. И улыбалась от смущения, но румянец не проступал на ее щеках. И они оставались желтыми, словно из воска. Только глаза были живые. И печальные. Она сказала, что очень тронута. Просила Каирова помочь ей оформить брак с Костей. Она хотела, чтобы ребенок Волгина носил фамилию отца.

Каиров заверил Анастасию, что любил Костю, как родного, и сделает для Анастасии все...

Потом поезд пятился назад. И Каиров, и Золотухин, и еще какая-то женщина, сунувшая ей в руку пакетик конфет, которую мужчины называли Нелли, махали Анастасии. А она стояла на площадке рядом с усатым абхазцем-кондуктором и смотрела на них.

Под колесами загремел мост через зеленую речку с черными от мазута берегами... И Анастасия увидела море. Оно было живое. И от этого еще более величественное, чем на картинах в Третьяковке. Волны шли друг за другом. Большие волны с белыми холками. И разбивались где-то у поезда. Но Анастасия не видела, как разбиваются волны. И лишь брызги попадали ей на лицо. Она знала, что брызги блестят от солнца. И они блестели. И хотелось, чтобы так было всегда.

Гудел паровоз, прикрываясь дымом, как зонтиком. Мельтешили телеграфные столбы. Город удалялся...

Этот незнакомый солнечный город, в котором она не была ни под одной крышей, не бродила по улицам. И все же больше не считала его чужим, потому что там остались люди, которые знали ее, верили ей. Люди — ее друзья!

Туапсе — Москва
1964—1966





П. ШЕСТАКОВ

повесть

СТРАХ ВЫСОТЫ

МАЗИН

— Я узнал, что кошки могут и не ловить мышей, если подворачивается что-то поприличнее.

Мазин не удержался от этой фразы, хотя знал, что комиссару она не понравится, потому что комиссар был человеком простым, старой закалки и любил ясность.

И действительно тот нахмурился:

— Не можешь ты, Игорь Николаевич, без шуточек. А у меня это дело знаешь где сидит?

— У меня тоже...

— Вот и получается, что не до шуток.

— Я не шучу. Просто сообщаю, что знаю.

— Немного ты узнал.

Комиссар сказал без осуждения, фиксируя факт.

— Может, и это пригодится.

— Насчет кошек, что ли?

Мазин почувствовал иронию, но все-таки полез в карман и вынул записную книжку в затрепанной обложке. Полистал ее и, найдя нужную страницу, прочитал, вглядываясь в чужой почерк:

— «Считается, что природа целенаправленна. Например, кошки существуют для того, чтобы уничтожать избыток мышей. Но ведь кошка, которую кормит хозяин, почти никогда не ловит мышей. Ей просто наплевать на свое назначение».

— Что за философия на мелком месте?

— Это записная книжка Антона Тихомирова.

— Негусто для доктора наук.

— Не Гегель, конечно. Но попадаются и более интересные записи.

— Ну? Тоже про кошек?

— Частично. Про кошек и людей. Вот... «Видимо, бесчисленное количество видов живого — следствие длительных неудач природы в попытках создать наиболее высокоорганизованную модель. С этой точки зрения кошка — одна из неудачных моделей, и только, а вовсе не часть целесообразного целого. Ее создали в порядке эксперимента и постарались забыть о ней, как о всякой неудаче. Относительной удачей стал человек, но и его нельзя признать совершенной моделью. Одна из ее слабейших сторон — разрыв между сознанием и управлением. Никто не может всегда подчиняться воле и разуму. Больше того, основанное на инстинктах «самоуправление», как правило, находится в противодействии с попытками управления сознательного».

Комиссар смотрел угрюмо.

Мазин закрыл книжку.

— Все?

— Нет, есть и еще.

— Ну, это в другой раз. В нерабочее время.

Он ждал, что Мазин проявит настойчивость, но тот только вздохнул, и комиссар смягчился.

— Да не смотри ты на меня как на бурбона! Понимаю я все не хуже тебя! Вижу, что разобраться ты в этом человеке пытался. Но мы ж с тобой не вольные художники. Нам результаты нужны. Сроки жмут. Дел целая куча. Преступнику-то, ему невдомек, что Игорь Николаевич Мазин в психологию ушел. Не знает он этого и не ждет, пока ты с Тихомировым разберешься. Он свое дело делает, а нас с тобой за это по головке не гладят. Ну да что я тебе все, как маленькому, толкую. Сам знаешь!

Мазин знал, разумеется. Он поднялся и слегка развел руками.

Комиссар передвинул тяжелое пресс-папье с одного конца стола на другой.

— Вот если б он в своей книжке написал, что его убить собираются. Или что самому жить надоело. Ничего там такого нет?

— Нет, — ответил Мазин, хоть было это, на его взгляд, не совсем так. Впрочем, того, о чем спрашивал комиссар, там действительно не было.

— Ну и слава богу. Мы люди не кровожадные.

— Но, может быть, я шел по шаблону? Спрашивал себя: могли ли его убить? Видимо, нет. Были ли основания покончить с собой? Я их не нашел. Остался один вариант — несчастный случай.

— Вот видишь!

— Но за каким чертом, спрашивается, человеку среди ночи лезть на подоконник?

— Да хотя бы гвоздь забивать!

— Гвоздей, между прочим, там никаких не было. Но не в этих деталях дело. В конце концов, в жизни случается всякое. Беспокоит меня другое — Тихомиров этот остался недоговоренным каким-то, безликим, схематичным, не ощутил я его.

— Пошел бы в морг да пощупал.

Мазин чуть поморщился.

— Все повторяли о нем одну и ту же фразу: «...Молодой, способный, талантливый, как жаль!» И ничего больше.

Комиссар вдруг улыбнулся.

— Это ты Агаты Кристи начитался. Забыл я, как повесть называется. Там Пуаро жалуется, что о мертвых все говорят только хорошее и потому трудно узнать правду.

— Могу его понять, хоть и не читал повесть.

— Там совсем другая ситуация. Преступление! А несчастье может с любым случиться, хоть злодей ты, хоть праведник.

— И все-таки мне кажется, что совершенно случайных смертей не бывает. Каждая завершает жизнь и вытекает из жизни, из характера. Трус получает пулю в спину, а храбрый — в сердце.

— Чепуха! Я на фронте видал героев с осколками в заднице... А те, кто под трамвай попал?

— Даже под трамваем! И здесь сказывается человеческая индивидуальность — рассеянность, нервы...

— Прекрасно! — Комиссар потер крепкими ладонями. — Все совпадает. Представь себе его состояние после защиты. Вот тебе и нервы. Да еще выпивши!

Но Мазин покачал головой.

— Нет, на Тихомирова это непохоже.

— Ты же о нем ничего не знаешь. «Талантливый, как жаль...» И все! Сам говорил.

Мазин посмотрел на записную книжку, которую еще держал в руках.

— Немного знаю.

— Ну и что он за человек, по-твоему?

— Тихомиров был из того сорта людей, которые все пытаются продумать. Что, между прочим, делает далеко не каждый. Он был очень рассудителен. Даже излишне. Может быть, во вред себе. Но иначе не мог. Так уж был устроен. Для него система значила очень много. Он все выводил из систем, выдумывал системы, но держался за них прочно. В жизни такого человека фактор случайного сводится к минимуму... И вдруг сверхвульгарная случайность — свалиться из окна!

— Тем она, философия, и кончается.

Комиссар был не так уж груб и прямолинеен, но любил пококетничать.

Мазин покачал головой.

— Ну хотя бы он попал под машину. Это действительно может случиться с каждым. Но окно... Трудно представить.

— А выкинуть здорового парня в окно, думаешь, легко?

— Можно не выкидывать, а просто толкнуть.

— Зачем?

— Не знаю.

— Вот видишь! Зачем и кому понадобилось убивать Тихомирова, ты не знаешь. Хотя повозился достаточно. Я тебя не упрекаю. Возился, чтобы убедиться: не было людей, желающих смерти Тихомирова. Значит, не убийство. Самоубийство? Тут и вовсе не сходится. В тридцать пять лет парень защищает докторскую диссертацию, перед ним все дороги открыты, а он в этот самый день выбрасывается из окна? На такое не каждый сумасшедший решится.

Мазин не возражал.

— Потому мне и хочется добраться до истины.

— Истина известна — несчастный случай.

Все, что говорил комиссар, было неоспоримо. Тихомирову незачем было прерывать свою жизнь, его некому было убивать. И хотя он совсем не походил на растяпу, который может вывалиться из окна, Антон Тихомиров умер. Мазин сам видел его на асфальте и врача, который провел ладонью по лбу и сказал: «В морг!»

Это был факт. У тех, кто знал Тихомирова, он вызвал естественную реакцию — убит! Но когда шок остался позади и разум возобладал над эмоциями, даже наиболее горячие головы в институте, где Тихомиров работал, отрезвели. А почему бы и не несчастный случай? Комиссар учитывал, конечно, эту перемену в настроении и понимал, что теперь ни его, ни Мазина никто не упрекнет. В конце концов, следствие

было проведено основательно, и вел его очень опытный работник.

— Ты, кстати, в этом году в отпуске не был?

Мазин удивился неожиданному вопросу.

— Не был.

— Зря. Сейчас, конечно, время не лучшее, но отдых — он всегда отдых. Без него нельзя.

— А преступник?

— Какой преступник?

— Да тот, что ничего не знает и свое дело делает. Или он тоже в отпуск собрался?

Комиссар улыбнулся.

— Преступник — он двужильный. Без выходных работает. Так что тебе его не пересидеть. Я так думаю, по секрету: нас с тобой уже не будет, а сменщикам нашим работка найдется. — И добавил серьезно: — Хвостов у тебя сейчас, кажется, нет?

— Антон Тихомиров.

Комиссар вышел из-за стола и положил короткую руку на плечо Мазина.

— Тихомирова, Игорь Николаевич, закрывай. В дебри мы с ним забрались.

Это было приказание, и Мазин не мог назвать его необоснованным. Однако он счел нужным подчеркнуть, что подчиняется дисциплине.

— Слушаюсь.

— То-то.

Комиссар вздохнул облегченно. Видно, он убеждал не только Мазина, но и самого себя. Но так или иначе с неприятным вопросом покончено.

— Так когда отдыхать пойдешь?

Мазин посмотрел в окно. По крыше стучал осенний дождь. «Не мед, конечно, но раз уж проморгал лето...»

— Чем раньше, тем лучше. До июля все равно далеко.

— Медицина считает, что зимний отдых более полезен.

— Зиму еще подождать надо.

Комиссар перехватил его взгляд.

— Осенью тоже не каждый день льет. И вообще вы, молодые, не цените жизнь как следует. Июль вам подавай или август, а остальное никуда не годится. С годами только понимаешь, что каждый день хорош по-своему, но, пока поймешь, мало их остается, дней этих.

Мазин знал слабость начальника. Всех моложе пятидесяти он считал молодыми. Впрочем, может быть, это и ло-

гично. Считает же сам Мазин молодыми тридцатилетних...

— Июль я как раз и пропустил. Ладно, давайте ноябрь.

Так неожиданно закончился этот разговор. И Мазин не знал даже, радоваться такому повороту событий или огорчаться. Только инстинкт подсказывал ему, что в деле Тихомирова не поставлена еще последняя точка. А может быть, и инстинкта никакого нет, а устал просто — отсюда и это беспокойство, сомнение в себе? Тогда отпуск в самом деле очень кстати. Он вернулся в кабинет и задумался. Записная книжка Тихомирова оттягивала карман. Игорь Николаевич достал ее и открыл наугад.

«И все-таки человек — это машина с ограниченными возможностями, хотя мы и не знаем пределов этих возможностей».

«Если б он мог еще писать, то прибавил бы что-нибудь вроде: «Человек — это машина, которую нельзя бросать с шестого этажа», — подумал Мазин с мрачноватым юмором. — Но высокоорганизованная машина может выброситься и сама. Или не может? Ладно! Точка!»

Он выдвинул ящик и взял лист бумаги. Написал крупно: «Постановление», потом обычную шапку с обозначением места, именами и датами. Помедлил минуту, но уже не колеблясь, а просто подбирая нужную формулировку, кратко изложил суть дела.

«Принимая во внимание вышеизложенное... смерть Тихомирова А. Д. наступила в результате несчастного случая». Поморщился, выводя казенные слова «выпадение из окна», и закончил быстро, привычной фразой: «Дело прекратить за отсутствием состава преступления». Подписал коротко и твердо: «И. Мазин».

Потом размашисто написал заявление об отпуске, свернул обе бумаги трубочкой и пошел к комиссару. По коридору дежурный нес почту.

— Мне есть что-нибудь?

— Письмо, кажется.

— Оставьте на столе, пожалуйста!

Через пять минут комиссар поставил в углу заявления резолюцию. Мазин передал его машинистке, чтобы та напечатала приказ, и вернулся в кабинет.

На столе лежали газеты и письмо в дешевом синем конверте без картинки. Такие конверты напоминали военные годы. Но тогда это была почти роскошь, обычным считался треугольник. На конверте полупечатными буквами были выве-

дены адрес и фамилия. Обратного адреса не было. Мазин посмотрел почтовый штемпель. Письмо оказалось местным. Он взял ножницы и отрезал край конверта. В нем была записка.

«Антон! Нам необходимо встретиться. Речь идет не обо мне. Приду сегодня обязательно, как бы поздно ты ни вернулся. И.».

Внизу стояла дата: «23 августа». Это был день смерти Тихомирова. Мазин внимательно осмотрел листок, но не нашел на нем больше ни слова. И вообще ничего больше в конверте не было. Он положил записку и попросил по внутреннему телефону приемную комиссара.

— Леночка?

— Да, я, — ответила машинистка.

— Вы уже напечатали приказ о моем отпуске?

— Напечатала, сейчас дам на подпись и отнесу в бухгалтерию. А что?

Мазин помедлил с ответом и вдруг неожиданно для самого себя сказал:

— Нет, ничего. Давайте на подпись.

Он положил трубку и усмехнулся. Ему пришло в голову нечто забавное.

На другой день Мазин лежал дома на диване и читал в журнале роман английского писателя. События в романе происходили на тропическом острове, правитель которого мог показаться фигурой опереточной, если б не проливал столько крови. А среди тех, кого убили, был иностранец с неприметательной фамилией Джонс и темным прошлым. Одни считали его ловким проходимцем, другие — героем, многим он нравился, а был просто слабым человеком, мечтавшим о том, чего сделать не мог.

Джонс, собственно, не занимал центрального места в романе, но почему-то именно он привлек внимание Мазина, может быть, потому, что Мазин не раз встречал людей, казавшихся совсем не такими, какими были на самом деле. Но вообще-то ему было не до чтения. Он пытался восстановить факты, связанные с делом Тихомирова.

Первая запись в блокноте Мазина появилась, когда профессор Рождественский пытался объяснить ему важность темы, над которой работал Тихомиров.

Профессор был таким, каким представляют ученых по книжкам и кинофильмам. Бородка. Благородная седина и немного грассирующий говор. И конечно же, вежливость и предупредительность.

— Собственно, идеи работы Тихомирова не новы, уважае-

мый Игорь Николаевич. — Он сразу запомнил, как зовут Мазина, и этим, пожалуй, отличался от своего кинематографического стереотипа, безусловно рассеянного. — Принадлежат они нашей отечественной науке, но, увы, вы понимаете, — он погрустнел, — та туча, так сказать, что прошла над генетикой, она не оставила без последствий... Поэтому так радостен каждый бросок на новые рубежи. И так огорчительно то, что произошло. Антон Дмитриевич мог, несомненно, вырасти в талантливейшего ученого.

«Способный ученый», — отметил Мазин.

— Речь идет об эволюционной биохимии. Весьма, весьма перспективная отрасль знания. Но фундаменты уходят далеко вглубь. Антон Дмитриевич разрабатывал творческое наследие Константина Романовича Кротова.

— Кротова?

— Да, да. Осмелюсь заметить, моего близкого друга в свое время. Увы, он не дождался, не перенес, так сказать, горьких разочарований, выпавших на его долю, но он был бы очень рад... И я, как его друг, считал своим долгом помочь талантливому юноше. Мы единодушно решили, что работа Тихомирова заслуживает докторской степени. Конечно, это был большой сюрприз для молодого человека. В соответствии с положением ему было предложено представить свою диссертацию к новой защите, уже как докторскую.

— Следовательно, у Тихомирова не было причин расстраиваться в этот день?

— Ну что вы! Огромный успех. Далеко не каждый ученый может рассчитывать... Случаи, когда диссертация, представленная к защите как кандидатская, удостаивается права считаться докторской, буквально единичны! И вдруг такая ошеломляющая развязка... Простите, я совершенно не могу прийти в себя.

«Редкий случай. Эволюционная биохимия. Идеи Кротова» — вот, кажется, и все, что мог прочитать Мазин в своем блокноте. Нет. Еще выводы.

«Молодой (для доктора). Для кандидата, пожалуй, не очень. Способный, пользовался поддержкой (никакой борьбы с рутинерами). Никаких оснований для недовольства, а тем более для отчаяния. Во всяком случае, по линии общественной».

А по личной?

«Инна Кротова». Подчеркнуто...

— Я вынужден побеспокоить вас, Инна Константиновна, но я хочу, чтобы вы меня правильно поняли.

— Я понимаю вас. Вы выполняете свой служебный долг.

— Да. Нам необходимо установить обстоятельства смерти Антона Дмитриевича Тихомирова.

— Чем я могу быть полезной?

— Вы знали Тихомирова?

— Знала... очень близко в свое время.

Она смотрела ему прямо в глаза, сжимая и сгибая тонкими пальцами резинку, лежавшую на столе.

— Успокойтесь, пожалуйста. Я только прошу вас помочь следствию. Вы вправе сказать лишь то, что найдете нужным.

— Благодарю вас.

— Я выяснил, что дела научные у Тихомирова шли на редкость успешно, но не было ли у него травмы личной, каких-либо личных обстоятельств, осложнивших его жизнь?

— Нет, насколько мне известно. Антон умел и в личной жизни так же последовательно добиваться поставленных целей, как и в науке. Хотя мои сведения устарели. Возможно, его невеста могла бы сообщить вам что-нибудь более существенное.

Это был трудный разговор с отвергнутой женщиной. Но она держалась очень хорошо. Только под конец нервы подвели ее.

— Вы дочь известного биолога Кротова?

— Да.

— Труды вашего отца...

— О трудах отца мне бы не хотелось говорить. Я искусствовед, а не биолог.

Запись после разговора:

«Личная жизнь тоже без осложнений. Имел любовницу, жениться решил на другой, но разрыв без драмы. Видимо, взаимное разочарование. Хотя женщина, естественно, оскорблена».

Слово «разочарование» Мазин позже зачеркнул и написал сверху: «Охлаждение».

И еще запись:

«Невеста — Светлана. Похожа на девушек, что любят фотографировать корреспонденты на комсомольских стройках. Даже с косой».

— Вы собирались выйти замуж за Антона Тихомирова?

— Я любила его.

Она всхлипнула.

— Тихомиров был старше вас?

— Да, на десять лет.

— И вы понимали, конечно, что у него бывали и увлечения, и более серьезные отношения с женщинами?

— Он был женат. Он мне говорил.

О жене Мазин услыхал впервые.

— Как он объяснил свой разрыв с женой?

— Они разошлись давно, четыре или пять лет назад. Они оказались разными людьми.

— И только?

— Разве этого мало? — спросила она с наивностью молодости.

— Это все, что он говорил вам о своей прежней семье?

— О прежней жене он говорил мало. Он говорил, что если люди расходятся, то не должны унижать друг друга упреками, потому что оба несут ответственность.

— Что ж, разумно. А об Инне Кротовой вы тоже знали?

— У Антона не было тайн от меня.

— Что же он говорил вам о Кротовой?

— Они дружили с детства. У них были сложные отношения, но они оба ошибались. Ему очень не везло в личной жизни, и я очень хотела, чтобы со мной он был счастлив.

— И он был с вами счастлив?

— Конечно. Хотя мы и не успели зарегистрироваться.

— Вы часто виделись?

— Да, каждый день.

— Вам не казалось, что Тихомиров чем-то угнетен, обеспокоен?

— Со мной он всегда был спокоен.

— А не было у него врагов, завистников, например?

— У Антона враги? Что вы?!

Этот же вопрос он задал Игорю Рождественскому. И тот ответил так же:

— У Антона? Враги? Что вы?

— Вы, Игорь Анатольевич, знали Тихомирова лучше других. Он был вашим другом, не так ли?

— Другом? Да. Был. Мы выросли в одном дворе. Я, он и Инна Кротова. Он очень нравился ее отцу. Старик с ним всегда возился. Книжки подбирал интересные и покупал шоколадные конфеты. Антон был сладкоежкой.

— Это было еще до войны?

— Да. Когда война началась, мы эвакуировались, Кротовы остались, Антон с матерью уехал в деревню к родственникам. Я его лет десять не видел. Потом он появился с медалью. Кончил какую-то сельскую школу и приехал поступать в университет. Но тогда мы тоже виделись редко. Он

запоздал со школой и учился на два курса младше. Жил в общежитии.

— А с Инной Кротовой они встречались в то время?

— Нет, они не могли встречаться. Она училась в Ленинграде.

— Как учился Тихомиров?

— Хорошо.

— Но в аспирантуре его не оставили?

— Нет.

— Почему?

— Время свою роль сыграло. Он был неосторожен, называл Кротова гениальным ученым. А Кротов считался менделистом. Вот и не оставили.

— Это обидело Тихомирова?

— Не знаю. Он к земле стремился. Говорил, что истинная лаборатория именно там. И женился как раз. Вместе и уехали.

— Долго он проработал на периферии?

— Года три или четыре.

— Тихомиров вернулся, чтобы поступить в аспирантуру?

— Да. К этому времени генетику начали реабилитировать понемножку.

— А жена осталась в деревне?

— Да. Они разошлись.

— У них были дети?

— Один ребенок. Сын.

— Тихомиров помогал семье?

— Видите ли, как аспирант, он не имел больших возможностей, но помогал, я думаю.

— А Инна Кротова...

— Тут я не могу быть вам полезен. Их отношения меня не интересовали.

В этом стоило усомниться, но если парень не хочет копаться в белье друга... Да и стоит ли там копаться?

— Что бы вы могли сказать о Тихомирове в двух словах? Каким он вам казался?

Рождественский подумал.

— Как спортсмен я всегда ему завидовал. Мне не хватало его настойчивости. Если б он занимался спортом, то мог бы достичь многого.

«Что-то вроде этого говорила и Инна.

Но такие люди не кончают жизнь самоубийством! Зато их иногда убивают.

Как же все это произошло, черт возьми?»

В тот день Антон Тихомиров защищал диссертацию. Кандидатскую, которую подготовил уже давно. Но почему-то откладывал защиту. Ссылался на необходимость поискать новые факты, новые данные. И нашел, потому что, когда диссертация была представлена к защите, оппоненты высказались единодушно — рамки кандидатской превзойдены, речь идет о большом вкладе в науку, диссертацию можно считать докторской...

Дело было в августе, жара еще не спала. Рождественский жил на даче у отца за городом, а его новая кооперативная квартира в высотном доме пустовала. У Тихомирова квартиры не было. Только комната в общежитии.

— Почему Тихомиров жил в вашей квартире?

— У него были неважные условия в общежитии, и он попросил меня. Чтобы готовиться к защите.

— Он только работал у вас на квартире или ночевал там?

— Иногда, даже часто. Во всяком случае, я не запрещал ему.

— Бывали у него посторонние люди?

— Что значит «посторонние»?

— Люди, которых бы вы не знали? Или о которых не знали? Женщины?

Рождественский пожал плечами.

— Об этом лучше спросить соседей.

— Я интересуюсь не из праздного любопытства.

— Именно поэтому я и не хотел бы заниматься сплетнями. Ведь вас интересуют факты?

В самом общем виде они выглядели так.

После защиты был, как полагается, банкет. Закончился он рано, часов в одиннадцать. Потом Тихомиров поехал домой, вернее — на квартиру Рождественского. А в половине пятого сторож увидел его труп. Экспертиза установила: смерть наступила в результате падения, никаких следов борьбы, насилия не обнаружили. Правда, труп был не в лучшем виде. Все-таки шестой этаж. И в комнате все оказалось в порядке. Ничто не похищено. Ничто не свидетельствовало о насильственной смерти. И никакой записки о самоубийстве. Но зачем лезть на подоконник среди ночи? Мало ли что пьяный может натворить? Однако Тихомиров был не из тех, кто напивается до чертиков.

— Он всегда знал свою норму, — сказал Рождественский. — Стакан коньяку или бутылка сухого для такого парня чепуха. Только веселел немножко.

— Но тут банкет, особый случай.

— Я бы не назвал это банкетом. Формально диссертация не была утверждена как докторская. Поэтому все проходило скромно. Товарищеский ужин, закрепляющий определенный этап, и только.

— Людей немного?

— Официальные лица. Старички в основном. Напиться было немыслимо.

— А женщины?

— Женщин не было.

— Даже Светланы?

— Я же сказал.

Все у него получалось логично. И сходилось с показаниями остальных...

— Вы присутствовали на защите, Светлана?

— Нет.

— Почему? Человек, с которым вы связываете свою жизнь, не пригласил вас на такое событие?

Ее не смутил этот вопрос.

— Он просил меня не приходить.

— Вот как!

— Он сказал, что защита ответственная и ему нужно быть очень собранным. Он сказал: «Если я увижу тебя в аудитории, я буду думать о тебе больше, чем о диссертации, и эти старики меня на чем-нибудь поймают».

Что ж, и здесь была какая-то логика.

— Простите, и больше вы не видели Тихомирова?

— Нет.

Пауза.

— Только говорила с ним по телефону.

— О чем?

— Он позвонил из ресторана. Сказал о своем успехе, что ужин скоро кончится... и звал приехать к нему.

— На квартиру Рождественского?

— Да. Но я не поехала.

— Почему?

— Что вы! Ночью, одна, в чужую квартиру!

— А куда он звонил вам?

— В общежитие.

— По общему телефону?

— Да.

— Ваш разговор кто-нибудь слышал?

— А то нет! Вы нашего Цербера не знаете. Мы так вах-

тершу зовем. Она слышит, кто о чем думает, не то что говорит по телефону.

— А не носил ли разговор характер ссоры? Не мог он вывести вашего жениха из себя?

— Что вы! Антон был так счастлив!

— Но ваш отказ...

— Я ведь отказалась не потому, что не хотела его видеть.

— Конечно. Вы просто сочли такую встречу не совсем удобной?

— Именно. И он понял меня...

— Не помните, Игорь Анатольевич, звонил кому-нибудь Тихомиров из ресторана?

Ответ не сразу.

— Кажется, звонил. Да, да, звонил.

— Не знаете кому?

— Светлане.

— О чем они говорили?

— Я не подслушиваю чужие разговоры.

— Простите. Но вы последний, кто видел Тихомирова живым, поэтому ваши сведения особенно важны.

— Я рассказываю все, что знаю, а чего не знаю, рассказывать не считаю возможным.

— Это правильно, конечно. Итак, после банкета или небольшого ужина, как вы его назвали, Тихомиров отправился на вашу квартиру. А куда пошли вы?

Вместо ответа он спросил:

— Разве это имеет отношение к делу?

— А разве это тайна?

Рождественский усмехнулся.

— Только от милиции. Но если вы гарантируете мне прощение... Наверно, у вас есть какие-то смягчающие правила для раскаявшихся преступников?

— Смотря какое преступление.

— Преступления, собственно, не произошло. Но, с вашей точки зрения, оно могло произойти.

Мазин понимал, что речь идет о какой-то чепухе, но не знал, подлинная это чепуха или выдуманная.

— Хорошо, рискните! Повинную голову меч не сечет.

— Видите ли, я поступил несколько легкомысленно. Я приехал в ресторан на машине. Ну и, естественно, оттуда ехал

тоже на машине, будучи, как это у вас говорится, в состоянии легкого опьянения.

— Если легкое...

— Поэтому меня и затруднил ваш вопрос. Но, надеюсь, за давностью проступок заслуживает снисхождения?

— Если вы обещаете впредь...

— Клянусь собственными хромосомами!

Рождественский оживился и попытался шутить.

«Неужели его в самом деле беспокоил этот случай?»

— Где вы ночевали?

— У отца на даче.

— Вы поехали туда прямо из ресторана?

— Нет, заехал к одному человеку. Если позволите, я не буду его называть.

— Женщина?

— Да. Но я не застал ее, поэтому она не сможет подтвердить моих слов. Зато дальше у меня есть настоящее алиби.

— А вам требуется алиби?

— Наверное, раз вы интересуетесь моей особой. Так вот, по пути я вспомнил, что на даче нет ни капли спиртного, магазины были уже закрыты, и я решил заехать в ресторан «Кавказ», чтобы попросить бутылочку коньяку. С собой, разумеется.

— Это и есть ваше алиби?

— Совершенно верно. Мы очень мило беседовали там с Адмиралом. Это такой представительный мужчина — швейцар. Он похож на адмирала Макарова.

— В котором часу вы беседовали?

— Честно — не помню. Я ведь не думал, что это понадобится.

Что же осталось в блокноте от этого разговора? Немного: «Адмирал подтвердил».

— Давно вы работаете в ресторане?

— Двенадцатый год.

— Хорошо знаете Рождественского?

— Бывает он у нас.

— Продали вы ему коньяк?

— Упросил. Я не хотел выносить — не положено это. А он говорит: «Уважь, папаша, старого клиента. Друг у меня отличился». Ну, уважил... Вижу, промок совсем парень.

— В котором часу это было?

— Разве упомнишь? Помню, что дождь лил, вот и все.

Был ли еще жив в это время Тихомиров? Земля под его телом оставалась сухой. Значит, он погиб раньше, чем на-

чался дождь. Но квартира далеко от ресторана, и дождь мог лить не везде одновременно. А если Тихомиров был жив, то кто находился с ним в квартире? Или никого? Один?

Мазин вспомнил квартиру Рождественского. Обыкновенная современная квартира из двух комнат. С хорошей планировкой. Комнаты отдельные. Кухня. Два балкончика. Один из большой комнаты, общий с соседями, перегороженный металлической решеткой, заплетенной повителью. Другой — маленький, в кухне. На двери этого балкона Мазин увидел английский замок.

— Зачем здесь замок? — спросил он у Рождественского.

— Антон повесил. Боялся, что меня ограбят.

— На шестом этаже?

— Рядом пожарная лестница. Я говорил, что чепуха это. А он: «Береженого бог бережет. Ночую я не каждый день и за твое имущество отвечать не намерен». И купил замок.

В ту ночь дверь была заперта. Мазин вспомнил, как он повернул замок и вышел на балкончик. Лестница в самом деле проходила рядом. Он вернулся через кухню в комнату, которую Тихомиров покинул таким необычным способом. Только там было открыто окно, и на подоконнике сохранились неясные следы ботинок Тихомирова, собственно, одного ботинка. Дождь их почти смыл.

Рождественскому эта комната служила кабинетом и спальней. С одной стороны стояли тахта и письменный стол, с другой — стеллажи с книгами. На стене висел портрет мужчины средних лет в очках, старинных, без оправы. Грегор Мендель. Кажется, он разводил горох в монастырском садике. Горох разводят многие, но ему удалось заметить то, чего не замечали другие: увидеть за случайностью закономерность. И Мазину тоже нужно было заметить что-то в этой обыкновенной комнате.

А он не заметил.

Не заметил следов автора записки.

Вообще-то следов было достаточно. По немытой посуде, по смятым подушкам на тахте, по окуркам в пепельнице нетрудно было заключить, что сюда приходили многие. Однако все это был лишь обычный холостяцкий беспорядок, следы людей, приходивших в разное время и, самое главное, не скрывающих своих следов. Не повезло и с соседями. Ближайшие уехали в отпуск. Другой вернулся в ту ночь поздно и сразу лег спать — ничего не слышал. Внизу слышали шаги по комнате, но утверждать, что ходили двое, не могли.

Так кто же приходил сюда и связан ли этот визит со

смертью Тихомирова? Мазин не знал. Но существует человек, которому это известно. Он переслал записку. Зачем?

Дальше идти приходилось ощупью. Записка означала, что в день смерти Антона Тихомирова с ним хотел повидаться близкий, видимо, человек по какому-то важному делу.

Или... кто-то хочет убедить в этом Мазина, сфабриковав записку. Так или иначе приславший письмо заинтересован, чтобы следствие пошло по нужному ему пути.

Значит, есть в обстоятельствах смерти Тихомирова что-то выходящее за рамки простой случайности, и есть люди, которым небезразлично, к каким выводам придет следователь. Но хотят ли они помочь открыть истину или, наоборот, запутать его, чтоб отвести возможное подозрение?

Это, пожалуй, первый из десятка вопросов. Важных и таких, что не кажутся важными, но могут стать очень важными.

Правда, Мазин был склонен считать записку подлинной. Написана она давно. Видно это и без экспертизы: отлежавшиеся сгибы, поблекшие карандашные буквы...

Ну а дальше?

Как попала записка в руки переславшего ее человека?

Читал ли ее Тихомиров?

Состоялась ли его встреча с И.?

Кто такой И.?

Или такая?

Ведь Рождественского зовут Игорь, а Кротову — Инна... Ответить на эти вопросы было пока невозможно. Требовались факты. Но Мазин знал, что удача, как и несчастье, не приходит в одиночку. Если лед начал трескаться, он скоро тронется. И он не собирался ждать ледохода на берегу. Он встал с дивана, накинул плащ и вышел на улицу.

Дом, в котором жил Рождественский, вместе с четырьмя такими же девятиэтажными зданиями замыкал новый проспект Космонавтов. Мазин добрался туда троллейбусом. В часы «пик» тут бывало горячо, но в середине дня троллейбус шел почти пустым, и Мазин с интересом поглядывал на дома, которых не было год назад. Последняя остановка находилась на месте будущей площади, и в газетах не раз печатали всевозможные проекты устремленных ввысь бетонных, алюминиевых и стеклянных сооружений, призванных открыть здесь ворота в город и показать иностранным туристам наши достижения. Однако пока к остановке приходилось пробираться тропами, проложенными волевым способом по густо замешен-

ной грязи. Иностранцев, к счастью, в это время года бывает мало, и тропами двигался свой, привыкший к временным неполадкам народ. Мазин включился в чисто аргонавтов, подумав, что неплохо было бы установить на площади наряду с другими сооружениями, памятник неизвестному пешеходу, потерявшему в грязи галоши. Но мысли эти покинули его, как только он ступил на твердый асфальт.

Мазин имел все основания полагать, что не застанет Рождественского дома, и это его вполне устраивало, потому что к встрече он был не готов, да и сам визит мог показаться тому странным, особенно если Рождественский знает, что Мазин в отпуске. А отпуск Игорь Николаевич решил не откладывать, хотя теперь-то комиссар, пожалуй, и не стал бы торопить с окончанием дела. Мазину хотелось, чтобы тот, кто переслал записку, решил, что все кончено и тревожиться больше нечего. Конечно, об этих соображениях следовало сообщить начальству, но Мазин рассчитывал подготовить к докладу нечто большее, чем анонимная записка.

Между домами находилась асфальтированная площадка, на которой стояло несколько забрызганных грязью автомобилей. Мазин узнал среди них черную «Волгу» Рождественского и вдруг почувствовал себя неуверенно: «Какой-то частный детектив!» И он проникся к ним сочувствием, к этим частным сыщикам. Каждый имеет право послать тебя к чертовой матери. Нет, совсем другое дело, когда ты можешь полезть в карман и достать... не револьвер, конечно, а служебное удостоверение. С такой книжечкой гораздо легче. Но сегодня она осталась дома. И если б даже не осталась, помочь не могла. Следствие-то закончено.

— Здравия желаю, товарищ начальник!

Мазин обернулся.

Он стоял рядом с машиной Рождественского, а приветствовал его старик в армейском дождевике. Мазин не сразу узнал его в этой длинной плащ-накидке защитного цвета.

— Здравствуйте.

— Не угадываете?

— Вы сторож, Василий Прокофьевич?

— Так точно, — заулыбался старик, довольный тем, что его узнали. — Так сказать, первый ваш свидетель.

Это он, сторож, увидел утром мертвого Тихомирова на газоне под окном.

— Не найдется ли папироски у вас, товарищ следователь?

— Сожалею, Василий Прокофьевич, но некурящий.

Мазин испытывал досаду. Ему хотелось походить здесь од-

ному, а теперь Рождественский наверняка узнает о его визите, а в этом-то уж никакой пользы нет. Разве что попросить старика помалкивать?

Сторож между тем был явно рад встрече и вел себя по-свойски. От Прокофьича попахивало.

— Вот это вы совершенно правильно делаете, товарищ начальник!

— Что правильно? — не понял Мазин.

— А что не курите. Американская наука установила точно: рак от этого дела бывает.

— Откуда вы про американскую науку знаете?

Сторож обиделся.

— Что ж вы думаете, как я сторожую, так я темный совсем? Да у меня сын майор, если хотите знать. Одних газет на двадцать пять рублей выписывает. А сторожую я, чтоб пользу приносить, а не от невежества.

И старик достал из-под плаща пачку сигарет.

— Про науку слыхали, а курите, — усмехнулся Мазин.

— Вот это, прямо скажу, от слабости характера, — охотно признался Прокофьич. — Потому наука одно, а человек — другое совсем дело. И наука это теперь признает.

«Пожалуй, в отпуске можно позволить себе и поболтать», — решил Мазин, не видя пока выхода из создавшегося положения.

— Что ж она признает?

— А то, что человек от генов зависит! — заявил старик с торжеством и сунул сигарету в редкозубый рот. — И выходит, у кого какой ген, то тому и суждено!

— Это не Рождественский вас просветил? — спросил Мазин, подивившись такой своеобразной гипотезе.

Перед ветровым стеклом «Волги» покачивался на шнурке красно-черный чертик.

— И с ним беседовало. Я, признаться, грешным делом, умных людей уважаю и всегда рад новенькое узнать что-нибудь.

— Как же вы познакомились?

— Да иногда за машиной его присматриваю. Гаража-то тут нет пока, вот меня люди и просют: присмотри, Прокофьич, все равно сторожуешь. И то правда, почему человеку хорошему навстречу не пойтить?

— А Рождественский хороший человек?

Старик глянул на Мазина с опаской.

— Это как понимать, в служебном порядке интересуетесь или просто так, по-человечески?

— По-человечески, — заверил Мазин и подумал, что частный розыск имеет, пожалуй, и свои преимущества.

— Если по-человечески, то прямо скажу — обходительный и уважительный. Никаких насмешек не строит, как некоторые. И машина у него в порядке всегда, аккуратный человек. А позвольте спросить, история-то эта закончилась уже?

Прокофьич понизил голос, произнося последние слова.

— Закончилась.

— Черт попутал парня, выходит?

— Да, несчастный случай.

— Точно, точно. Зачем он только на окно-то полез?

Мазин пожал плечами.

— Гвоздь забивал.

— Это среди ночи-то? А хотя может. Этот может.

— Вы и Тихомирова знали?

Разговор становился интересным.

— Знал, а как же. Знал. Они ж с Игорем большие друзья были. Но тот человек другой, я вам скажу.

— Какой же?

— Пронзительный и желтый.

Прокофьич замолчал, зажигая сигарету, как будто слова его не нуждались в пояснениях.

— Желтый? — переспросил Мазин. Тихомиров остался в его памяти хорошо сложенным, здоровым. — Он, кажется, не болел ничем.

— А в том-то и дело! Не больной, а желтый. Это от характера бывает, а не от хворости. Значит, в человеке постоянное беспокойство происходит. И по глазам было видно. В старые бы времена сказали — дурной глаз! Добра от такого не жди. Потому и говорю: мог он на окно среди ночи полезть. Взбредет в голову такому гвоздь прибить, и пока не прибьет — спать не будет. Это я понять могу, потому в людях разбираюсь... Вот Валентин говорит мне про эту машину, Игореву, значит, а я ему: нет, брат, быть того не может никогда. Никогда б Игорь ее на дороге не бросил. Человек не тот.

— Это вы про что, Василий Прокофьич?

— Да насчет машины.

Но тут старик опять проникся недоверием к Мазину.

— Вас это совсем не касается, милиции то есть. Потому что Вальке тут верить нельзя. Он крепко дернул тогда.

— Ну, не касается так не касается, — не стал настаивать Мазин, демонстрируя безразличие. Он уже почувствовал, что старик знает что-то важное. Но у Мазина хватило выдержки сделать движение, словно он собирался идти.

Знаток души человеческой, как это часто бывает, оказался простодушным.

— Да нет, нет, — Прокофьич испугался, что собеседник уйдет и оставит его в одиночестве. — Никакого тут секрету нету. Валентин — это квартирант мой. В отпуск он уезжал в тот самый день, когда Антон из окна свалился. Ночным поездом ехал. Тут, конечно, мой грех есть. Привез он поллитровочку, ну, не устоял я, что говорить. Баловства-то у нас не заметно, сторожую я исправно. Вот и позволил себе с Валентином, значит... А потом и придремал. Потому я его только утром и обнаружил, Антона, а так бы я, конечно, раньше заметил.

— При чем же тут машина?

— А при том, что Валентин, значит, на ночной поезд торопился. И ему на дежурный автобус попасть требовалось... А как вернулся с курорту, говорит, к слову пришлось, что возле автобусной остановки «Волга» Игорева стояла. По чертику вроде узнал. Думал, машина свободная, может, в город подкинет. Подошел, машина вроде Игорева, чертика, говорит, узнал. Как будто мало чертей таких! Теперь каждый норовит игрушку подвесить. Чисто дети малые!

— Кто же сидел в машине? — не выдержал Мазин.

— Да никого. В том-то и дело. Как это Игорь мог свою машину на дороге бросить, когда он знает, что на площадке за ней присмотр будет!

— Ну и дальше что?

— На автобус побег.

— Дежурный автобус по расписанию ходит?

— А как же! Вот я и хочу спросить Игоря. Пусть он Вальке сам скажет, что не могло его «Волги» там быть.

— Не спрашивайте.

— Чево?

— Не спрашивайте, говорю. В это время Рождественский находился в ресторане.

— Ну я ж говорил! А тот: «Игорева...» Мало их, чертей этих...

— И вообще ничего не говорите Рождественскому. Раз следствие закончено, зачем сплетни всякие поднимать? Волновать человека зря!

— Вот это точно! Сплетня — она прилипчивая. От нее вреда может быть много.

Прокофьич хотел было развить свою мысль, но Мазин уже протянул ему руку.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Дождь, который лил непрерывно оба тайма, прекратился, точно по команде, с финальным свистком. Немногие болельщики, выдержавшие и напор стихии, и поражение родной команды, тянулись по площади, обтекая двух бетонных футболистов на пьедестале, сражавшихся здесь, у входа на стадион, в любую погоду.

Мазин покинул трибуну минут за пять до свистка и прохаживался возле памятника, затерявшись среди тех, кто ждал приятелей, чтобы вместе отправиться домой. Он тоже ждал, хотя и не договаривался с Рождественским. Отсюда хорошо была видна черная «Волга», стоявшая шагах в двадцати, у ограды парка. Рождественский подошел один, и не успел он закрыть за собой дверцу, как на нее легла рука Мазина.

Игорь нахмурился, но узнал Мазина и засмеялся.

— А... это вы? Здравствуйте.

— Это я. Здравствуйте. Как понравилась игра?

— Так же, как дождик.

— Ну, положим, есть и разница. Нашей команде недостает упорства, а у дождика его хоть отбавляй. Однако не буду задерживать.

Мазин приподнял руку.

— Куда вы? Я подвезу.

— Спасибо. Если по пути...

— Какая разница!

Мазин сел рядом, и Рождественский неторопливо повел «Волгу» между машинами, пешеходами и возвышающимися над ними неповоротливыми троллейбусами.

— Чтобы высидеть такой матч, нужно быть мужественным человеком, — сказал Мазин.

— Просто привычка. Я старый болельщик.

— И спортсмен к тому же?

— Это дело прошлое. Играл я в теннис. Но вы тоже высидели?

— Я в отпуске. Как говорится, кончил дело — гуляй смело.

— После такого гулянья можно воспаление легких получить. Промокли-то вы не меньше моего.

Мазин провел рукой по слипшимся волосам.

— У меня дома бутылочка «Охотничьей» припасена. Впрочем, холостяку такие скромные радости непонятны.

— Холостяцкая жизнь тоже не мед. Но вообще я предпочитаю ресторан. Может быть, заедем, погреемся?

Мазин посмотрел на часы и вздохнул.

— Жена, Игорь Анатольевич...

Но Рождественский уже увлекся идеей.

— Это не так долго. Потом я завезу вас домой.

Мазин засмеялся.

— Вот я вас и поймал. Или вы пить не собираетесь?

— Черт! Это я как-то упустил.

— Смотрите! Отберут права. И скажите спасибо, что я в отпуске. Хотя в целом вы меня почти соблазнили.

— Эврика! Есть прелестный выход. Я оставлю машину во дворе ресторана — там меня знают, а по домам мы поедем на такси. Превосходно?

Минут через двадцать они сидели за столиком, и знакомая официантка, улыбаясь Рождественскому, записывала закуски и горячие блюда.

— А коньячку, Надюша, поскорее, пожалуйста. Продрогли — бр-р-р...

— Счастлив человек, любимый официантками: он сохраняет гигантский запас нервов! — пошутил Мазин, поглядывая сквозь рюмку на свет.

— Это верно. Но у вас-то с нервами наверняка все в порядке?

— У нас иначе нельзя.

— Я думаю. И потом общение с изнанкой жизни должно вырабатывать философский склад ума.

— Что-то вроде этого, — ответил Мазин, наблюдая, как Рождественский разливает коньяк. — Спасибо. Как говорится, за упокой души вашего покойного друга. Пусть земля ему будет пухом.

Они выпили.

— Пусть будет. Я не злопамятный.

— Вот как? Разве вы не дружили?

— Дружили. Хотя... это уже дело прошлое. Кстати, вам эта история надоела, конечно?

— Почему?

— Возиться с самым заурядным несчастным случаем? Ведь вы профессионал.

— По-вашему, профессионалы только и мечтают об убийствах? Наоборот. Это мечта начинающих. А в деле Тихомирова были интересные моменты.

— Вы находите? — Рождественский взял в руки графинчик.

— Я имею в виду не криминальную сторону, а психологическую. История достаточно трагична. Нелепо оборвалась жизнь молодого, талантливого человека. Сталкиваясь с подобными случаями, можно и в самом деле стать философом.

— Боюсь, что вам рисовали слишком розовую картину.

— Зачем?

— Пройдите по кладбищу. На каком памятнике написано, что под ним лежит негодяй? Нам нравится хвалить покойников. В Америке их даже подрумянивают. Однако давайте выпьем. Первая рюмка меня не согрела.

— Давайте. Но почему вы не говорили об этом во время следствия?

— О чем? Я вам еще ничего не сказал. Да и все, что я могу сказать, на результаты следствия никакого влияния не окажет. Тихомиров мертв, он свалился из окна, но вот стоит ли об этом жалеть — я не уверен.

Мазин жевал лимон. Он готовился совсем к другому разговору и не вполне понимал своего собеседника. Видел только, что тот захмелел и хочет высказать что-то наболевшее.

— Несколько оригинально для старого друга.

— Пожалуй. Но мы не были друзьями. Просто нам приходилось ими быть или делать вид, что мы друзья. Хотя неизвестно, собственно, зачем. Так уж складывались наши отношения. Знаете, мы пренебрегаем случайностями, но, не родись Антон в нашем дворе, вряд ли он вывалился бы из окна моей квартиры. Как вы думаете?

— Вы ставите вопрос слишком прямолинейно. Если бы я больше знал о Тихомирове...

— Зачем? Вы все равно никого не посадите в тюрьму. Даже самого Антона. Господь бог решил разобраться с ним лично. И слава ему! Что, удивил я вас?

— Немного.

— Да, бывает. «Молодой, талантливый...» А может, я ему просто завидую? — Рождественский достал сигарету. — Хотя я всегда считался везучим. Впрочем, не уверен, что это так. Дело не в везении. Может быть, мне даже совсем не везло. Да и наверняка не везло. Просто жизнь не трогала меня, занималась другими, а я катился по ней, как колобок, думая по наивности, что иначе и быть не может. Я, знаете ли, из тех, кому трудно писать автобиографии — все укладывается в несколько строчек: родился, учился, не участвовал, не был, по национальности русский. В таком-то году окончил школу с медалью, разумеется. Потом университет, потом аспирантуру. Вот и все.

Мазин протянул спичку, и Рождественский сразу затянулся.

— А у него все было наоборот. Кроме года рождения и национальности. Тут у нас совпадало. Остальное нет. Мой отец был профессором, у него отца вообще не было. То есть был, конечно, но он его не видел и не знал никогда, да и не интересовался, наверно, я думаю. Он вообще умел не интересоваться тем, что считал ненужным.

Они с матерью жили под лестницей большого и очень удобного дома, где у нас была огромная светлая квартира. Мать Антона приходила убирать нашу квартиру, а мы дружили. Дружба эта была мне полезной. Когда я падал на льду и хотел зареветь, я вспоминал, что Тошка никогда не ревет, и не ревел тоже. Вообще у него всегда можно было кое-чему поучиться.

И он всем нравился. И тогда и потом. Тогда он особенно нравился старику Кротову. Вы слышали о нем?

Мазин наклонил голову.

— Я его помню хорошо. Константин Романович был человеком замечательным. Редким человеком. Я понял это теперь. Трудно рассказать, но, знаете, есть такие люди, которые... как бы это сказать... дальше всех удалились от обезьяны. Они делают открытия, делают революции, пишут книги и... любят людей. Я имею в виду не отдельных людей, а всех. Говорят, что человечество любить легче, чем отдельных людей. Это не так. Отдельных каждый из нас любит, а вот всех... Для этого нужно очень много понимать. Кротов понимал. И полюбил всех, кроме негодяев, разумеется. Теперь без ссылок на него ни одна книжка по генетике не выходит. Но в жизни он был вовсе не теоретик. Ездил в Эфиопию. Лечил там, воевал с эпидемиями. У нас всю страну объехал. Где-то в Средней Азии у него умерла жена. Больше не женился. Воспитывал Инку, писал книгу, возился с Антоном. Если б не Кротов, Антону никогда бы не стать ученым. Но старик такой заряд в него заложил, что хватило на годы.

Внезапно Рождественский остановился.

— Слушайте, а вам не надоело?

— Нет.

— Я разболтался. Но мне хочется, чтоб вы знали.

— Да, я понимаю вас.

— Понимаете?

Он посмотрел на Мазина как-то странно, совсем не пьяным взглядом и ткнул сигарету в пепельницу.

Мазин ждал.

— Ну, если хотите. Только не ловите меня. Ничего такого я все равно не скажу. Просто детские воспоминания... Однажды у нас была елка. Не у нас, а у Кротовых. Для детей. Маскарад. Дядя Костя дал ему африканскую маску. Даже Инке не дал. А ему дал. Это мелочь, конечно, но он любил его. Тошка часто торчал у него в кабинете. Кротова тогда отстранили от работы в университете. Он дружил с Вавиловым. Тот ему книжку посвятил. Ну, его и отстранили. Оставили только практические занятия. Но он дома работал. И когда работал, не любил, чтобы ему мешали. «Дети, пользуйтесь детством. Оно не пожизненное!» Так скажет и отправит нас во двор. А Тошку не гнал. Посадит на колено и спрашивает: «Как дела, Антон?» А тот: «Да ничего, помаленьку. Что это вы все пишете, дядя Костя?» И представьте, старик серьезнейшим образом рассказывал ему о дарвинизме.

Впрочем, вряд ли он тогда почувствовал тягу к науке. Отложилось что-то общее: кабинет, книги от потолка до пола, экзотическое оружие на ковре и человек с бородой, ни на кого не похожий, человек, который все знает и понимает и не дает тебе подзатыльника. Это был целый мир для него, я думаю. Мир, который казался, наверно, волшебным. Тогда. А потом — мечтой какой-то. А потом, наверно, уже не мечтой, а достижимой целью, жар-птицей, которую можно схватить. Но мечту нельзя хватать руками. Даже если ты помыл их с мылом.

— А он схватил?

— Попытался. А грибки-то, Игорь Николаевич, здесь недурны. Как вам кажется?

Мазин поддел грибок на вилку и проглотил, не замечая вкуса. Он вспоминал, что писал в своей записной книжке Антон Тихомиров.

«..Я не люблю тех, кто умиляется детством. Считать прожитое лучшим, чем будущее, — признак слабости. Чем сильнее человек, тем смелее он должен стремиться вперед, создавая свое завтра, подчиняя его себе. Но чисто теоретически вопрос о влиянии детских впечатлений на формирование личности очень интересен, потому что детские годы — это период жизни, когда среда, условия существования способны оказывать большее влияние, чем факторы наследственные. Последние действуют еще стихийно и могут не получить должного развития. Например, хватило бы у меня упорства противостоять резко отрицательной среде, в которой я рос, если бы не старик К.?

Матери, жизнь которой не сложилась, я был постоянно

в тягость. Ей и в голову не приходило, что я могу стать чем-то большим, чем работяга. О воспитании она понятия не имела. Без противодействия этой среде я бы и школу не окончил, особенно в условиях войны. Конечно, внутренние стимулы были. Я ненавидел приятелей матери, посылавших меня за бутылкой и папиросами. Я не мог признать свою жизнь нормальной. Но надолго ли меня могло хватить, если б я не видел примера жизни другой! Хотя слово «пример» здесь неуместно. Старик не мог быть примером для семилетнего мальчишки. Круг его интересов был для меня полностью недоступен. Что же привлекало меня? Шоколадные конфеты, которых я никогда не видел дома? Удивительно, но тоже нет! Теперь мне понятно, что я находился под влиянием высокоорганизованной личности. Я смотрел на старика как на чудо, не нуждающееся в объяснении. И хорошо, что он умер до того, как я вернулся в город. Теперь я бы увидел в нем крупнейшего ученого и только, может быть, обиженного, с человеческими слабостями, но не явление высшего порядка...»

— Хороши грибки. Но мне больше нравится ваша история.

— В самом деле? Я болтлив, конечно, однако, если вас это не утомляет...

Он зажег новую сигарету.

— Все, о чем я говорил, было до войны, давно. Потом мы долго не виделись. Моя жизнь шла, как всегда, нормально. Мы эвакуировались в Ташкент, отец получал хороший паек.

— Простите, а ваш отец не испытал трудностей?..

— Я понимаю. Нет. Честно говоря, он был для этого недостаточно талантлив. Вернее, у него не было того таланта, который делает ученого непримиримым. Его стихия — компромисс. Однако это уже выходит за рамки нашего вопроса.

— Да, я спросил между прочим.

— Так вот. Мы жили в Ташкенте, потом вернулись. Я окончил школу, поступил в университет и, конечно же, давно забыл об Антоне, когда он появился снова. До войны Антон был пареньком хоть и не слабым, но довольно-таки тощим. Брал больше упрямством. А тут приходит ко мне верзила, еле узнал.

— Антон я, — говорит, — Тошка. Неужто не помнишь?

Как не вспомнить! Вспомнил. Оказывается, он с матерью уехал в деревню, там и застрял. Прихватили их немцы. В сорок третьем только освободили. Жизнь наладилась понемножку. Стал Антон ходить в школу. Окончил, как и я, с медалью. Приняли его на биофак...

Но в эти годы мы мало виделись. Я учился двумя курсами старше, а главное — время нас по-разному шлифовало. Он еще носил широкие брюки и выстригал затылок под полубокс. А меня прорабатывали за «стиль». Встретимся иногда в коридоре или в читалке: «Привет!» — «Привет!» — «Как жизнь молодая?» — «Помаленьку». И пошли себе. Так и шло время.

На эстраде вдруг заиграла музыка, и появилась певица. Она помахала кому-то рукой. В зале захлопали.

— Любимица публики, — пояснил Рождественский и осмотрел пустой графинчик. — Кажется, есть смысл добавить?

Мазин не возражал.

— Смешно все это, правда? — спросил Рождественский, отыскивая глазами официантку.

— То, что вы рассказываете?

— Нет, то, что я рассказываю. — Он перенес ударение на слово «я». — Сам факт. Ни с того ни с сего начал изливаться. Если бы нас слышали люди, которые меня знают, они были бы поражены. Я терпеть не могу «славянской души» нараспашку, всей этой достоевщины. Считаю себя вполне современным. Меньше эмоций — больше дела. Болтовни у нас и так в избытке. Деловой человек должен быть сдержан. И вдруг оказывается, что ты все-таки не англичанин.

Он нашел наконец официантку.

— Надюша, не сочти за труд!

И снова повернулся к Мазину.

— Просто смешно, но природа берет свое. Через все наслоения цивилизации вдруг пробивается что-то неодолимо искомое, от предков.

— А кто ваши предки?

— Во мраке веков. Увы, не аристократы. Дед был сельским попом. А его дед, наверно, землю пахал, как у Базарова. Собственно, теперь, после революции, предки у всех одни. Голубая кровь доит коров в Аргентине, как утверждал поэт, а мы все черноземные, из центральной полосы в основном. Там и сформировалась потребность облегчать душу с незнакомым человеком. Знакомый-то засмеет еще, да и не поверит. Ему с близкого расстояния все иным кажется. Вы понимаете мою мысль?

Мазин пытался понять, осмыслить этот разговор. Неожиданный, хотя он и ждал Рождественского два часа под дождем, чтобы встретиться с ним «случайно». Но все получилось иначе, и ему уже не нужно «ловить» этого человека, а нужно только слушать, и тогда он узнает даже больше, чем предпо-

лагал узнать, хотя узнает, может быть, совсем не то, чего ожидал.

— Да, я понимаю.

И снова Рождественский не поверил ему. Засмеялся.

— Уверен, что нет. Но вы незаменимый собеседник. Редкий для русского человека. Мы ведь так любим перебивать друг друга. Правда, вам кажется, что вы все знаете, фактически же вы не знаете ничего. Потому что видимое и сущность — это совсем разные вещи, даже если они и похожи. И еще очень удачно, что я для вас чужой человек. Вам даже несмешно, что чемпион области изливает душу, как заклейменный классиками спившийся интеллигент девятнадцатого века.

Принесли коньяк и хорошие ароматные бифштексы.

— Какой джентльменский ужин, а я веду себя так, будто пью сивуху под малосольный огурец. Скажите, я не совсем пьян, а?

Он посмотрел Мазину в глаза, и тот снова не заметил в них хмеля. «Неужели он просто хитрит? Он хитрит, а не я?»

— Вы не пьяный.

— Да. Это верно. Во всяком случае, я не собираюсь бить посуду. Это было бы вульгарно. Но я не рассказал вам главного.

— Я вас слушаю.

— Все еще надеетесь что-то выведать?

Мазин пожал плечами.

— Простите. Вопрос был глуп, конечно.

Рождественский снова наполнил рюмки.

— Это потому, что я собираюсь перейти к трудной части истории. По-настоящему мы встретились у Инны. Когда он вернулся из деревни, я учился в аспирантуре. Инна уже работала в музее. Когда Кротов заболел и стало ясно, что ничего сделать нельзя, она бросила институт и приехала, чтобы ухаживать за ним. Проболел он с год. Потом умер. Инна возвратилась в Ленинград. А совсем сюда приехала, когда окончила...

Вообще Инна, конечно, не такая, как все. Поймите меня правильно. Я ее не идеализирую. И когда говорю — не такая, это не значит — лучше других. Просто она сама по себе. Ну как это лучше объяснить? Иногда она кажется очень слабой. И ей действительно бывает чертовски трудно. Наверно, потому, что в ней совершенно не развита способность приспосабливаться к жизни, к обстоятельствам. Я имею в виду не вульгарное приспособленчество, а необходимую способность

живого целесообразно реагировать на окружающую среду. Ведь человек — такой же биологический организм, как и любимые Антоном кошки. Наша среда сложнее, разумеется. Однако у нас есть комплексы конкретных и в общем-то простых навыков, общепринятых понятий, что ли... Но у нас биологическое совмещение с социальным, потребности природы — с общественным мнением, общепринятыми взглядами, поведением.

Вот у Инны все это совсем не так. Она поступает в ущерб себе не потому, что допустила ошибку, а потому, что иначе поступить не может. Ей не приходится, по-моему, выбирать или сомневаться. Она делает что-то и никогда не жалеет об этом. Хотя бы это было больно. Но у нее отсутствует само чувство житейского опыта, чувство ошибки. В общем, как та кошка у Киплинга, которая ходила сама по себе... Бросила учебу и приехала ухаживать за отцом, хоть тут и была ее тетка, Дарья Романовна. Но Инна решила, что она должна быть здесь сама, и приехала. Конечно, можно считать это проявлением преданности, стремлением спасти отца, но, когда мой фатер предложил ей устроить Константина Романовича в клинику к очень видному специалисту, она отказалась. Только потому, что раз и навсегда вычеркнула его из числа людей, которых признает. Это было несправедливо. Отец никогда не предавал Кротова, он нигде не произнес о нем ни одного дурного слова. Но пусть ей не нравилось поведение моего отца... Она ж должна была думать о своем! В клинике ему могли помочь.

— Вы уверены?

— Я сказал — могли. Сделать-то нужно было все возможное.

— Пожалуй.

— После этого случая я долго у нее не был. До самой смерти профессора. Потом она уехала... Давайте выпьем, а? — Он глянул в пустую рюмку и сказал вдруг, преодолевая себя: — Я любил ее... Из этого ничего не вышло.

Мазин смотрел мимо Рождественского на эстраду, где певица сжимала руками микрофон. Руки у нее были некрасивые, с набухшими венами.

«Лучше б она выступала в перчатках».

— Но, может быть, вышло, если бы не Антон. Хотя все это не так прямолинейно. Он не отбивал ее у меня. И вообще я понял, что любил ее, когда стало уже поздно. Я привык к успехам. Мне все давалось легко. Инна знала это. Даже о женщинах. Я сам хвастался, когда мы были только друзь-

ями. Я бывал у нее почти каждый день. А потом стал бояться...

Рождественский выпил еще немного, но так и не взялся за бифштекс.

— «А знаешь, у меня Антон!» — сказала она однажды, когда я зашел. «Испорчен вечер», — подумал я и здорово ошибся. Испорчено было гораздо больше. А вечер как раз прошел неплохо, лучше, чем я думал.

Он к этому времени здорово подтянулся и не носил уже широченных штанов, хотя и приехал из деревни.

«Антон собирается в аспирантуру», — объявила Инна.

«Дело хорошее, — ответил я вежливо. — А как же здоровая сельская жизнь?»

Ведь он уехал в деревню добровольно.

«С этим покончено».

«Полное разочарование?»

«Нецелесообразно вкладывать мозги в убыточное дело».

Он всегда бывал категоричен. В этом ему не откажешь.

«А что думает семья?»

«С женой я разошелся».

«Ого! Все мосты сожжены?»

«Даже плоты».

«Прекрасно, — пошутил я, помню, глуповато. — Это в нашем характере. До старости начинать новую жизнь. Описано в художественной литературе».

«Я не старый!»

«Каждый живет свою жизнь только по-своему», — сказала Инна.

«Вот и подведена философская база. Остается выпить по такому случаю. Я, кстати, захватил бутылочку».

И выпили. Антон разошелся и много говорил, но больше не о себе, а о генетике, о новых перспективах, о том ущербе, который был нанесен, короче, обо всем, о чем мы уже переговорили тысячу раз, и потому казался очень провинциальным. И не только мне, но и Инне. Я видел, что она слушала его без особого интереса. Но потом он перешел на дела сельские и рассказал немало любопытного. Ругал бесхозяйственность, говорил о необъятных возможностях. Инна вдруг перебила его, неожиданно так.

«Знаете, мальчики, я, когда ехала из Ленинграда, проснулась в вагоне рано утром, смотрю: солнце встает. Огромное и красное, и колышется, будто кисель из холодильника. И я подумала, как легко сосчитать, сколько раз я видела восход

солнца. Вот закатов много. А на закате всегда тревожно и печально».

«Не замечал, — рубанул Антон, — хоть я их и насмотрелся».

Рождественский отрезал все-таки кусочек бифштекса. Мазин тоже попробовал остывшее мясо. Но есть, несмотря на выпитое, не хотелось.

Блондинка на эстраде пела:

Смерти не будет — будет музыка...

— Поступить в аспирантуру ему помог отец. Не знаю, в самом ли деле он почувствовал в Антоне «способнейшего ученого», как любил повторять, но взялся его поддерживать необычайно энергично. Скорее тут действовал комплекс вины перед Кротовым. «Этого юношу Константин очень ценил!» Хотя ничуть он его не ценил и не мог ценить, а просто возился с мальчишкой. Но так уже устроены люди: что вообразят, становится фактом. Истиной в этой истории было только то, что Антон повсюду защищал кротовские идеи и работал над теми же проблемами.

И часто бывал у Инны. Все чаще. Я видел, куда идет дело, но ничего не мог изменить. Жизнь не приучила меня к борьбе. Мне всегда доставалось то, чего я добивался, вернее, не добивался, а просто хотел. Хотел — и все получалось. А тут не получалось, и я чувствовал полное бессилие... Наконец я понял, что все потеряно. Тогда Антон решил объясниться со мной. Он уже ничем не рисковал.

Мы засиделись у Инны. Это было похоже на пересиживание. Кто кого. Я чувствовал себя мерзко, ибо прекрасно понимал, кто из нас лишний. Да и смешно взрослым играть в такие игрушки.

Наконец он поднялся, и я обрадовался его словам.

«Ты, Игорь, не собираешься еще?»

«Да, да, конечно, пошли», — заторопился я, сам себя обманывая, потому что это было не джентльменство, а капитуляция.

Она проводила нас на лестницу, и мы пошли. Пошли пешком и вместе, хотя можно было ехать, и вообще-то нам нужно было в разные стороны. Но мы, не сговариваясь, пошли вместе. Вернее, я пошел за ним, чтобы получить тот нокаут, к которому он меня уже подготовил.

Мы шли и шли и молчали долго. Видно, ему разговор этот давался непросто.

«Игорь, нам нужно поговорить», — наконец начал он.

«Как мужчина с мужчиной?» — попытался я взять ненужный, идиотски-иронический тон.

Но он пресек его. Ответил строго:

«Да, как мужчина с мужчиной».

«Ну говори».

Он еще подождал.

«Игорь, я не знаю и знать не хочу, что у тебя было с Инной, но мы с ней любим друг друга. И это по-настоящему».

Значит, все, что было у меня, не могло быть настоящим! Но я даже не оскорбился. Я почувствовал облегчение, как мальчишка, который вдруг понимает, что ему ни за что не решить задачу по алгебре. И я сказал:

«Поздравляю. У нас ничего не было».

Он обрадовался. Все-таки нам, мужчинам, всегда неприятно знать, что у тебя был предшественник. Я поспешил его успокоить какими-то фальшивыми словами. Было очень отвратно — как будто я отказывался от Инны, предавал ее.

И как я потом ни говорил себе, что поступил правильно, раз они полюбили друг друга, что спортсмен обязан уступать сильнейшему без злобы и зависти — любовь ведь не спорт, и нельзя ее решить логикой и разумом, особенно если разум оправдывает слабость.

Слава богу, инстинкты еще не изжили себя. Иногда они очень хорошо проясняют то, что разум запутывает. Ведь разум — наш хитрый слуга, он умеет подчиняться, льстя и обманывая. А инстинкт не проведешь, природа не смирится с уловками силлогизмов. Впрочем, все это теория. Я уступил без боя.

«Ты ее любишь?» — спросил он со своей деревенской манерой рубить сплеча.

«Мы слишком долго были друзьями», — ответил я жалкую полуправду.

«Но ты не в обиде на меня, старик?»

Вот тут бы уж стоило что-то сказать, да ведь я сам допустил его до этих слов, расчищал им дорогу. И у меня осталась только полная капитуляция.

«Да ну! За что?»

«Вот это здорово! Это хорошо, — оживился он, — я, ты понимаешь, боялся. Мы ж всегда были друзьями. (Хотя, если не считать полузабытых детских лет, мы никогда друзьями не были.) Мне нужны такие люди, как ты и она. (Вот это было истиной.) И представляешь, как паршиво бы получилось, если б мы с тобой... Ну да ты сам понимаешь!»

Единственно, на что меня хватило, это не напиться с ним

по такому случаю. Зато он успел рассказать, какая Инна хорошая. Он уже называл ее Инкой, и меня это особенно коробило.

«Ты знаешь, старик, я о такой женщине всегда мечтал. Ведь я кто? Ошарашка. Плебей. Полжизни в деревне, в хате под соломой. Раньше? В конуре под лестницей. В лучшем случае — в общежитии на железной коечке с медным чайником и граненым немытым стаканом за девяносто копеек на старые деньги. Но я это, понимаешь, не в материальном плане. Деньги что? Их можно нажить. Я уверен. Их сейчас даже в деревне заработать можно. Я о другом. О среде, о людях, о понимающем таком человеке, на которого бы не давила моя саманная хата, лестница, что мать мыла. Знаешь, все это откладывается, принижает, становишься мелким, упираешься лбом в мелочи. Какой-нибудь унитаз с чистой водичкой начинает достижением казаться. Тут пропасть — раз плюнуть. Путаться начинаешь: то ли диссертация нужна тебе, чтоб в науку двери открыть, то ли просто — в изолированную квартиру с этим проклятым унитазом. А мне из своего плебейского нутра вырваться нужно. Я в себе силы чувствую. Но мне помощь необходима, понимаешь?»

Говорил он много и сумбурно. Хотел, чтобы я его понял. Даже об Ирине говорил.

— О ком? — не понял Мазин.

— О своей жене. Антон говорил: «Понимаешь, девка она хорошая. И сын у нас бутуз прекрасный. Но повязали они меня. Нету у Ирины перспективы. Все, что делает, — всем довольна. Где ни сядет, там и место ее, окапываться на вечные времена начинает. Со школьным садом завелась, как будто это знаменитый ботанический парк какой-то! Там всего с десяток яблонь, да между ними кукуруза. А Ирина оттуда день и ночь не вылазит. И довольна, главное. Говорит, хорошая кукуруза будет! Человек-то вперед стремиться должен, тщеславным быть».

«Инна тоже не тщеславна», — сказал я ему честно.

«Смотря в чем».

«Она смирилась с тем, что не стала художницей».

«А... ты про это! Я же про другое. Я о себе. Боюсь, что вся эта бытовщина меня засосет. И мне нужен человек, который был бы настроен совсем на другую волну, жил в другой атмосфере. Тогда я смогу чего-то добиться...»

«А она что думает?» — не выдержал-таки я.

«Я ей нужен. Она верит, что я добьюсь, выскочу, понима-

ешь? Это ж и ее победа будет. Я много потерял времени, но я хочу сделать рывок, я не хуже других... У меня есть кое-что в голове. И время работает на меня. Генетика сейчас пойдет шагать».

Может быть, он прав, думал я тогда, и Инне нужен именно такой человек, упорный и не нашедший своего места? Может быть, она действительно создаст атмосферу, о которой он мечтает. И он добьется... Наверно, тип ученого, живущего только наукой и не думающего об успехе, — этот тип сейчас исчез. Если только он существовал. Мы стали рационалистичнее, да и сама наука организованнее, упорядоченнее. Это уже не изолированная башня, а система, и ты должен знать свое место в этой системе...

— И вы знаете свое? — спросил Мазин.

Рождественский усмехнулся.

— А как же! Я вхожу в одну из второстепенных систем.

— А Тихомиров?

— Вот он не знал. Но хотел быть у самого рычага.

Из записной книжки Антона Тихомирова:

«Иногда мне кажется, что Игорь Р. и я — контрольные животные одного из многочисленных экспериментов природы. Нам поставлены цели, но созданы совершенно различные условия существования. Кто победит? Он, которому постоянно открывалась зеленая улица жизни, или я, пробивающий шлагбаум за шлагбаумом? Первая стадия эксперимента заняла тридцать лет. Итоги можно вывести графически. Он — равномерно и неуклонно повышающаяся прямая. Я, если нанести результаты на тот же график, — кривая, начинающаяся в одной точке с прямой, затем резко падающая вниз и наконец устремившаяся вверх с перспективой пересечь прямую и подняться выше.

И все-таки мне было трудно шевельнуть языком, когда мы говорили об Инне. И правда, оказался молодцом, настоящим спортсменом. Если бы мне его выдержку и культуру (систематическую, впитанную с молоком, а не нахватанную кусками, как у меня), я бы горы свернул! Я тот битый, за которого предлагают двух небитых. Я только не привык к победам. Наверно, я был ужасно смешон, когда мы говорили. Разоткровенничался. Но я не мог иначе. И лучше воспитан, он шире меня, но я сильнее. Именно поэтому я заставил себя поверить, что у них с Инной ничего не было. Даже если было, это не имеет никакого значения, пока я чувствую свое превосходство».

— Разве это плохо?

— Само по себе — нет, конечно. Если это в самом деле твое место. Но о его месте потом. А пока... О чем я говорил? Да, я убедил себя, что мне лучше отойти. И еще убедил в том, что делаю это чуть ли не добровольно. Даже предоставил ему свою квартиру. Впрочем, это случилось позже. А вначале ничего не было. Просто я стал реже бывать у Инны. Именно реже, а не перестал совсем. Считал демонстративное исчезновение неприличным. Так мы обманывали себя и немножко друг друга.

Сперва эта неестественная ситуация тяготила меня, да и их, наверно, но потом все привыкли. Оставались внешне милыми, добрыми друзьями. Прошло около трех лет. Я думал, что они поженятся, но об этом никто не говорил, жил Антон по-прежнему в общежитии. Предполагалось, что они просто знакомые. Иногда и мне начинало казаться, что они просто знакомые. Но правда оставалась правдой. Хотя она и была сложнее, чем мне представлялось. Что-то у них не получалось. Но я хочу быть справедливым и думаю, что Антон был искренним, когда говорил, что любит Инну и она ему нужна. И не поженились они сразу, наверно, не потому, что таким был его расчет, а помешало что-то, а потом и вовсе уже не получилось. Ведь знаете, негодяи не всегда расчетливы, очень часто они стихийны. Идут по ветру.

— И Светлану ветром принесло?

— Если б не она, нашлась бы другая.

— Кстати, что вы о ней думаете?

— Трудно сказать. Вы же ее видели. Грудь на уровне мировых стандартов. С фирменной вывеской «Сделано в России». Можно показывать на международных выставках. А внутренне... Впрочем, не знаю. Вы библию читали?

Мазин кивнул.

— Читал.

— А я нет. Говорят, там Иисус Христос сказал кому-то... или о ком-то, кто согрешил: «Прости его, господи, потому что не ведает, что творит».

— Так Светлана не ведала?

— Думаю, что нет. Девочке улыбнулось счастье — жених с будущим, вот и все. Активной силой был Антон. В этой волоокой девушке он увидел очередную фазу своего восхождения. Решил увенчать успех законным браком с осчастливленной невинностью. Она, правда, путалась с каким-то реактивщиком.

— Здорово вы его не любили! — сказал Мазин.

— Я имел на это право. — И, видя, что Мазин хочет возразить, остановил его жестом. — Нет, не ревность! Тут мне просто не повезло.

— А что же?

— Дело в Инне.

— Вы не можете простить, что Тихомиров оставил ее?

— Он ее обворовал.

«Так вот куда пришел этот разговор!» — Мазин почувствовал, что трезвеет.

— Речь идет не о деньгах, разумеется. И не о моральном грабеже.

Мазин ждал.

— Он украл труд ее отца.

Рождественский налил в бокал нарзана.

— Буквально. Я имею в виду неопубликованную работу Кротова.

От коньяка в голове почти совсем ничего не осталось.

— Это сказала вам Инна Константиновна?

— Нет. Я нашел в своей квартире тетрадку с записями Кротова. Это основа диссертации Антона. Без них не было бы даже кандидатской, не то что докторской.

Мазин потянулся к графинчику с коньяком. Рождественский засмеялся:

— Что, разобрало? А мне захотелось минеральной. Но почему наша команда так бездарно играет?

— Мы уже говорили об этом, ей недостает волевых качеств.

Гул голосов плавал в табачном дыму над столиками, смешиваясь с джазом, который канючил что-то невыразимо томное. Но шум не мешал Мазину. Ему казалось, что их накрыли звуконепроницаемым колпаком.

— Чего не скажешь о Тихомирове.

— Но ведь это большой риск! Могла рухнуть вся карьера!

— А кто мог его разоблачить?

— Инна Константиновна.

— Меньше всего. Она искусствовед и не понимает в генетике.

— Зато другие понимают.

— Другие ничего не знали. И, судя по тому, что тетрадка находилась у Антона и после разрыва с Инной, никогда бы не узнали.

— Вы думаете, он ее просто положил в карман и ушел?

— Не знаю.

— Разве вы не говорили об этом с Инной Константиновной?

— Нет.

— И ни с кем другим?

— С вами с первым.

— Почему?

— Почему с вами или почему ни с кем?

Мазин не успел ответить.

— Почему с вами — я уже старался объяснить. И потому же ни с кем. С вами потому, что нужно же кому-то сказать. Достоевщина. Карамазовщина. А ни с кем — потому что зачем? Зачем?

Рождественский расстегнул пуговицу шерстяной рубашки.

— Зачем вторгаться с зубовным скрежетом в приличную элегию? Все скорбят — зачем же портить удовольствие? Кому нужны непристойные разоблачения?

— Я говорю серьезно, Игорь Анатольевич!

— Серьезно? Да. Конечно. Инна. Вы говорите о ней.

— И о ней.

— Жалко. Мне ее жалко. Она сама по себе. Ее это не утешит. Наоборот. Оскорбит.

— И еще потому, что вы спортсмен?

— Не понимаю.

— Нельзя бить лежачего, а тем более...

— Да. Мне, как нашей команде, не хватает волевых качеств. Кстати, тот гол на последней минуте все-таки можно было забить.

— Мокрое поле.

— Тяжелый мяч.

— А наследие Кротова? Об этом вы думали? Это же не ваше личное дело.

— Наследие? Оно стало достоянием науки. Ведь диссертация осталась. Это главное. «Сочтемся славою».

— С вором?

— Неужели вы моралист?

— Удивительно?

— Да. Нельзя же быть моралистом, если защита морали — профессия!

— Об этом в другой раз. Но вы уверены, что Инна Константиновна ничего не знала?

— Уверен. Отец был для нее человеком на пьедестале. Его она бы не уступила.

— Значит, возможны два варианта. Первый. Тихомиров

знакомится с кротовскими записями в доме Инны Константиновны, а потом просто похищает тетрадку.

— Одну. Самую нужную. Их было несколько.

— Хорошо. Пусть одну. Это упрощает задачу технически. Второй вариант. Он берет тетрадку вполне легально, с разрешения Инны Константиновны, и не возвращает ее. Говорит, что там нет ничего интересного, например. Ведь она не могла его проверить. Что вы скажете об этих вариантах?

— Один из них подходит, наверно. Но вы, я вижу, из сферы моральной переходите в сферу криминальную. Это условный рефлекс? Я предупредил вас, что к смерти Антона все, что я говорю, не имеет никакого отношения.

— Как знать! Скажите, Игорь Анатольевич, а не могла эта тетрадка попасть вам в руки до гибели Тихомирова?

— Не понимаю.

— Вы нашли ее после его смерти?

— Я сказал.

— Конечно. Но разрешите еще один вопрос.

— Пожалуйста!

— Что бы вы сделали — предположим невероятное, — если б эта тетрадка попала вам в руки все-таки до смерти Тихомирова?

— А вы правда в отпуске?

— Правда.

— Не знаю, что бы я сделал. Во всяком случае, я не пошел бы с ним в ресторан после защиты.

— Да, это можно считать психологическим алиби.

— Мне уже необходимо алиби?

— Помните, я задавал этот вопрос вам? Когда вы доказывали, что были в ресторане в ночь смерти Тихомирова. Не слишком ли много у вас алиби?

— Не знаю еще, как я ими распоряжусь и какие из них могут понадобиться. Но вы, кажется, не в отпуске.

— В отпуске. И дело закрыто.

— Однако вы готовы возобновить его, если найдутся основания?

— Так полагается по закону. Но пока мы беседуем без протокола, мне бы хотелось задать вам еще один вопрос.

— «Спрашивай — отвечаем».

«Пожалуй, он стал раздражаться!»

— Что вы почувствовали, когда узнали о поступке Тихомирова?

— Ну, это уже напоминает интервью с кинозвездой или знатным шахтером. «Что вы почувствовали?»

— А все-таки?

— Знаете, этот поворот нашего разговора выветрил у меня вместе со спиртным всю достоевщину. Я не Митенька Карамазов. Я снова чувствую себя современным и сдержанным человеком. В таком духе и отвечу: он мне не понравился.

— И только?

— Может быть, немного больше.

— Насколько?

— Я бы мог сказать ему несколько слов.

— А дать по морде?

— Возможно.

— А...

— Выбросить из окна?

— Да, выбросить из окна?

В ресторане стало совсем тихо, даже оркестр умолк. Мазин смотрел через плечо Рождественского на эстраду и видел, как беззвучно надувает щеки саксофонист и словно на пуховые подушечки ложатся палочки ударника. «Зачем эта блондинка разевает рот?» — подумал он о певице и перевел взгляд на Рождественского. Взгляд веселый, подбадривающий. «Ну, что же ты, дружок?»

— Вы меня разочаровали, гражданин следователь.

— Грубо работаю?

— Примитивно.

— Нет, — замотал головой Мазин, чувствуя вдруг прилив опьянения. — Все делаю правильно. Почему вы не хотите ответить на мой вопрос?

— Считаю его неприличным.

— Ничего подобного, гражданин Карамазов. Совсем по другой причине.

— Я не Карамазов.

— Может быть, Раскольников?

— Моя фамилия Рождественский.

Мазин захохотал.

— Неужели не скажете? А если я догадаюсь сам?

— Попробуйте, Порфирий Петрович.

— Не обидитесь?

— Не знаю.

— Ладно. Человек в отпуске может позволить себе и лишнее. Вы не хотите ответить на мой вопрос не потому, что считаете его опасным, а потому, что он поставил вас в глупое положение. Сказать: «Нет», — вам неудобно. Ведь вы мужчина! А сказать: «Да, я мог его вышвырнуть, он этого заслужил», — вы тоже не можете, потому что получили определенное воспи-

тание и не любите врать. Ведь вы не вышвырнули бы из окна Тихомирова, Игорь Анатольевич? А?

— Вы, кажется, проповедуете самосуд!

— Увы! Не имею права. Только уточняю факты.

— Это не факты, а предположения. Что бы я мог сделать, если бы... Хорошо, если вас это интересует... Я бы в самом деле не стал его убивать. Не так воспитан, как вы проницательно заметили.

— Польщен. Но какого же черта вы делали у Тихомирова ночью, после защиты? Зачем вы поехали туда?

— Когда?

— В то самое время, когда, по вашему первому алиби, вы сидели здесь, а по второму — еще ничего не ведали об украденных записях.

— Ну, знаете...

— Знаю.

— Что вы знаете?

— Что вы были там.

— Это неправда!

— Правда, Игорь Анатольевич, правда, — сказал Мазин тихо.

— Откуда вы знаете? — спросил Рождественский тоже негромко.

— Около двенадцати ночи вашу машину видели возле дома, причем не на стоянке, а возле автобусной остановки, в стороне.

Удивительно, но Мазину показалось, что Рождественский обрадовался.

— Но меня-то не видели!

Мазин подумал.

— Нет.

— И не могли видеть, потому что я был здесь.

— Тут имеется небольшая неувязка, вы правы, но ведь на машине нетрудно создать видимость совпадения сроков. Каких-нибудь пятнадцать минут — и вы там. Еще пятнадцать — и вы здесь.

— Остроумно. Если вы только не выдумали насчет машины.

— Нет, не выдумал.

— А кто ее видел?

— Машину видел квартирант вашего сторожа. Прокофьича.

— Я с ним незнаком.

— Возможно, но он узнал чертика.

— И только?

— Деталь характерная.

— И, по-вашему, это может считаться доказательством? Меня он не видел, номера машины не знает... Ведь не знает?

— Не знает...

— Тем более! Ему показался знакомым чертик. Я, разумеется, не эрудит в юридических науках, но, по-моему, это слабовато.

— Очень, — согласился Мазин. — Если еще добавить, что он был не вполне трезв, то вы имеете полное право отвести такого свидетеля...

— Еще бы!

— ...Хотя он и сказал правду.

Рождественский разливал остатки коньяка. Рука его чуть дрогнула, и Мазин услышал, как стукнуло горлышко графинчика о край рюмки. Рождественский улыбнулся через силу.

— Вы в самом деле опытный следователь. Не хотел бы я попасть к вам на допрос всерьез.

Мазин поклонился.

— Еще раз спасибо. Однако я говорю почти серьезно.

— Вы поверили пьянице?

— Он, между прочим, офицер Советской Армии.

— Мундир? Слово чести?

— Не иронизируйте. Дело не только в этом офицере. Я бы мог ему и не поверить. Но, на вашу беду, на машину обратил внимание милицейский патруль. Правил она не нарушила, однако стояла без хозяина ночью, и они записали на всякий случай номер.

— Показаний своих сотрудников можно набрать сколько угодно!

— Не будем спорить, Игорь Анатольевич. Давайте лучше выпьем за ваше алиби!

— Ну и странный же вы человек. Как любит говорить мой почтенный родитель, большой оригинал.

Рождественский поднял свою рюмку, но не выпил, а поставил снова на стол.

— Пейте, пейте, не нервничайте. Мы только беседуем, обмениваемся мыслями. Вы сообщили мне много интересного. Не мог же я остаться в долгу.

— Скажите все-таки, сколько процентов серьезного в нашем разговоре?

— Почему вы нервничаете? У вас же есть алиби.

— Да, есть. И могу сказать вам с серьезностью в сто про-

центов, что я не убивал Тихомирова, хотя этого подонка и стоило выкинуть в форточку. Вместо меня это сделал господь бог!

— А вы в это время разыскивали коньячок по городу?

— Совершенно верно.

— Так сказать, разделение труда? — усмехнулся Мазин. — Вот что значит воспитание! Но неужели вы не могли преодолеть себя? Разозлиться и толкнуть? А?

Рождественский глотнул коньяк залпом.

— Да-а... Теперь я начинаю понимать, что значит попасть к вам в лапы. Ведь это хуже любого костоломства, если тебе не верят вопреки очевидным фактам!

— Ну, не скажите. Именно факты и подавляют. Понимаете, я бы охотно вам поверил, но это мне абсолютно ничего не дает.

— Не понимаю, — признался Игорь.

— Одна задача подменяется другой, и только. Ведь если вы в самом деле бегали по ресторанам, а на правду это весьма похоже, потому что ваш приятель Адмирал помнит, как вы промокли под дождем, чего бы не случилось, будь вы в машине, то... это значит, что вашей машиной воспользовался кто-то другой.

Мазин поднял свою рюмку и тоже выпил коньяк до дна. Рождественский смотрел хмуро.

— Вот уж неудачный день. Все одно к одному. И погодка, и матч, и с вами разговорчик.

— Пожалуй, он затянулся. Где там наша Надюша?

— С вашего разрешения я поеду домой на машине, — сказал Рождественский. — Давно не чувствовал себя таким трезвым.

— Смотрите не попадитесь! — пожелал Мазин.

Рождественский ковырял вилкой зелень в тарелке.

— Все-таки, честно, неужели вы думаете, что это не несчастный случай?

— А вы?

— Я говорил.

Он выжидающе смотрел на Мазина, но тот молчал.

— Итак, — произнес Рождественский. — Значит, дело возобновляется и мне ждать вашей повестки?

— Дело закрыто. Но не исключено, что мне придет в голову зайти к вам выпить рюмочку. Я все-таки в отпуске. А вы приятный собеседник.

Он увидел официантку и достал красную бумажку.

СВЕТЛАНА

Мазин стоял на углу узкой, замощенной булыжником улицы и смотрел на номер ближайшего дома. Нужно было спуститься еще ниже, почти к самой реке. Эта часть города застраивалась давно, в конце прошлого века, и селился тут в то время люд разный, по преимуществу бедный. Домишки были с маленькими комнатками, подвалами, полуподвалами и мезонинами. К домам лепились флигельки, пристроечки, некоторые соединялись между собой, надстраивались, тянулись повыше, вслед за ветками колючих акаций. И хотя на окраинах появились уже высотные махины, здесь улицы сохранили прежний живописный облик, радующий заезжих любителей экзотики.

Молодежь, что вырастала в этих домиках, поступала работать, обзаводилась семьями и переселялась постепенно в новые квартиры в новых районах, тут же оставались пожилые, привыкшие к своим комнатенкам, примусам на кухнях и тенистым дворикам, где в тягучий летний вечер можно посидеть и посудачить с соседями, прожившими рядом не один десяток лет.

Отойдя от угла, Мазин увидел дом, где, как он полагал, жила тетка Светланы Пушкаренко. И в самом деле, в подворотне висела синяя когда-то, а теперь крепко полинявшая доска с фамилиями жильцов, и на ней под семнадцатым номером значилась Пушкаренко Е. К. Мазин вошел в чистенький, залитый еще не затоптанным асфальтом дворик и спросил у женщины, набиравшей из колонки воду в чайник:

— Где тут у вас семнадцатая квартира?

— А вам кого?

— Пушкаренко Екатерину Кондратьевну.

— Катерину Кондратьевну? — протянула женщина, соображая.

— Здесь она проживает, с нами рядом! — откликнулся вместо нее кто-то сверху, и Мазин увидел на деревянном балкончике еще одну женщину, разглядывавшую его с провинциальным любопытством.

— А... Кондратьевна! — догадалась наконец соседка с чайником. — Там она живет, там, с ними вот рядом. По лесенке до нее и идите!

Мазин поблагодарил и поднялся по скрипучим ступенькам на балкончик, представлявший собой нечто вроде антресолей, опоясывавших двор.

— Вот ее дверь, зелененькая!

— Спасибо, я вижу.

На стук его ответили не сразу, и Мазин подумал уже, что никого нет дома, но постучал еще раз на всякий случай, и тогда только за дверью послышалось какое-то движение и неприветливый голос произнес:

— Сейчас, сейчас...

Потом он услыхал шаркающие шаги, и спросили уже из-за двери:

— Кто там?

— Мне нужна Светлана Пушкаренко.

— Вы из университета?

Мазин решил не уточнять.

— Ее нет дома.

— Тогда я хотел бы поговорить с вами.

— Со мной? — удивилась тетка, но дверь все-таки отперла, и Мазин, пройдя через узкий коридорчик, неожиданно попал в довольно просторную и светлую комнату, недавно покрашенную в розовый томный цвет с золотым накатом на стенах. За окнами, заклеенными на зиму, пересекались черные, неровные, сбросившие листву ветки. Красный, низко опущенный абажур и круглый стол делили комнату на две половины. Осмотревшись, Мазин понял, что одна из них принадлежит хозяйке, а на другой обосновалась Светлана. Там он увидел легкую «модерновую» тахту» и кактус на небольшой книжной полке. На теткиной же стороне мебель выглядела потяжелее, потемнее, на кровати лежали подушки, вышитые крестом и гладью. Сама Екатерина Кондратьевна была не такой уж старой женщиной, с тонкими бескровными губами и редкими седыми волосами, собранными на затылке в маленький тугой узелок. На плечи ее был накинут темный, домашней вязки шерстяной платок, края которого она плотно держала худыми желтыми пальцами. Мазин ждал, что его пригласят присесть, но тетка смотрела светлыми настороженными глазами и ждала, не моргая, что скажет неожиданный визитер.

— Где же Светлана? — спросил Мазин, поглядывая на стул.

— В магазин я ее послала. За молоком.

— Значит, вернется скоро?

— Должна скоро, если не забежит куда. А у вас-то к ней какое дело?

— Я, Екатерина Кондратьевна, из милиции, — сказал Мазин, не видя больше смысла скрывать цель своего посещения.

— Из милиции? А не ошиблись ли?

— Думаю, что нет.

— Что ж это Светлана могла натворить? Неужто мотоцикл подвел?

Говорила тетка грамотно, и видно было, что цену себе она знает. Мазин отметил это мельком. Больше его заинтересовало упоминание о мотоцикле.

— Оказывается, Светлана увлекается мотоспортом? Я этого не знал.

— Зачем же вы пришли?

— Я хотел побеседовать с вашей племянницей об Антоне Тихомирове.

— Об Антоне? Вот оно что! Поздно вы о нем спохватились. Говорят, он мог профессором стать. Правда это?

— Правда.

Не дожидаясь приглашения, Мазин присел на черный венский стул. Екатерина Кондратьевна вскарабкалась на высокую кровать.

— Не довелось, значит, Светлане жизнь устроить. А вы ее еще теребить пришли. Что она вам сказать может? Зачем человека понапрасну нервировать?!

— Мы ни в чем не подозреваем вашу племянницу.

— Еще бы!

Она хотела что-то добавить, но в коридоре послышалось движение. Отворилась дверь, и вошла Светлана.

— А вот и сама.

Светлана прищурилась слегка, и Мазин понял, что она близорука, но не хочет носить очки. Действительно, они не пошли бы к ее спокойному, здоровому лицу.

— Здравствуйте, Игорь Николаевич. Как вы меня разыскали?

— Мне сказали ваш адрес в общежитии.

— Да, теперь я живу у тети. Я нужна вам?

— Мне хотелось бы поговорить с вами. Но я опасаюсь, что мы побеспокоим Екатерину Кондратьевну.

— Ну, это ничего. Я уже на ходу. Могу и у соседки посидеть.

Не дожидаясь ответа, тетка соскользнула с перины прямо в растоптанные домашние туфли и, запахнув платок, направилась из комнаты. Светлана достала из сумки хлеб и бутылки с молоком.

— Садитесь на тахту, — сказала она. — Здесь удобнее.

— Спасибо. Я привык пожестче.

Светлана не настаивала. Сама она села удобно, по-домашнему, поджав под себя ноги и натянув на коленки край короткой юбки. Над головой ее между полкой и тахтой висела

фотография Цибульского, вырезанная из журнала. Збышек поглядывал на Мазина из-под темных очков.

— Я вас слушаю. Неужели дело еще тянется?

— К сожалению. Собственно, фактически оно закончено, но кое-что мне бы еще хотелось уточнить.

— Разве есть основания предполагать... что-то другое... не несчастный случай?

— Я этого не говорил, — ответил Мазин уклончиво.

— Но ведь дело возбуждается только в том случае, если предполагается преступление.

— Ого! Вы редкий человек. Немногие обладают такими юридическими познаниями, — отшутился Мазин. — Однако если уж вы интересовались этой проблемой, то должны знать, что на нее существует целый ряд точек зрения.

— Я говорю о законе.

Мазин переменил тон.

— Тогда напомню, что по закону ни один человек не может быть признан виновным иначе чем по решению суда, а следствие есть просто следствие, и далеко не всегда оно заканчивается передачей дела в суд.

Она отступила.

— То есть у меня есть надежда оправдаться?

Обстановка разрядилась.

— Да, если вы будете умело защищаться.

— Я готова.

— И напрасно. Я пришел с другой целью. Я хочу, чтобы вы рассказали о Тихомирове. Просто о Тихомирове как о человеке. Каким вы его представляли.

Сейчас Светлана казалась не такой, как при первой встрече. Она не всхлипывала и держалась спокойно, однако в спокойствии чувствовалась напряженность, это было сосредоточенное спокойствие. И чтобы подтвердить или опровергнуть свое впечатление, Мазин повторил:

— Каким вы его знали...

— Думаете, это легко? Потерять близкого человека... Меня утешают. Вспоминают войну. Но тогда убивали многих, а сейчас не повезло мне одной.

Это «не повезло» она произнесла не цинично, а с чувством покорности неизбежному.

— Так что вам рассказать?

— Обо всем. Как вы познакомились... ну и дальше. Конечно, о чем не хочется, не говорите.

— Я не помню, как мы познакомились. Да мы и не зна-

комились: Антон вел в нашей группе практические занятия. Ну, и как-то постепенно обратил на меня внимание.

— Вы встречались с кем-нибудь в это время?

— Серьезно нет, но, как и каждая девчонка... Был один парень. В школе учились вместе. Он окончил авиационное училище. Мы переписывались. У меня на столике стояла его фотокарточка. Когда Антон зашел ко мне в первый раз — он проверял жилищные условия студентов по поручению деканата, — спросил, кто это. Я так глупо ответила, как мы всегда отвечаем: двоюродный брат. Не знаю, зачем даже.

— И больше он про вашего летчика не спрашивал?

— Нет. А зачем? Олег ему ничем не угрожал.

— Вы с ним давно порвали?

— Просто я перестала ему писать.

— А он?

— Ну, знаете мужчин... Для них самолюбие так много значит. Звонил, просил сказать правду... При чем тут правда? Я его не любила — в этом и была правда.

— Но он воспринимал все гораздо острее?

— Ничего. Олег — очень симпатичный мальчик и нравится девушкам. В старых девах не останется.

— Ладно, будем считать, что он утешится.

Светлана поправила юбку на коленях.

— Если я и доставила ему неприятности, то расплатилась за них.

— Вы не жалеете, что порвали с ним?

— Нет, — ответила она без колебаний. — Антон погиб неожиданно, а с Олегом мне пришлось бы ждать этого каждый день. Вы знаете, что такое реактивщик?

— Приблизительно. Но, между прочим, мотоцикл тоже не безопасное занятие. У меня есть приятель в ОРУДе. Он уверяет, что еще ни один мотоциклист не прожил свой век с нетронутыми костями.

— Ну, я мало езжу. Своей-то машины у меня нет.

— А вы хотели бы иметь мотоцикл?

— Я хотела бы иметь «Москвич».

— Или «Волгу»?

— «Москвич» современней.

— Вы и машиной управляете?

— Нет. Но вы спрашивали об Антоне.

— Конечно. Я отвлекаю вас. Каким он вам показался с самого начала?

— Не знаю, с самого начала я не думала об этом. Но потом увидела, что у нас много общего. Нам самим приходилось

добиваться. Никто не помогал. Вы думаете, это легко — поступить в университет?

— Трудно?

— Я поступала два раза. Работала лаборанткой в ботаническом саду.

— Приятное место.

— Летом. А зимой, знаете? Руки мерзнут, земля всегда под ногтями.

— Но вы, кажется, из деревни?

— Родители преподают физику и математику в районной десятилетке.

— А вам это занятие не по душе?

— Вы угадали... Антон тоже не любил деревню. Знал, что это за мед. Не по газетам. Вам странно такое слушать? А я правду говорю.

— Он оставил там жену, — сказал Мазин, не принимая вызова.

— Вы, как моя тетка, рассуждаете. Говорит, что меня бог наказал за женатого.

— Его он наказал больше.

— Никто никого не наказывал! Антона не за что было наказывать. Ему просто не везло. Он всегда чувствовал, что ему не везет.

— Он говорил об этом?

— Да, он часто говорил об этом.

— А о чем вы еще говорили?

Она пожала плечами.

— Обо всем. Он хотел многого достигнуть. Но ему был нужен близкий человек.

— И вы могли стать таким человеком?

— Да, — сказала она убежденно. — Со мной ему было хорошо.

— Расскажите, как складывались ваши отношения. Сразу удачно или трудно? Были ли осложнения?

— Осложняла только Кротова.

— Каким образом?

— Он считал себя обязанным ей. Как будто можно любить из благодарности!

— Так он говорил вам?

— Нет. Это я ему говорила.

— Вы думаете, что понимали его? Ведь с Тихомировым было трудно, наверно? С двумя женщинами жизнь не сложилась.

— В этом он не виноват. Он был хороший. Просто ему не

везло, — повторила Светлана. — Ему нужна была не такая женщина, как они...

Из записной книжки Антона Тихомирова:

«Удивительно, как быстро я забыл Ир. Даже о сыне почти не думаю. А ведь когда мы поженились, я был уверен, что это на всю жизнь. Конечно, Ир. оказалась далеким от меня человеком, очень приземленным, но мне она не сделала ничего плохого. Я никогда не испытывал к ней враждебности, и тем не менее она больше не существует для меня. Это обидно. Обидно потому, что, вычеркнув из жизни ее, я потерял и ту часть своей жизни, которая была пройдена вместе.

Но главное — мысли, которые приходят в голову о любви вообще. Почему то, что казалось дорогим, обесценивается до нуля? Значит ли это, что подвиги всевозможных Ромео и Джульетт — лишь ненормальные отклонения? Срабатывает механизм продолжения рода и отключает разум? Но «продолжить род» в самом непосредственном и вульгарном смысле мы можем и независимо от любви. Зачем же психозы и иллюзии?

Как далеки мы до сих пор от понимания наиболее сложных процессов в человеке. Говорят о необъятных перспективах генетики, но при моей жизни мы вряд ли уйдем дальше умения предостерегать от производства на свет дебилов. До глубинных процессов, определяющих личность, а не плоскостопие, дотянутся в лучшем случае внуки. А нам по-прежнему остается вместо науки философия. И никто мне не скажет, как сложатся мои отношения с Инной через год. А впрочем, если бы это можно было узнать, я побоялся бы заглядывать в будущее. Когда я таскал трехпудовые мешки, чтобы заработать на апельсины для беременной Ир., я б не поверил никакой машине, отгадавшей правду. Хорошо, что такой машины нет и сегодня. Но с другой стороны, должны ли мы прятаться от фактов, как страусы? Люди изживают в себе друг друга не потому, что не сошлись характерами. Зачем же лицемерить, взваливая вину на любимого недавно человека? Или хотя бы на самого себя?»

— Ему нужна была не такая женщина, как они.

— А что вы знаете о них?

— То, что он рассказывал. С женой они учились в одной группе. Она была старостой, и ее прикрепили к Антону, потому что он считался пассивным — не ходил на собрания, не занимался спортом. А она активистка. Он так и говорил: «Она полюбила в порядке шефства. Слишком серьезно воспринимала комсомольские поручения. Но, выйдя замуж, решила, что теперь-то уж я спасен окончательно, и забыла обо мне. Стала вытаскивать из прорыва очередной объект — пришкольный участок».

— Может быть, это жестоко? — спросил Мазин.

— Нет, он не говорил о ней плохо.

— А об Инне Кротовой?

— Я ж сказала. Он считал себя обязанным...

— А вы ревновали?

— Зачем? Мне нравилось, что он порядочный человек. Он мне все рассказал, когда объяснился. Даже это лишнее было, и мне неприятно было слышать. Но он не хотел никаких обманов с самого начала. И я это поняла. И он вообще вел себя очень хорошо. Не лез, как это теперь принято. Мы были в театре, а потом гуляли, и он мне все сказал. Мы смотрели пьесу «Такая любовь». Там про девчонку, которая полюбила женатого. Когда мы вышли, я хотела поговорить об этой пьесе, но видела, что ему нужно сказать, и ждала, не хотела мешать.

Антон сказал так вроде в шутку:

— Видите, Светлана, как опасно полюбить мужчину с прошлым.

Она смолчала.

— Но и однокурсника, по-моему, тоже не лучше.

— Почему?

— В этом возрасте люди мало знают жизнь и часто ошибаются.

— Ошибаться в любом возрасте можно.

Он не знал, как продолжить. Светлана решила помочь ему.

— По-моему, нет таких людей, которые бы не ошибались.

— Да, — обрадовался Антон. — Я тоже... много ошибался.

— Вы говорите как старик.

— А я и есть старик. Седеть начинаю.

— Для мужчины это не страшно.

— Женщины всегда утешают.

— Что поделаешь, если мужчинам это нравится.

— Значит, вы утешаете неискренне?

— Я вообще не люблю утешать. Утешают тех, к кому равнодушен. А кого любишь — с тем переживаешь вместе.

— Светлана, мне кажется, что вы очень надежный и верный человек. Вашему мужу очень повезет. Я ему завидую.

— Я пока замуж не собираюсь.

— Вы никого не любите?

— Разве об этом обязательно говорить преподавателю?

— Сейчас я не преподаватель, Светлана. Скажите...

— Что сказать, Антон Николаевич?

— Вы... вы могли бы полюбить такого человека, как я? Немолодого уже, у которого было много ошибок.

Из записной книжки:

«По-моему, мужчина проходит в любви три стадии. Сначала первая. Организм еще не отрегулирован, он нуждается в женщине, не зная, что это такое, испытывает непреодолимую тягу к человеку противоположного пола — и только. Отсюда юношеские браки, случайные, стихийные и неодолимые. Не считаются ни с чем — ни с материальными факторами, ни с духовными, иногда даже с чудовищной разницей в возрасте. Я прошел эту стадию. Может быть, мне повезло с Ир. больше, чем другим, но кончилось все закономерно и неизбежно. Наступает зрелость, человек познает себя и видит, что совершил ошибку. Итог ясен. Вторая стадия сложнее. Она противоположна первой. Выбираешь ту женщину, которая кажется необходимой. Случайность исключается. Но лишь на первый взгляд. Разум устраивает злую шутку. На третьей стадии он приходит в противоречие с физическими стимулами. Организм уже разработан, его не убедишь силлогизмами, он отвергает все, что признавалось главным вчера, — понимание друг друга, духовную потребность. Мораль только мешает. Молодость и разнообразие становятся дороже самого близкого понимания. Делаешь отчаянные попытки одолеть себя и катишься под гору, как мальчишка с ледяной крепости. Борьба окончена — выбор сделан. Человек побежден, остался самец, который заглядывает под юбку, произнося дежурные слова о любви. Благо они хорошо усвоены за десять-пятнадцать лет».

— Так мы объяснились. Антон был очень счастлив, даже нарвал цветов с клумбы в парке. Совсем как мальчишка... Мы часто говорили о будущем, как будем жить. Он надеялся после защиты получить место в Москве. Собирались вступить в кооператив, поехать за границу, когда-нибудь машину купить. Да мало ли чего не собирались! А вот чем кончилось...

Мазин видел, что спокойствие ее идет не от равнодушия, а от большой выдержки. Но было в этой выдержке что-то такое, что не нравилось ему.

— У вас еще все будет.

— А Антон?

Мазину стало неудобно. Тогда, в прошлый раз, эта девушка показалась ему слабее.

— Вы знали Игоря Рождественского? — спросил он, не ответив на вопрос.

— Да, конечно.

— Они дружили с Антоном?

— Считалось, что дружили.

— А на самом деле?
— Он завидовал Антону.
— Завидовал чему?
— Антон был талантливее его, и он это знал.
— У вас были стычки с Рождественским?
— Нет, но он относился ко мне плохо. Я это чувствовала.
— А с Инной Кротовой вам приходилось встречаться?
— Я видела ее.
— Вас познакомил Тихомиров?
— Ну что вы! Я сама пошла.

Мазин заметил, что об этом ей говорить не хотелось. И Светлана подтвердила:

— Конечно, о Кротовой мне говорить не хочется... Но раз уж вас интересует все... Я поступила по-бабски. Знала про нее и про Антона, и мне хотелось увидеть ее. И я пошла в музей, чтобы увидеть ее. Наверно, это было нехорошо.

— Это можно понять.

— Да, но не подумайте, что я боялась ее. Она не была мне соперницей, потому что Антон не любил ее. Мне просто хотелось посмотреть, чтобы знать о нем все. Я хотела знать о нем все. И он тоже хотел, чтобы я все о нем знала. Он много рассказывал о себе. С самого детства, когда они еще жили в одном доме. И о Кротове. Он считал его гениальным. И о войне, и о немцах. Сколько страха он пережил, хотя был совсем маленький! А потом он окончил школу с медалью, чтобы обязательно поступить в университет.

— Да, это я знаю. Скажите, Светлана, как был настроен Тихомиров в последнее время, перед защитой?

— Волновался, конечно. Это ж была необычная защита. Диссертация могла быть принята как докторская.

— Он никогда не говорил вам, что использует в своей работе неопубликованные выводы Кротова?

Светлана помедлила с ответом.

— Он говорил, что пытается развить его идеи.
— Вы виделись с ним в день защиты?
— Да, он заезжал в общежитие.
— Вы жили тогда в общежитии?
— Так мне удобнее, ближе к университету.
— Что он говорил вам?
— Сказал, что, кажется, все в порядке и сразу после защиты позвонит мне.
— Но позвонил не сразу?
— Антон говорил, что не мог дозвониться. Телефон был занят. Это часто бывает.

— А когда дозвонился, то просил вас приехать к нему?

— Я ж говорила раньше.

— Да, мы говорили об этом. И сознаюсь, Цербер подтвердила ваши слова. Вы не обижены?

— Чем?

— Тем, что я проверял вас.

Она покачала головой.

— Это же ваша работа.

— Моя работа, — повторил Мазин слова Светланы. — Но не только.

— А что же, хобби? — пошутила она.

— Хобби? — переспросил Мазин. — Этим малопонятным словом, кажется, называют всевозможные увлечения. Если, например, человек разводит кактусы.

— Или собирает наклейки с винных бутылок.

— Совершенно верно. Я занимаюсь наклейками. Вино пью на работе, а дома отпариваю этикетки. Попадаются любопытные бумажки, между прочим.

— Не понимаю вас.

— Что тут непонятного? Иногда хочется узнать больше, чем требуется по ходу дела. Вот и сейчас, хотя я в отпуске...

— В отпуске? — удивилась она.

— В отпуске. И дело закрыто.

— Но вы сказали...

— Что оно не закончено? Я не совсем точно выразился. Юридически оно прекращено, однако для меня самого остались невыясненными некоторые, возможно, несущественные детали. Вроде наклеек. Конечно, наклейка — это чепуха, собственно, по сравнению с самим содержимым бутылки. Но вот находятся люди, для которых эта бумажка неожиданно приобретает реальную ценность. Так и я. Теперь понимаете?

Светлана покачала головой.

— Что вы все-таки хотите сказать?

— Прежде всего, что вы можете не разговаривать со мной, если вам это не нравится.

Она впервые глянула с беспокойством.

— Но вам нужен этот разговор?

— Да, нужен.

— Почему?

Мазин встал со стула и подошел к окну. Внизу девушка в плаще болонье разговаривала с парнем. Слов не было слышно. «О чем они? Впрочем, это понятно... А понятно ли? Все можно понять? Поставить себя на место другого! Например, этой Светланы. Насколько она искренна? Чего она жда-

ла от будущего? О чем мечтала? Она говорит, что любила... Почему бы и нет? Это очень просто и естественно в ее возрасте. А ненавидеть? Это тоже просто? В чем я могу подозревать ее?»

Он полез в карман и достал конверт с запиской, полученной в последний день следствия.

— Потому что после того, как я закрыл дело, мне прислали вот эту бумажку.

Он протянул конверт Светлане.

— После?

Она взяла его, вернее, протянула руку, но смотрела прямо в лицо Мазину, и ему пришлось вложить конверт в протянутую руку.

Светлана открыла конверт, достала бумажку и рассматривала ее долго, как бы не понимая, о чем идет речь, а может быть, обдумывая, что сказать.

Он ждал. Наконец она пожала плечами.

— Вы же следователь, вам должно быть виднее.

— Судя по записке, в тот вечер с Тихомировым произошло нечто необычное, и, возможно, это оказалось причиной или как-то повлияло на его смерть.

— Значит, все-таки...

— Пока ничего не значит, фактов нет.

Мазин забрал из ее рук конверт и записку, вложил записку в конверт и не спеша спрятал. Молча. Потом опять глянул на Светлану. Спокойствия и уверенности стало меньше. Она перебирала пальцами край юбки, не зная, видимо, что сказать, а Мазин все молчал и ждал. Он хотел услышать, что скажет она сама, без его подсказки. Это было очень важно, и он ждал.

— Что же вы... что вы хотите от меня?

Мазин вздохнул. Пожалуй, можно было не сомневаться, что он услышит именно эти слова.

— Дело в том, что записка вызывает очень много вопросов, но прежде всего хотелось бы ответить на два. Кто такой И.? И кто мог переслать записку мне?

— Разве вы не знаете, кто ее переслал?

— Нет, — ответил Мазин и сам подивился уверенности своего голоса. — Вы же видели, что на конверте нет обратного адреса.

— Да, правильно.

— Возможно, этот человек хотел помочь следствию, а может быть, ему хотелось просто навредить М.

— Почему ж он не назвал его?

— Наверно, опасался раскрыть себя такими подробностями. Кроме того, мне кажется, что с этим человеком нам приходилось встречаться в ходе следствия и он не хотел демонстрировать свой почерк.

— Но зачем вы говорите все это мне?

— Вы были очень близки с Тихомировым. Может быть, вы подскажете, кто такой И.?

— Откуда мне знать?

Это было сказано слишком быстро.

— Не торопитесь.

— Я ничем не могу помочь вам.

— Хотя и знаете по меньшей мере двух И.?

— Двух?

— Да, Инну Кротову и Игоря Рождественского.

— Но вы же их тоже знаете!

— Меньше, чем вы.

— Нет. Я их не знала и знать не хочу. Кроме вреда, они ничего не принесли ни мне, ни Антону.

— Тем более вы должны быть заинтересованы в раскрытии истины.

Мазин шагнул на другую половину комнаты и подошел к нише в стене, задернутой белой чистой шторой. Она была приоткрыта. В нише на подставочке, покрытой вышитым полотенцем, стояла старая икона без рамки. На потемневшей доске печальная длинноносая женщина прижимала к себе младенца со взрослыми усталыми глазами. Под иконой лежал пучок высохших вербовых веток.

Светлана наблюдала за ним с тахты.

— Это теткино. Она, сами понимаете, женщина старая.

— Понимаю. Так что вы думаете, могла написать эту записку Инна Кротова? — спросил он, все еще разглядывая грустную мать с младенцем.

— Почему именно Кротова?

— Потому что с Рождественским они провели вместе почти весь день, и у него не было необходимости предупреждать таким образом Тихомирова, если б он и захотел с ним неожиданно поговорить. Остается Кротова.

Мазин услышал сухое:

— Могла.

Он обернулся.

— Зачем?

— Думаете, она простила его?

— Откуда мне знать.

— Я уверена, что нет.

— Чего же она добивалась?

— Хотела повредить ему. Может, надеялась, что он вернется.

— Вряд ли. В записке написано: «Речь идет не обо мне». Значит, если писала и Кротова, то дело не в ней.

— Вы просто не знаете женщин!

Мазин улыбнулся.

— А кто их знает? Знают они себя сами? Например, вы!

— Я знаю.

— Предположим. Итак, вы считаете, что записку могла написать Кротова и побудило ее неприязненное отношение к Тихомирову.

— Да.

— Однако вы говорите уверенно, а вначале будто сомневались?

— Вы меня убедили.

Мазин уловил враждебность.

— Извините, — уклонился он, — иногда это бывает. Но вы не казались мне человеком, легко поддающимся внушению.

— Интересно, какой я вам казалась?

Сказано было с вызовом, и теперь его стоило принять.

— Так как мы беседуем неофициально, я не скрою. Вы показались мне спокойной, уравновешенной, человеком, который стойко переносит несчастья и делает то, что хочет сделать. Так мне показалось вначале.

Слово «вначале» он выделил, и она это заметила.

— Вначале? А теперь?

«Пожалуй, это не совсем честно. Черт с младенцем! Но с младенцем ли? Ладно, выпалим из пушек по воробьям».

— Видите ли, Светлана, я занимаюсь своим делом — а это одновременно и хобби — не первый день. И не первый год. И, увы, приходится сознаваться, даже не первый десяток лет. За эти годы у меня накопился опыт, навыки. Поэтому я, к сожалению, редко ошибаюсь. Говорю — к сожалению, потому что раньше, когда ошибки бывали, жилось веселее. Но это лирическое отступление или, если хотите, следовательский прием, чтобы отвлечь вас от главного. Иногда мы так поступаем. — Он с удовольствием наблюдал, как она старается определить, где кончаются шутки в его словах. — Иногда. Но не сейчас. Сейчас я хочу сказать, что уже давно не ошибался на все сто процентов. Поэтому пересматривать полностью свое мнение о вас я не собираюсь. Я сказал, что вы делаете то, что находите

нужным, и это, по-моему, верно. Хотя здесь я и расхожусь с Игорем Рождественским, который относит вас к категории людей, не знающих, что творят.

— А ему-то какое до меня дело?

— Никакого. Просто к слову пришлось. А о чем я, собственно, говорил?

— О моем характере.

— Да, именно. Впрочем, не совсем. Скорее о том, какой я вас представлял. Так вот, некоторые свои взгляды мне пришлось пересмотреть.

— Какие же именно?

— Я считал вас более искренней.

Теперь она сидела не кокетливо, поджав ноги, а очень прямо. Мазин же снова уселся на стул, свободно, тяжеловато, откинувшись на закругленную спинку.

— По-вашему, я вру?

— Ну, таких слов мне не хотелось бы употреблять.

— Лучше говорить откровенно. Вы ж не на свиданье сюда пришли.

Он засмеялся:

— Мне казалось, что на свиданьях люди бывают откровенны.

— Вы все время шутите.

— Немножко.

— Так почему вы думаете, что я вру?

— Нет, в такой форме говорить я отказываюсь.

— Ну говорите, как вам нравится.

— Спасибо! У меня есть некоторые основания полагать, что вы все-таки виделись с Тихомировым после защиты.

— Почему?

— Вы сказали, что он звонил вам из ресторана и приглашал приехать к нему. Так?

— Да, так.

— Но вы отказались?

— Отказалась.

— И больше он вас не увидел?

Мазину показалось, что она заколебалась, прежде чем ответить, но ответ прозвучал твердо:

— Нет, не видел. Он меня не видел.

— Однако после звонка вы ушли из общежития.

— Почему вы так думаете?

Он решил сказать правду. Он чувствовал, что здесь правда — лучший метод. И он сказал:

— Вахтерша сказала.

— Эта сплетница?

— Хотите сказать, что ей нельзя верить?

— Поостереглась бы.

— Я бы тоже, наверно. Но она не одна вами интересовалась в тот вечер.

— Кто же еще, если не секрет?

— Скажу, хотя меня и просили не говорить. Олег. Тот самый парень, которому вы перестали писать. Как видите, он не утешился.

— Жаль.

Светлана смотрела зло.

— Конечно, жаль парня.

— Что же вы от него узнали?

— С ним я пока не разговаривал. Просто знаю, что он приходил. Они поднялись к вам вместе с вахтершей, но вас не было.

— И вы решили, что я поехала к Антону?

— Это одно из предположений. Вы могли пойти за хлебом, например, в дежурный магазин. Или отправиться к тетке. Или просто не открыть дверь, на худой конец. Что вам больше нравится?

— Мне не нравится, что вы со мной разговариваете как с преступницей. Вы не имеете права!

— Конечно, не имею.

Она замолчала. Она никак не могла его понять.

— Но знаете, это как самонастройка в телевизоре. Получается механически. Не веришь человеку — и появляется определенный тон.

Мазин говорил доверительно, как будто делился чем-то, не имеющим никакого отношения к происходящему.

— В чем же вы мне не верите? — повторила Светлана, раскрыв большие серые глаза с длинными, совсем не подкрашенными ресницами.

— Мне кажется, что вы были ночью у Тихомирова.

— А если я была у тетки?

— Нет, у тетки вас не было.

— А эти сведения откуда?

— Тоже от Олега.

— Вы же его не видели!

— Не видел. Но он говорил об этом вахтерше. Она выразила предположение, что вы отправились сюда. А он ответил, что пришел в общежитие прямо от Екатерины Кондратьевны и вас там нет.

— Вот уж не ожидала от него такой прыти.

— Я ж сказал, что он не утешился.

— Значит, я ошиблась.

— Не только в этом.

— Неужели вы думаете, что я могла убить Антона?

Ресницы ее задрожали. Теперь она снова походила на ту Светлану, что запомнилась ему с самого начала. Он невольно посмотрел на ее полные коленки, потом на растерянное лицо и подумал, что на сегодня достаточно.

— Неужели... неужели вы думаете, что я... что я... убила Антона?

— Вряд ли. Но я думаю, что вы должны больше знать о его смерти.

Мазин поднялся.

— Странно, но до получения этой записки я считал все происшедшее простым, а теперь вижу, что дело не так уж просто... Конечно, о том, что Тихомиров воспользовался трудом Кротова, вы могли и не знать...

— Как воспользовался?

— Не очень честно. Неприятно говорить, но что поделаешь.

— Не может быть. Он всегда так относился к Кротову! Это она его оклеветала. Она. Из мести. А он был замечательный.

— Да... Вы могли и не знать. А могли и узнать... Случайно, скажем.

— Зачем вы издеваетесь?

Сейчас она была некрасивой, посеревшей какой-то, несмотря на румяные щеки.

«Хватит», — решил Мазин.

— Простите. Я, кажется, немного выбил вас из колеи. Но мне хотелось найти у вас поддержку. Я ведь должен докопаться до истины. Значит, вы не были у Тихомирова?

Она заморгала.

— Конечно, вы могли и разминуться с Олегом. Извините. Все наделала эта записка. Не будь ее, я бы уже забыл о деле Тихомирова. У нас так много работы.

Он взялся за ручку двери.

— Если вы понадобитесь, я побеспокою вас.

ИРИНА

На станции, куда Мазин добрался поездом, ему сказали, что до Красного ходит автобус, что по шоссе туда одиннадцать километров, но есть и проселочная дорога — километра на четыре короче, и сейчас, посуху, по ней частенько «бегают» машины.

Почти неожиданно для себя он выбрал третье решение. Отправиться по проселку пешком. Стоял ясный осенний день. Солнце уже не пригревало, но заливало степь таким ярким веселым светом, что Мазину захотелось побыть наедине с этой степью, этим светом и самим собой.

Он пересек железнодорожные пути, прошел через маленький базарчик, где торговали яблоками, кислым молоком в глиняных крынках и тугими малосольными огурцами, и зашагал по широкой немощеной улице туда, где кончались разбросанные среди садов дома и начиналась дорога — хорошо пробитая в черноземе поблескивающая полоса, что тянулась мимо вспаханных полей и побуревших лесопосадок, спускаясь в поросшие кустарником балки и взбираясь по пологим пригоркам, тоненький и длинный шнурок, расчертивший землю под низким и холодным осенним солнцем.

Мазин шел легко и, вместо того чтобы обдумывать предстоящий разговор, вообще ни о чем не думал, а дышал только свежим воздухом и озирался по сторонам, представляя себя с огромной солнечной высоты маленькой точкой, едва ползущей по бескрайней земле.

Он весь отдался этому наполняющему силой ощущению простора, когда прямо за спиной услыхал лошадиный храп и женский испуганный голос:

— Тп-рр-руу!

А потом с ним поравнялась двуколка, и женщина, сидевшая в ней, сказала с упреком:

— Разве ж можно посреди дороги ходить?! Да еще не слышите ничего. Я ж вам кричу, кричу...

Она была в платке и стеганке, но Мазин видел, что это не колхозница, хотя руки ее держали вожжи привычно и свободно. Женщина дотронулась длинной гибкой хворостиной, которая заменяла ей кнут, до гладкой вороной спины лошади, и та, подчиняясь сигналу, снова взяла на рысь. Двуколка проехала мимо Мазина, но недалеко. Женщина, не останавливаясь, повернулась вдруг назад и посмотрела на него.

— Послушайте, вы не следователь будете?

— Он самый, — ответил Мазин, подходя поближе и сожалея, что так хорошо начатая прогулка сейчас будет прервана.

Женщина ждала, собрав вожжи в руку.

— А я на станцию приезжала вас встречать. У нас-то телеграфа в Красном нет, так что, пока сообщат...

И Мазин понял, что она с опозданием получила его телеграмму и не успела на станцию, а теперь спешит домой, чтобы встретить его с автобуса.

— Вы, значит, пешком решились? — улыбалась Тихомирова, довольная, что встретила-таки его. — Сейчас хорошо пройтись, погода-то золотая стоит, но далековато все же, семь верст...

Она сказала «верст», а не «километров», потому что здесь, видно, и сейчас люди говорили так, как привыкли их деды.

— Садитесь!

Мазин взялся за борт двуколки и, неловко скользнув ногой по колесу, плюхнулся рядом на деревянное сиденье.

— Устроились? — Она подвинулась, освобождая ему побольше места. — Ну, пошла!

И колеса запрыгали по неровной колее.

— Значит, вы и есть Ирина Васильевна?

— Я и есть Ирина Васильевна, — привычно, по-учительски, называя свое отчество, ответила она. — Вы, собственно, что узнать-то от меня хотите?

— Я хотел побеседовать с вами об Антоне Тихомирове.

— Разве он разбился не случайно?

— Всякая смерть требует расследования, даже на больничной койке. Вы же знаете. Так что не пугайтесь.

— Чего мне пугаться? В чем смогу — окажу вам помощь. Но мы-то давно с ним разошлись.

— Я знаю.

Он мог бы сказать, что, несмотря на это, она виделась с Антоном Тихомировым в день смерти или, во всяком случае, хотела повидаться, но решил начать с другого, с того, что было для него не менее важным.

— Я знаю. Я и хотел поговорить с вами о прошлом. Видите ли, чтобы правильно понять человека, нужно знать о нем многое, и прошлое может оказаться не менее важным, чем настоящее.

— Если так глубоко берете, значит, сомневаетесь, — сказала Ирина, глядя прямо перед собой. Дорога бежала вниз, по склону балки, к мелкой речке. Речка текла, подмывая желтый глинистый берег.

Ирина притормозила лошадь, и та стала спускаться медленно, осаживая напиравшую двуколку. У самой воды, неторопливой и зеленоватой, сквозь которую хорошо было видно прорезанное колеей дно, она совсем остановилась и, наклонив вздрагивающую голову, коснулась поверхности темными мягкими губами.

— Пить хочет, — пояснила Ирина и, соскочив на землю, освободила рот лошади от железного мундштука. Та стала пить, поднимая голову при каждом глотке, роняя в речку стекавшие

по губам капли. Колючие кусты нависали над дорогой, сквозь ветки виднелись сизые, похожие на мелкую сливу плоды.

— Что это? — поинтересовался Мазин, указывая на куст.

Ирина отошла с дороги и сорвала несколько слив. Опустила их прямо на ладони в воду, стряхнула и протянула Мазину.

— Пробуйте.

Он осторожно прокусил сизоватую корочку. Внутри слива была темнее, очень сладкая, холодная. Мазин с удовольствием положил ее в рот.

— Терн это, — пояснила Ирина. — Кислятина страшная, а вот прибьет морозцем — вкусный становится.

И, взобравшись на двуколку, тронула лошадь.

Та осторожно ступила в воду — от копыт поднялись дымки взбудораженной глины — и пошла медленно, расчетливо ставя ноги на невидимое дно. Вода поднялась почти до половины колес. Мазину показалось, что сейчас будет еще глубже, он напряг ноги, собираясь поджать их под себя, но делать этого не пришлось, потому что дорога взяла вверх, лошадь пошла увереннее и быстрее, и вот уже колеса, отбрасывая прилипшие мокрые комья, закрутились снова быстро, и они опять поехали степью, вдоль лесополосы, мимо оседлавших полуголые ветки грачей, подозрительно поглядывавших на проезжих.

— Антон любил мороженый терн, — сказала Ирина.

Но Мазин опять не думал о Тихомирове, а смотрел на маленький трактор на дальнем поле, что полз по краю огромного черного квадрата, и ему не верилось, что такой гигантский квадрат может вспахать такая маленькая машина. Потом и это поле сдвинулось вправо и назад, а впереди в низине показалось село — где под шифером, а кое-где под соломой. И среди этих белых, издалека казавшихся очень чистенькими хаток Мазин увидел красное кирпичное здание, окруженное рядками деревьев, молодых еще, но ухоженных, крепких и ветвистых.

— Это школа наша, — махнула Ирина прутиком на красное здание.

— Сад вы разводили?

— Мой, — ответила она с гордостью. — На пустыре вырастили. Сколько труда стоило. Антон все ругал меня. Говорят, что я тут и счастье свое потеряла. — Она сказала это иронически и добавила, чтобы пояснить: — А я думаю, что его с самого начала не было. — И остановилась у одного из домиков под шифером.

— Вот здесь и живу.

— С самого начала?

Она поняла:

— Да, мы вместе здесь жили.

Мазин с удовольствием размял на крыльце затекшие ноги.

— Входите. Раздевайтесь. Вот умывальник, полотенце... Мойте руки. Сейчас обедать будем.

— Да я не голоден.

— Ну, это вы по-городскому застеснялись. А у нас все попроще. Разносолов, правда, особых нету, да поесть же с дороги нужно. На голодный желудок какой разговор! Злой будете, а мне это опасно.

Пошутила она впервые, видно, увереннее себя чувствуя под своей крышей. И тут же засуетилась, набрасывая на стол чистую скатерть.

Мазин вымыл руки под железным рукомойником, медленно вытер их, несколько смущенный приемом и размышляя, не правильнее ли было приехать официально и остановиться в доме для приезжих. Но бежать было поздно, и пользы такое бегство принести уже не могло, а могло нарушить только тот контакт, который, несмотря на кратковременность знакомства, успел, как он чувствовал, установиться у него с Ириной.

На столе тем временем появились высокий белый хлеб домашней выпечки, свиная колбаса, нарезанная большими кусками, малосольные огурцы, поздние буроватые помидоры и бутылка «Московской».

Мазин покачал головой. Но Ирина и себе налила, как и ему, полную стопку, хотя выпила не всю, а половину только. Вытерла губы краем фартука и сказала серьезно:

— Не пойму я все-таки, что вы от меня хотите узнать.

И Мазин видел, что женщина эта из тех, которые живут в ясном, определенном мире, и она должна знать, что же от нее требуется.

Он закусил хрустящим, очень вкусным огурцом и ответил:

— Антон погиб. Скорее всего это несчастный случай. Но обстоятельства смерти до конца неясны. Можно предполагать и самоубийство, и даже худшее — насильственную смерть. И чтобы узнать правду, мне необходимо знать побольше о самом Тихомирове: каким был он человеком, на что был способен. Это может приоткрыть дверцу в пока неизвестное... Поэтому расскажите о нем то, что знаете, что запомнилось, что за человек он был, по-вашему. Если вам не тяжело все это.

— Тяжело, конечно. Это ж жизнь моя... неудачная, как видите. Да сейчас уж чего говорить. Не зря ж вы сюда ехали...— Она сложила руки на коленях. — Наверно, хорошо его я никогда не понимала, иначе не получилось бы этой нашей ошибки. Был он человеком, ну как вам сказать, умным, но само-

уверенным. Особенно самоуверенным. Если что сделал — все. Прав, и только. Не помню я, чтоб он себя хоть раз виноватым признал. Очень был упрямый. Группа его прорабатывает, стыдит, а он сидит молчит, в окно смотрит: дескать, слыхал я все это десять раз. Никто его перевоспитать не мог. И я тоже... не смогла, запуталась только. Все с этого и началось. Дали мне поручение общественное — отвечать за него. Смешно, конечно. Теперь-то я понимаю, что так просто человека не переделаешь, а тогда что? Поручили — взялась.

Он в свитере мохнатом ходил и всегда непричесанный. Надо мной посмеивался:

«Составь, Ирка, график моей перековки с точными сроками, чтобы мне ориентироваться по нему. А то еще раньше времени исправлюсь».

Потом опять:

«Не составила?»

И сам притащил лист ватмана: на нем оси, координаты, цифры, все дурачина разная. Я прихожу в общежитие: график на стенке висит, разноцветными карандашами расчерчен. Девчата смеются:

«Это Антон притащил и повесил. Вот умора!»

А мне хоть плачь. Говорю ему:

«Почему ты несознательный такой? Ведь всю группу подводишь!»

А он:

«Чем это я ее подвожу, группу? Внушили себе чепуху такую! Ну, скажи, пожалуйста, от того, что я не подготовился к семинару, тебе лично чем плохо?»

«Да ведь мне тебя поручили».

«А ты б отказалась — и все дело. Сама себе обузу на шею нацепила, а я виноват? Человек должен жить так, как он устроен, а не так как Анька Ситникова — это комсорг наш — ему указывает. Может, ей и выгодно, чтоб я был образцовый, ее тогда в комитет выберут, а мне-то ее карьера на что? И при чем тут группа?»

Я ему возражала, конечно.

«Набекрень у тебя мозги, Антон. Если про группу не понимаешь, так хоть бы о себе подумал. Зачем учишься-то? Ведь лентяй ты!»

«Нет, — говорит, — я не лентяй. То, что мне нравится, я учу. А что Лысенко — великий ученый, в это я никогда не поверю».

«Да ведь академик он! Это что же, случайно, по-твоему?»

«Темная ты, Ирина, и наивная. Ничего не понимаешь!»

Это у него любимое словечко — темная! Если чего доказать не может, махнет рукой и скажет: «Темнота!»

Вот так смеялся, смеялся, а перед зачетом приходит и, как бы шутя, говорит:

«Хочешь, Ирка, план по моему воспитанию выполнить?»

«Чего это ты?»

«Дай конспектики почитать. А то у меня своего, знаешь, нету, крысы в общежитии съели».

Думаю, пусть уж лучше по моему выучит, чем совсем не учит. Дала. Взял он и удивился вроде.

«А я думал, не дашь. Значит, душа в тебе есть. Не все потеряно».

И говорит так, не то в шутку, не то всерьез.

Сдал, а после зачета остановил меня в коридоре, в руках билеты в кино крутит, синенькие такие.

«Ты знаешь, Ирочка, что добрые дела должны вознаграждаться? Вот я билетики взял на очень интересное кино».

«Не нужно мне, — говорю, — твоих билетов».

«Что, стесняешься со мной пойти? Боишься, что Анька не одобрит?»

«Ничего я не боюсь!»

И пошла...

Да вы что ж это не едите? — вдруг заметила она пустую тарелку у Мазина. — Сейчас я яишню поджарю.

— Не стоит. Я сыт.

— Соловья баснями не кормят!

Ирина вышла на кухню. Вскоре оттуда потянуло жареным салом.

— Вот так все и начиналось, — сказала она, ставя сковородку с глазуньей перед Мазиным. — То общественное поручение, то шуточки-прибауточки, а вышло все серьезно и тяжко. Совсем мы друг друга не понимали, каждый хотел другого в свою веру обратить, да разве ж так получится? Я все думала, что изменится он, станет как все. Он даже и начал вроде меняться. Посерьезнел. В группе-то шутил, а со мной больше всерьез. К нам все хорошо относились. Его тоже любили, хоть и прорабатывали. Он же умница был... Не сразу я решилась за него замуж выйти. Дружили мы долго. Вел он себя хорошо, не приставал зря. Всегда в читалку зайдет, проводит до общежития. На лекциях рядом садился. А вот конспектов никогда не писал. Нерационально двойную работу делать, говорил.

«Почему двойную? Для себя пиши».

«А зачем, если ты пишешь?»

«Но я ж тебе писать не обязана».

«У нас с тобой, Ирочка, никаких обязанностей быть не может. У нас любовь до гроба. А любовь — это сон упоительный.»

«Скажешь, «любовь»! Дружим с тобой».

Но, по правде говоря, я его любила, конечно. Незаметно это произошло. Только чувствую, что не могу уже без него. Не придет один вечер — места себе не нахожу. А придет — так хорошо и спокойно становится.

Поженились мы на третьем курсе. Нам свадьбу устроили. Весело было очень. Понадарили всего — и нужного и ненужного. До самого утра гуляли. А когда ушли все и остались мы с ним вдвоем, он обнял меня и говорит:

«Не страшно тебе?»

«Что ты?»

«Жить не страшно?»

«Не пойму я тебя».

«Нам ведь теперь столько пройти нужно, столько преодолеть».

«Да что преодолевать?»

«Все. Может быть, войну, может, болезни, несчастья, а может, самих себя».

«Ну и нашел ты время философствовать».

«Не боишься, значит?»

И засмеялся.

Не поняла я его, а он себя лучше знал и боялся. Хотя и хотел, чтобы все хорошо было. Жизнь нашу будущую мы тогда одинаково представляли. Собирались ехать по назначению — и все. В аспирантуру нам не предлагали. Я научной работой не занималась, а он хоть и мог бы, но не хотел. Не нравилось ему, что генетика в загоне. Часто говорил мне:

«Ты даже не представляешь, сколько эта наука может».

Но вообще-то о науке он мало мечтал в то время. Я скоро Володьку ждать начала. Антон боялся за меня очень. Помогал во всем, бегал подрабатывать, чтобы яблок купить килограммчик или пару мандаринов. Принесет, бывало, и, радостный такой, прямо из рук меня кормит:

«Сыну витамины!» — кричит.

«Да откуда ты знаешь, что сын, а не дочка?»

«Дочку не хочу, дочки все в отцов. Значит, глупая будет. А сын в маму — умница».

Шутил все, потому что себя-то он глупым никогда не считал. Но угадал. Мальчишка родился.

Это уже перед самым распределением было. Насчет работы мы не спорили. Я в деревне выросла и жить здесь не боюсь.

Конечно, асфальта нет, театра нет, а телевизор уже есть, да и живется вольнее, воздуху больше, а заработки не хуже, чем в городе. Хотя и трудно бывает. Ну да я-то все это знала хорошо, что здесь почем.

А Антон в деревне мальчишкой жил только, во время войны. Говорил мне, что тянет его в деревню, что поедет с удовольствием, в поле работать будет, город ругал: там, говорил, чиновники одни. Что на кафедрах, что в конторах. А настоящая наука на земле делается.

Ирина вздохнула.

— Сам себя он не знал. Говорил-то все от души, но жизнь нашу представлял по-детски, больше природу, а не работу. Думал удивить всех знаниями своими. Да удивляться здесь некогда, успевай только поворачиваться.

Встретили нас хорошо. Помогли во всем. Его агрономом назначили, а я в школу пошла. Не хотела, правда, а теперь привыкла вот. В школе тоже интересного много и полезного.

Антон загорелся сначала. С поля не вылазил. Почвы изучил, климат за все годы проштудировал, со стариками толковал. Короче, представил председателю целый проект, где что сеять нужно, чтобы урожаи наибольшие собрать и доход удвоить.

Так он мне и говорил:

«В наших силах, если хозяйство поведем правильно, через два-три года озолотить колхоз».

Отнес он свой план председателю. Довольный был такой, радостный... Ждал — одобрят его сразу. Но время идет, а председатель все занят да занят. «Некогда, — говорит, — подожди».

Антон нервничать стал, хоть и виду не подает. Но что поделаешь, ждем.

Вдруг как-то вечером машина под окном загудела. Стучат. Открываю я — председатель сам пожаловал. А за ним Тихон Хохряков, шофер его, что-то тяжелое тащит.

«Здоров, Антон Дмитриевич, — председатель говорит. — Вот решил посмотреть тебя в твоей хате. Как ты тут у нас обживаешься. Примешь гостя?»

Ну Антон, конечно:

«Заходите, пожалуйста!»

«А это тебе, чтоб вы с молодой женой не скучали. Ставь, его, Тиша, да поезжай отдыхай. Я отсюда домой своим ходом отправлюсь».

Смотрим, Тихон на стол приемник ставит.

«Это мы тебе решили наш из правления завезти. Все одно там его слушать часу нет. А тебе, глядишь, веселее с ним будет».

Снимает полушубок, оттуда две бутылки достает.

«Ну что вы, Иван Матвеевич!»

«А что? Я ж к вам как бы на новоселье приехал, хоть с опозданием. Стыд и позор. Живешь ты у нас полгода, а я у тебя в дому не побывал... Не поджаришь нам с агрономом яишенки? — у меня спрашивает. А сам из кармана пиджака Антонов план вынимает. — Да и потолковать об делах нужно».

Вижу, Антон заволновался, но сам ничего не спрашивает, а председатель тоже не торопится. Пока я на стол накрывала, они все о разном переговаривались, а как сели и Иван Матвеевич первую пропустил (а он мужик здоровенный, литр выпьет — покраснеет только), тогда и заговорил:

«Прочитал я твой проект внимательно и вижу, если не сбежишь от нас, то колхозу с таким агрономом повезло. Человек ты, прямо скажу, башковитый. А раз так, ты должен правильно понять то, что я тебе скажу сейчас. На план свой, парень, ты особенно не рассчитывай!»

У Антона рюмка в руке дрогнула.

«Ты, конечно, спросишь почему? Я, может, все и объяснить не смогу, но по-простому скажу так: мысли наши — дело одно, а жизнь идет своим путем. Это в общем плане. А в частности: никто нам самоуправства не разрешит, потому в районе свой план есть, в области — свой, а еще есть государственная политика, и она сейчас направлена на кукурузу».

«Значит, и мы должны лучшие земли отдать под кукурузу?»

«Значит, так».

«Но мы никогда не получим на них высоких урожаев».

«Это кто тебе сказал? Американцы ж получают! В Айове своей».

«Да в Айове климат совсем другой. Влаги там — залейся. А у нас...»

«Как у нас, я лучше тебя знаю. Это мне и дед Евсей толковал. Знаешь деда Евсея, что на Крутой балке живет?»

«Знаю».

«Ну вот. Он мне рассказывал, что, еще когда земля наша помещику Кузнецову принадлежала, тот тоже кукурузу пробовал».

«Ну и что?»

«Не вышло. Засуха подвела, а там мороз ранний... Но то ж у помещика, а теперь Советская власть — техника, гибриды разные, химия опять. Короче, как говорится, нет таких крепостей, чтоб не взяли большевики».

«Да зачем нам эту крепость брать, когда у нас золотое дно под ногами? Пшеницу отличную соберем, по-над речкой овощи

возьмем, луга у нас прекрасные — двинем животноводство, — вот вам и культурное передовое многоотраслевое хозяйство без всякой кукурузы. И хлеб, и мясо, и овощи! Знаете, в городе ранние овощи почем? А кукуруза со всей химией во сколько обойдется?»

Вздохнул председатель.

«Думаешь ты узковато, Антон, по-кулацки вроде. Выгоду свою видишь, а масштаб государственный не замечаешь».

«В чем же этот масштаб?»

«А в кукурузе. Она должна нам все хозяйство изменить, если мы ее освоим».

«В том-то и дело, если освоим».

«А почему и нет? Вот нам в области на совещании случай из истории приводили. Когда Петр Первый начал картошку внедрять, так многие тоже возражали, говорили, что расть она не будет. А сейчас глянь! Пропали б мы без картошки. Так и кукуруза».

«Значит, проект мой в печку?»

Председатель выпил еще стопку, закусил с удовольствием.

«Зачем в печку? В стол его положим, в ящик. Пока в дальний, куда заглядываешь редко. Пусть полежит. Жизнь, она ж на кукурузе не кончится».

«Утешили! А если я его все же вынесу на правление или на общее собрание?»

«Честно сказать?»

«Чего ж хитрить?»

«И не буду хитрить. Первый против тебя выступлю».

«Сами-то вы хоть понимаете, что в моем плане рациональное зерно есть?»

«Как не понять! Но на отдачу-то ты рассчитываешь через два-три года. А начинать с чего?»

«Да на кукурузу ж больше понадобится!»

«На кукурузу дадут. Все дадут: и семена, и удобрения, и людьми помогут, и машинами, особенно на уборке. Потому что это государственный план, а не Антона Тихомирова. И потом, прямо скажу тебе, парень, если мы сейчас с твоей бумагой вылезем — это знаешь как расценят?»

Тут Антон и пыхнул.

«Боитесь?»

Я перепугалась, чуть сковородку не уронила. Председатель-то у нас крутой. Что приемник привез — ни о чем не говорит. Думаю, трахнет кулаком по столу, как с ним на правлении случилось. А кулачище у него — по полпуда каждый!

Но не трахнул. Корочку понюхал только, усмехнулся.

«Значит, хлеб-соль ешь, а правду режь? Ладно, скажу правду. Не хочу я с этого колхоза уходить. Жизнь моя в нем оставлена. Понял? Тебе что? Снялся и пошел. Вся страна твоя. От Владивостока до Белостока, как нам перед войной в танковом училище говорили, а моя страна — вот она, в окошко почти всю видать. Я ее на этой вот шее после войны пахал. Поту тут моего больше, чем гербициду. Куда ж я отсюда пойду, а?»

Сдался Антон.

«Ладно, ваша взяла. Давайте лучше выпьем».

«Ну давай. Обижаться тут нечего. Вот испытаем кукурузу, тогда и скажем».

Посидели они еще, допили водку, попрощались хорошо. А когда ушел председатель, Антон взял свою бумагу, зажег спичку и запалил.

«Зачем ты? — спрашиваю. — Пусть полежит».

«В дальнем ящике?»

А сам смотрит на нее, не замечает, как она ему пальцы жжет.

«Умный, — говорит, — человек у нас председатель, все понимает, только видит не дальше чем из окошка, это он правильно сказал».

— Значит, не сошлись они с председателем? — спросил Мазин.

— Нет, наоборот, очень даже подружились, — ответила Ирина неожиданно. — Сначала ругал Антон его, приспособленцем называл, трусом. «Правда, хоть честный трус, — говорил, — и то хорошо».

Но тут весна подошла, обижаться некогда, с поля не вылазил от зари до зари. И все на кукурузе. Я его не понимала.

«Антон, ты же был самый ярый противник кукурузы, а теперь, кроме нее, ничего в колхозе не видишь».

Он посмеивался.

«С такими людьми нужно бороться фактами. Я хочу доказать, что при самых лучших условиях кукуруза у нас не пойдет. Все будет создано, чтобы никто не мог упрекнуть меня ни в чем, обвинить, что недоработали. Пусть сами увидят».

И увидели. Да совсем не то. Год выдался редкий. Раз в десять лет такой бывает. Весна теплая, ровная, лето влажное, жаркое, а осень и того лучше — солнечная, сухая. Короче, не кукуруза у нас выросла, а лес зеленый — в рост человеческий. Початки — прямо слитки золотые.

Антон растерялся. А председатель помалкивает. Ни хорошо, ни плохо ему не говорит. Но сам задумал свой план. Приехал

из области корреспондент, он ему и выдал: истинный организатор победы — наш молодой агроном Антон Тихомиров. Антон не знал ничего. Вдруг заезжает к нам Иван Матвеевич.

«Читал?» — спрашивает и газетой помахивает свежей.

Антон не видел ее еще. Взял, развернул, посмотрел.

«Вы организовали?» — спрашивает.

«Я. Здорово получилось, а?»

«Плохо».

«Это почему?»

«Неправда».

«Ну, знаешь, парень! Другой бы плясал от радости, а ты... Ты мне скажи, что здесь неправда? Урожай правильно указан? Ну?»

«Правильно».

«То-то! Без брехни. Не слезал ты с этой кукурузы все лето. Это правильно?»

«Правильно. Да...»

«Что «да»?»

«Если б с погодой не повезло...»

«Вот это ты брось! Погода что, у нас одних была такая? У соседей разве климат другой? А урожай — вдвое от нашего! Вот тебе и погода. В людях дело. Нет таких крепостей...»

«Знаю».

«То-то! Так что никакой тут брехни нету. Все заслуженно. На зональное совещание поедешь. Расскажешь про золотые початки наши».

«Точно, что золотые. Каждый по рублю».

«А ты те рубли не считай. Они в большую политику вложены и доход свой дадут. И статья эта тоже даст».

«Статья-то?»

«Статья. Тебе даст!»

«Что даст? Славу фальшивую?»

Тут он ко мне повернулся.

«Ну и муж у тебя, Ирина, умный, да несмышленый! — И Антону: — Тебе что сейчас нужно? Голова у тебя есть, знания тоже. А чего не хватает? Авторитету! Вот будет авторитет, тогда и с твоими планами считаться будут. Уразумел вопрос?»

Сел в машину и уехал.

Проводил его Антон взглядом, сел за стол, перечитал статью.

«Может, и прав хитрец старый. Чтобы воевать за свое дело, нужно иметь авторитет, известность. А к этому не всегда прямым путем дойдешь».

Но все-таки перед зональным совещанием решил он по-другому. Ночью, вижу, не спит.

«Что ты, Антон?»

«Думаю, Ира. Понимаешь, я провел все подсчеты, все до копейки высчитал и теперь знаю совершенно точно, что даже при таком богатом урожае кукуруза у нас — культура невыгодная. Слишком велика себестоимость. В убыток «королева» идет. Как ты думаешь, что будет, если я на совещании об этом скажу?»

«С ума сошел!»

«Почему? Может, там никто над этой стороной не задумывался».

Всю ночь не спали.

На другой день уехал.

Ждала я его, ни минуты покоя не было.

Приехал мрачный. Сказал прямо с порога:

«Струсил».

Разделся. Поднял Володьку над головой.

«Видишь, отец-то твой жидкий оказался».

И посадил его на кровать.

Сел обедать, рассказал:

«Не повернулся язык. Выбрали меня в президиум, начался барабанный бой. Матвеич в зале сидит, в первых рядах, на меня смотрит, улыбается, как именинник. Какие-то руководящие со мной знакомились, в докладе в пример ставили. Короче, когда слово дали, понесло меня куда-то, сам не знаю. Как того инженера из «Двенадцати стульев», что на открытии трамвая выступал. Не хотел о международной обстановке говорить, а как начал, так и попер про Чемберлена. Вот и я. Начал: ну, думаю, сейчас все скажу, а прислушался к себе — и голоса своего не узнаю. Чужой такой, бодренький: наши достижения, товарищи, наглядно доказывают, что кукуруза одержала полную победу и может считаться в условиях области высокопродуктивной, необходимой каждому хозяйству культурой. Так и брякнул. Или что-то другое в том же роде. В общем, умылся.

Впечатление от поездки отвратительнейшее. Одно приятно. Подошел ко мне профессор Рождественский в перерыве. Хвалил, конечно. Но не в этом дело. Он говорит, что обстановка у них изменилась и группа научных работников поставила вопрос о творческой реабилитации Кротова. Вспомнил, что я кротовскими работами увлекался. Между прочим, спрашивал, не собираюсь ли я в аспирантуру. Говорит: «Если надумаешь, обращайся прямо ко мне. Нам, — говорит, — нужны сейчас

такие люди, передовые, энергичные, которые могут совмещать теоретическую работу с практикой».

С этого времени и стал он думать об аспирантуре.

Ну а совместная наша жизнь пошла все хуже и хуже. Кого винить — не знаю. Он меня винил, я — его, но это прошло все...

Авторитет Антона действительно в колхозе поднялся, да не только в колхозе. Стали к нему за опытом приезжать, приглашать на конференции разные. Он ездил, сначала посмеивался, потом привык. Председатель тоже доволен был, и колхозу слава шла. Но я-то видела, что Антон хоть и привык, а это не то, что ему нужно.

Спрашиваю:

«А как же твой план?»

Махнул рукой.

«Видишь, и без моего плана люди живут, а некоторые даже довольны. План — это так, мечта юности. Теперь я понял многое, нужно за настоящий план бороться. Свое место в жизни искать».

Из записной книжки Тихомирова:

«Обычно говорят о приспособляемости организма к среде (в отношении человека это иногда звучит как приспособленчество). Но так ли это? Может быть, сущность процесса глубже, и организм приспосабливается к самому себе, к своим возможностям, открывает их и использует в наиболее благоприятных условиях на оптимальных режимах? Сам я всегда старался прежде всего одолеть себя. Но понять свои потребности и возможности крайне нелегко. Особенно мешают общепринятые стандарты. Они вырабатываются в расчете на среднего человека и облегчают ему существование, но причиняют много вреда тому, кто не укладывается в эталон. Например, формула «из вуза — на периферию» правильна в своей сущности, то есть на девяносто пять процентов. Не могут же все остаться в аспирантуре! Но для пяти процентов она вредна. Я, например, принял бы ее за истину и оказался в сложном положении. Должен ли я был приспособиться к условиям и вопреки себе оставаться на месте? Я попробовал и убедился, что это невозможно. Я должен приспособиться к самому себе, то есть создать оптимальные условия для раскрытия собственного «я». Мне пришлось делать это, преодолевая инерцию внутреннюю и внешнюю. С точки зрения многих, я — антиобществен.

Может быть, попытка приспособиться к себе и есть приспособленчество? Нет, сила не в том, чтобы идти от указателя к указателю. Мир открыли те, кто прокладывал путь по звездам, а не по радиомаяку».

— Искать себя он, конечно, в городе не собирался. Я ему не перечила, но пугало меня все это. Себя-то я здесь на месте

чувствовала, а как в городе будем, представить не могла. Трещины между нами и пошли.

«Ты человек без мечты. Что делаешь, тем и довольна», — это он мне часто говорил. Но видела я, что не только в этом дело, что в той новой жизни, что он себе запланировал, мне делать нечего. И он это понимал и злился, потому что нас с Вовкой любил, но с характером своим справиться не мог. Такой уж был человек. Новая в нем пружина стала раскручиваться, а старое кончилось. И не кукуруза тут виновата. Не мог Антон другим стать. Всю жизнь стремился куда-то, а куда — никогда я понять не могла.

— А крупным ученым мог бы он стать, как вы думаете?— спросил Мазин.

— Не знаю. Способный он был — точно. Но для ученого мало этого, по-моему. Вот он Кротова любил вспоминать. Так тот же совсем другой человек. Ничего, кроме своей науки, не видел. А Антон всегда от противного шел. Не потому, что нравится, а потому, что не нравится. Не нравилось в городе — в деревню уехал, разочаровался в нашей жизни — пошел в науку. Так и шло у него все. Но про последние-то его годы я ничего не знаю.

— Вы не виделись после развода?

— Нет.

— И у вас не возникало желания повидать его?

— У меня своя гордость есть, — ответила Ирина, и Мазин поверил ей, хотя ответ этот и не приблизил его к цели, к которой шел он длинным и негладким путем.

— Тихомиров помогал вам?

— Я отказалась от его помощи.

— У вас же ребенок.

— Мой ребенок имеет все необходимое.

— Я понимаю, что ваш ребенок не голодает, однако отцовский долг...

— Какой долг? Две десятки в месяц перевести? Подачка это, а не долг. Мы с Володькой в милостыне не нуждаемся. А долг свой он перечеркнул, когда сына бросил. Настоящий отец должен сына воспитывать, а не на конфеты ему присылать. Раз уж ушел, значит, сыну не судьба отца иметь.

Теперь примирения со случившимся уже не звучало в тоне Ирины, несмотря ни на что, ее тяготила старая обида.

— Значит, не виделись больше?

— Нет, себя измучивать не хотела, а сыну не нужно это. Вырастет — расскажу, пусть сам нас судит, а без конфет проживем.

«Почему все-таки? — думал Мазин. — Почему она так посуровела, когда я спросил о встречах? Или любит до сих пор? Неужели? Потому и рассказывала так? Снова переживала? «Без конфет проживем...»

— Теперь придется прожить.

— Да, — изменилась она вдруг в лице, будто вспомнив, что Антона уже нет.

— Вы узнали о его смерти из моего письма?

— Нет, мне раньше написала подруга. Мы в одной группе учились.

— Что ж она вам сообщила?

— Что несчастный случай произошел. А вот, оказывается, вы сомневаетесь.

— Почему вы так думаете?

— Да зачем же тогда ездить, расспрашивать? Я же написала вам все в письме, а вы приехали.

Не мог же он сказать ей, что написал и попросил ответить на самые общие, известные ему, собственно, вопросы только затем, чтобы увидеть ее почерк. Конечно, она могла напечатать ответ на машинке, или продиктовать кому-нибудь письмо, или, наконец, изменить почерк, попытаться его изменить хотя бы. Но она не сделала ни того, ни другого, ни третьего. Она ответила точно и обстоятельно. Написала все своей рукой.

И тут уж ошибиться было невозможно — письмо и записку Тихомирову писал один и тот же человек!

— Вы сообщили мне много интересного.

— Я знаю только о прошлом.

— Я понимаю. Вы не виделись больше. Но хоть это и не относится непосредственно к делу, вы ошиблись, когда решили разорвать всякие отношения между ребенком и его отцом.

— Так уж решила.

Мазин посмотрел на ее тарелку, где лежала остывшая и нетронутая яичница, и, взяв со стола бутылку, сам наполнил граненые стопки.

— Расстроил я вас. Давайте выпьем лучше по стопочке. Может, сердцу станет веселей.

— Навряд ли.

Но стопку свою подняла и выпила одним махом, по-мужски.

— А сам Тихомиров, разве он не протестовал против такого решения?

— Сначала, понятно, а потом, как все мужики... отвык.

— Вы думаете, что отвык. А он, может быть, переживал, мучился.

— Некогда ему переживать было. Науку делал. Да и бабы скучать не давали.

Она знала, конечно, немало о жизни Антона. Возможно, надеялась, что вернется. Нет, вряд ли. Но почему не хочет она говорить о том, последнем дне?

Мазин налил себе еще стопку.

— Ваш воздух вызывает зверский аппетит.

— Ешьте на здоровье!

— Спасибо. Ем по-деревенски.

И он положил на тарелку колбасы.

— Вы часто бываете в городе?

— В каникулы, на совещаниях. Особенно меня не тянет.

— Этим летом тоже были?

— Была.

— В августе?

— Нет, в июле. Хотя и август прихватила немного. Числа пятого уехала.

— До смерти Антона?

— Да. Он недели через две разбился.

— А где вы были в это время?

— Здесь.

— И это могут подтвердить свидетели?

— Свидетели? Скажите же, в конце концов, зачем вы приехали?

Мазин положил на стол записку.

— Это писали вы?

Ирина едва взглянула на записку и сразу ответила:

— Я писала.

Мазин положил вилку.

— Расскажите.

— Заболел Володька. Операцию пришлось делать. Испугалась. Вот и не выдержала. Думала, он с врачами поможет там, в городе. Стыдно было, но пошла к нему все-таки, о ребенке ведь речь.

— И что произошло между вами?

— Ничего. Я написала записку, а вечером у Володьки кризис был. Всю ночь в палате просидела. Ну а потом уже не пошла к Антону. А он не поинтересовался даже. Он же знал, что я у Маши всегда останавливаюсь.

— Наверно, Тихомиров не мог поинтересоваться, раз его не было в живых,— сказал Мазин с раздражением.

— Как не было?

— Он погиб в тот же день, двадцать третьего августа.

— Я писала не двадцать третьего.

— А когда же?

— Второго! Разве такой день забудешь!

— Посмотрите записку. Там стоит дата.

Ирина взяла наконец в руки этот клочок бумаги и приблизила к глазам. Мазин видел, как она побледнела.

— Я писала второго. И в больнице известно, когда был кризис.

— Но в больнице неизвестно, когда вы писали.

— Я писала второго, — повторила она.

ИННА

— Я знала, что нам придется встретиться, но не думала, что вы придете сюда.

Мазин сидел за большим канцелярским столом. Стол был пуст, если не считать придавленных толстым стеклом репродукций и рисунков Эйзенштейна и портрета Анны Ахматовой работы Петрова-Водкина. Он сдвинул свои перчатки с портрета.

— Вы могли меня вызвать.

Инна Кротова положила на стол указку.

Он пришел к ней в музей. Был конец дня, за окном почти стемнело, и в комнате, где он дожидался Инну, в этой маленькой по сравнению с громоздким столом комнатушке с надписью на двери: «Научные работники», никого, кроме них, уже не было.

— Я хотел поговорить с вами неофициально.

Она достала из сумочки пачку сигарет, взяла спичку, по-женски держа ее от себя, и несколько раз провела по коробку, пока не вспыхнул огонек. Дымок был приятным.

— У вас хорошие сигареты.

— Американские. Подарил один иностранец, которому я показывала музей. — И пошутила: — Думаю, что он не шпион.

Мазин вежливо улыбнулся. Что поделаешь, если многие склонны судить о шпионах по приключенческим книжкам.

Инна затянулась и медленно выпустила дым. У нее был большой рот, неярко разрезавший худощавое нервное лицо.

— Вы хотите говорить здесь?

— Нет, здесь не стоит. Я не представлялся на входе. Зачем возбуждать лишние пересуды. Или в музее нет сплетников?

— Вы очень любезны и правы. В музее работают почти

исключительно женщины. А у нас есть свои слабости. Да и время, чтобы перемыть косточки ближнему.

— Может быть, я провожу вас домой? Погода, кажется, вполне приличная.

— Пойдемте. Я живу недалеко.

Он подал ей плащ.

— Спасибо!

Из записной книжки Тихомирова:

«Подходя строго, человек — машина, пусть сложнейшая, но машина, хотя мы и не разобрались до сих пор в работе многих узлов. Но все они подчиняются сначала нормальным законам химии, физики, биологии, а потом уже Христовым заповедям или уголовному кодексу. Конечно, унизительно сознавать, что ты не чудо природы, а всего лишь усложненный механизм. Однако факты есть факты, даже такие грустные, как увеличение смертности в результате вспышек на солнце. Зло берет: кто-то поворачивает без твоего разрешения рубильник — и у тебя рвется что-то совершенно необходимое в сердце или в мозгу.

Машиной быть не хочется. Особенно когда я с Инной. Она вся антимашина. Мне известно не только каждое ее слово, но интонация, и все-таки она постоянно поражает меня своей нестандартностью. Я восхищаюсь ею. Восхищаюсь, хотя и не способен, как она, поверить во всеобщую ««человечность»,, потому что знаю, что мы живем в суровом мире, которым управляют законы природы, а не наши чувства. Я завидую ей. Но я и боюсь. Ничто не порождает столько иллюзий, сколько любовь. Сегодня они помогают мне жить, а завтра? Сохраню ли я их? Хочу сохранить, даже зная, что это иллюзии».

В залах музея было пусто. Они прошли через галерею живописи восемнадцатого века, главным образом портретов мужчин и женщин в пудреных париках, в кружевах, со звездами, в потемневших мундирах и тяжелых бархатных платьях.

— Почему они все некрасивые?— спросил Мазин.

— Тогда было принято писать похоже. Даже царей.

— Да, я помню портреты Павла и Петра Третьего. Но это тоже нечестно. Люди и на фотографии выходят разными.

— Говорят, что подлинную сущность выявляет только смерть. Тогда человеку уже не удается казаться другим. И он становится самим собой. Я помню отца. Он стал спокойным и мудрым. Таким, каким был... А казался суетливым и застенчивым. Смерть подводит итог.

— Не думаю,— ответил Мазин.

На улице было сухо и холодно. Зажглись бледные светиль-

ники-модерн, и на тротуар упали четкие абстрактные тени голых веток акаций.

— Моральный итог, я хочу сказать. Она может и возвысить человека, и унизить его. После смерти жизнь становится виднее, яснее...

Мазин прислушался. Это перекликалось с его собственными мыслями. Только он шел с другой стороны, думал о влиянии жизни на смерть. Инна же видела ретроспекцию.

— Хотя это и не всегда нужно.

— Я не вполне вас понимаю.

— Я и сама себя часто не понимаю. Раньше я считала, что каждый человек и каждый поступок должны расцениваться так, как того заслуживают, независимо от сопровождающих обстоятельств. Но теперь мне кажется, что смерть — слишком дорогая цена даже для правды.

— Смотря какая смерть и что считать правдой. Я смотрю на эти вещи только конкретно. Ведь мне приходится оперировать юридическими категориями, в основе которых лежат факты.

— Факты тоже создаются людьми. Вы разговариваете со мной, с Игорем, с другими, чтобы выяснить факты, и постепенно факты подменяются тем, что мы говорим.

— Вы хотите сказать, что не все, с кем я говорю, искренни?

— Вы упрощаете. Я думаю только, что все мы видим одни и те же вещи по-разному. И вы путешествуете по королевству кривых зеркал.

— Где же выход?

— Наверно, помимо придуманных людьми законов, есть и другие.

— Божеские?— спросил Мазин с иронией.

— Нет, богу это тоже было бы не под силу. Нас слишком много. И каждый живет по-своему.

— По своим законам?

— Если хотите. А судим мы людей по общим, придуманным, и потому часто ошибаемся.

— В чем же ошибся я?

— В том, что продолжаете возиться с законченным делом. Зачем? Что это — следовательский зуд или психологические изыски?

— И то и другое понемножку.

— Все зря. Убийства не было, а психология — дело неблагодарное и темное.

— Есть еще один вариант. Самоубийство.

— Вы это серьезно?

Мазин не видел ее лица, но ему показалось, что голос Инны прозвучал глуше.

— Я хотел узнать, что вы об этом думаете.

— Я? Ну конечно. Простите. Вас интересуют вполне конкретные вещи, а я затеяла с вами светско-философскую беседу. Разумеется, мы должны поговорить серьезно. Но мы пришли уже. Вам придется зайти ко мне, если вас это не смущает. У меня никто не помешает нашему разговору.

Мазин наклонил голову.

— Я буду очень рад.

Дом, в котором жила Инна, был большой и когда-то, наверно, очень внушительный, с каменными мужчинами у подъезда, поддерживающими на плечах каменные балконы.

Они поднялись по широкой грязноватой лестнице со старинными чугунными перилами. На площадки выходили высокие двери с медными ручками.

— Вы всегда здесь жили?

— Как кошка. Однажды Антон сказал, что в первую половину жизни человек похож на собаку — ко всем привязывается, лижется и получает пинки, а во вторую — на кошку. Привязывается уже не к людям, а к месту. Я свою жизнь начала сразу со второй половины: привязалась к месту. И уже не могу представить, как можно жить в другом.

Инна открыла ключом дверь. В коридоре было темновато. Маленькая лампочка под самым потолком светила тускло.

— Вот сюда, — указала она.

Мазин вошел в комнату и увидел сначала большую тахту, а над ней ковер. На ковре висели круглый африканский щит и копье-ассегай с широким блестящим лезвием.

— Проходите, пожалуйста. Я могу предложить вам чашку кофе.

— С удовольствием выпью. Кофе гармонирует с этим тропическим оружием.

— На него все обращают внимание.

— Людей притягивает необычное.

— Вас особенно?

— Вы имеете в виду мою специальность? У нас будничного ничуть не меньше, чем в любой другой профессии. Ватсон был знаком с Шерлоком Холмсом тридцать лет, а смог описать всего полсотни случаев из его практики. Из них добрых половина, строго говоря, повторяется. А ведь Холмс был гурманом. Он снимал сливки и не занимался карманными кражами. Вы знаете, что такое карманщик? Поверьте, это не профессор Мориарти. И вообще преступник как личность очень редко инте-

ресен. Я думаю, Пушкин был прав, когда писал, что гений и злодейство — вещи разные. Преступление, на мой взгляд, — чаще следствие недостатка интеллекта, чем продукт его развитых форм.

— Вы, конечно, говорите о заранее продуманном преступлении? Но может же быть вспышка, неожиданная вспышка гнева, ненависти, презрения, наконец... Разве вы никогда не сочувствовали преступнику?

Мазин помедлил с ответом.

— Я, кажется, задала нетактичный вопрос? Простите, но дома я опять забыла, что спрашивать должны вы, а не я.

— Мне бы не хотелось спрашивать.

Инна улыбнулась.

— Рассчитываете на добровольное признание?

Мазин ответил серьезно:

— Да.

Она спросила тоже серьезно:

— А если я не виновата?

— Тем более.

Мазин потрогал древко ассегая.

— Думаете, человека можно убить только такой штукой?

— Вы все-таки считаете, что Антон убит?

— Я только хочу узнать: стоило ли его убивать.

Инна доставала из буфета чашки.

— Узнать у меня?

— И у вас.

— Приговоры выносит суд. А я не могу решать, стоит ли убивать человека.

— Суду это тоже не всегда просто. Но наше положение легче. Тихомирова нет в живых, и, вынося ему приговор, мы можем не опасаться, что его придется приводить в исполнение.

— Нам грозит другое.

— Что именно?

— Может оказаться, что мы его уже привели.

Мазин очень внимательно посмотрел на Инну.

— Вы умная женщина.

— Благодарю вас.

— Это необычное дело, Инна Константиновна. Оно шире статьи закона. Поэтому я и занимаюсь им не так, как полагается.

— А не превышаете ли вы свои полномочия?

— Возможно. За это я отвечу перед начальством.

— Вы признаете ответственность только перед начальством?

Мазин развел руками.

— А перед нами? Не слишком ли много вы себе позволяете, касаясь того, что для вас предмет любопытства, а для других еще кровоточит?

— Я не хочу никому делать больно, и не считайте меня, пожалуйста, человеком, которому доставляет удовольствие подсматривать в замочные скважины. Может быть, мои приемы и напоминают неудачные психологические эксперименты, но они вызваны не любовью к острым ощущениям. Я все-таки следователь, а в обстоятельствах смерти Тихомирова есть моменты, которые нельзя оставить невыясненными.

— Например?

— Например, то, что «Волга» Рождественского стояла ночью у дома, где погиб Тихомиров.

Инна звякнула чашками.

— Он не убивал Антона.

— Да, у него есть алиби...

— Вечный неудачник!

— ...Но его машиной мог воспользоваться и другой человек.

— Вы хотите узнать, кто он? Или уже знаете?

— Я хочу узнать, стоило ли убивать Тихомирова, — повторил Мазин.

— Разве тех, кого стоит убить, можно убивать?

— К сожалению, нет.

— Вы странный человек.

— Ничего странного. Вы обещали мне кофе.

— Если вы не раздумали.

— Нет. Нам еще предстоит поговорить кое о чем.

— Хорошо. Тогда подождите немного. Можете посмотреть семейный альбом. Так раньше девушки развлекали молодых людей в приличных домах. Альбом на столе.

Инна вышла на кухню, а Мазин, поднявшись с дивана, глянул в окно. Начал накрапывать дождь, мелкими каплями зарябивший асфальт.

Он еще стоял у окна, когда она вернулась.

— Не захотели смотреть карточки? — спросила Инна, ставя подносик с кофе.

— Нет, я думал.

— О чем?

— Я пытался представить себе, о чем думаете вы здесь, в этой комнате, когда остаетесь одна.

— Я могу сказать. О том же, о чем думают все. О работе, о неприятностях, о новом платье, о болезни тети Даши, о том, что нужно купить в магазине.

— И о том, что жизнь несправедлива?

Она усмехнулась.

— Вы опытный следователь. Но вы ошиблись. Из-за самоуверенности. Вы ведь невысоко цените интеллект преступников. А зря. Я не считаю, что жизнь несправедлива ко мне. Так мне казалось, но это прошло. Теперь я думаю только о том, о чем сказала.

— О работе, о неприятностях...

— И так далее.

— Но разве смерть Тихомирова обычная неприятность?

— Поймали. Да, это не просто неприятность. Для меня. Но об этом долго рассказывать.

— Я не буду вас торопить.

— Вы вызываете во мне доверие.

— Разве это плохо?

— Это будет мне мешать.

— Боитесь, что скажете больше правды, чем хотелось бы?

— Наоборот. Буду искать сочувствия и не смогу передать просто фактов. Тех фактов, которые вам нужны.

— Я знаю достаточно фактов, но не все могу правильно оценить. Может быть, вы поможете мне.

— Что же вам известно?

Мазин шагнул к ней.

— Хотите откровенности? Хорошо. Вот факты! Вы любили Антона Тихомирова, ради него оставили Рождественского. Но он предал вас. Не только вашу любовь, но и ваше имя, вашего отца. Он украл его труд. И вам хотелось убить Тихомирова. Но вы не убили его. Вот факты.

Инна смотрела на блестящий кофейник.

— Я не думала, что вы знаете так много. И все-таки вы не знаете почти ничего. Все это совсем не так, кроме одного, кроме того, что я любила Антона. Остальное — неправда, — сказала она тихо, но убежденно.

Мазин присел рядом.

— Только не нужно никого спасать, ладно? — сказал он и положил руку на ее узкую ладонь.

— Неужели я вызываю жалость? А отец хотел видеть меня сильной.

— Я не жалею вас. Это другое.

Она справилась с собой.

— Может быть, вы влюбились в меня? — спросила Инна и усмехнулась.

Мазин убрал руку.

— Простите. Я не хотела смеяться над вами. Я вижу, что нужно все рассказать. Я не могу сделать это последовательно,

логично, как провожу экскурсии. Вам придется что-то додумывать самому. Может быть, вы поймете то, чего не понимаю я. Не знаю. Но я никогда не думала, что так случится.

Я сказала, что ваши факты — неправда. Вернее, есть вещи, которые нельзя назвать только правдой или только неправдой. Тут много таких вещей. Я понимаю, что для юриста не должно быть полуправды, у вас совсем иные категории. Но ведь я не юрист. Я просто человек, который судит в первую очередь себя.

— За что?

— Я скажу. Только сначала о том, что вы говорили. Да, конечно, Антон и я... Я говорила, что любила его, но и он тоже. Это верно, хотя вам может показаться, что я всего лишь обманутая женщина. Он тоже. Это сложнее, чем пишут в книжках: встретились, полюбили, прожили свой век, как голуби, — приходите на золотую свадьбу. У нас не было никакой, но было много пережито, очень много. Мы встретились очень взрослыми. У таких людей или не бывает любви — только развлечения, или, наоборот, мученье, потому что борешься с собой, с природой, с жизнью, с тем, что считается очевидным. Любовь — для восемнадцатилетних, а потом — нужна женщина, нужен мужчина, да еще ничем не связанные. Как будто вместе могут быть только те, кто связан. Мы хотели преодолеть все это, начать сначала, перешагнуть через прошлое, вернуть движение тому, что уже начало окостеневать, мертветь, глохнуть. Но мы не смогли ничего, потому что существуют силы, перед которыми человек бессилен, а мы были очень слабыми, и течение становилось все сильнее. Сначала оно оторвало Антона, а потом и меня унесло, но я не думала, что конец станет трагическим. Скорее он походил на пошловатую комедию, ну пусть мелодраму. Появилась девчонка, у которой нет ничего, кроме груди, распирающей кофточку. Это не так уж много, но это может быть всем...

Говорила Инна сумбурно и торопясь, затягиваясь сигаретой, и Мазину нелегко было следить за ходом ее мысли, но кое-что он все-таки успевал, соглашаясь с одним, запоминая другое.

— Но я начала с конца, а собиралась сказать много и, главное, о том, чего вы не знаете, хотя думаете, что знаете. Даже об Игоре. Вы сказали, что я бросила его. Нет, и это не так. Он ушел сам. Игорь сдался, потому что, хоть и занимается всю жизнь спортом, он совсем не борец. Недаром он никогда не был первым. Он ушел сам.

— Когда увидел, что побежден?

— Хорошо, пусть будет так. Но это же не футбол! Здесь нет

ни времени, ни счета. Здесь и «десять — ноль» еще не поражение, если есть силы бороться. А он прикинул, что счет не в его пользу, и решил, что уже не успеет отыграться. Нет, все это не так, как вы говорили, совсем не так. И Антон не предавал ни меня, ни отца. Он ничего не украл, ничего!

— Может быть, вам не вполне ясна значимость материала, который оказался в руках Тихомирова?

— Мне? Я могла только переоценить его, но никак не умалить. Отец тысячу раз говорил, что наиболее ценное из того, что он сделал, осталось неопубликованным. В последние годы он не мог печататься. Но он все время работал, каждый день. Одна я знала, сколько он работал и как ценил эту работу. А отец никогда не преувеличивал значения своей работы. Скорее наоборот...

— Значит, вы все знали?

— А как же иначе?

— И вы никогда не пытались обнародовать его труд?

— Нет. Я не хотела отдавать труд отца людям, которые отреклись от него.

— Они могли присвоить его?

— Кто? Рождественский и иже с ним? Нет! Это было не по их желудкам. Такую пищу они не смогли бы переварить даже пережеванной. Я просто не хотела иметь с ними дело. Они вызывали во мне брезгливость.

— Как же тетрадь попала к Тихомирову?

— Он не украл ее! Но скажите сначала, откуда вы знаете об этой тетрадке?

Мазин подумал.

— Хорошо. Мне сказал о ней Игорь Рождественский.

Инна бросила в пепельницу сигарету.

— Он не должен был этого делать!

Мазин вспомнил разговор с Рождественским:

«...Разве вы не говорили об этом с Инной Константиновной?»

«Нет».

«И ни с кем другим?»

«С вами с первым...»

«Сказал неправду. Ведь она совсем не удивилась. Она знает, что Рождественскому известно про тетрадь. Но зачем врал он?»

— Он не должен был этого делать!

— Почему?

— Наверно, он струсил, когда узнал про машину?

— Не думаю. Вы забыли про алиби!

— Значит, Игорь вне подозрений?

— Почти. Но он мог волноваться не за себя.

— За кого же?

Мазин не ответил.

— Вы, кажется, говорили, что человека можно убить не только ассегаем?

Он кивнул.

— Это верно... — Инна помолчала. — Смешно. Вам нужен человек, столкнувший Антона с подоконника, однако вы видите огромную разницу в том, как его столкнули — руками или, может быть, не дотрагиваясь до него. Но разве это так уж существенно?

— Для того, кто это сделал, очень. В первом случае — много лет тюрьмы, если повезет. А во втором...

— ...Только собственная совесть? Или вы не считаете это наказанием?

— Это зависит от человека.

— Да, от человека. Мне, наверно, не грозит тюрьма, хотя... нет, я боюсь сказать... В общем, если бы не я, Антон, возможно, был бы жив до сих пор. Хотя я не выталкивала его из окна.

— Не торопитесь с такими признаниями. Вы не убивали Тихомирова. И налейте мне наконец кофе.

Инна наклонила кофейник над чашкой.

— Скоро все станет ясным.

Она покачала головой.

— Для меня ясно и сейчас.

Мазин отхлебнул глоток.

— Вы помните войну?

— Мало, плохо.

— Но бомбежки, наверно, помните?

— Да, это запоминается.

— Помните луч прожектора, который ловит самолет? Он тянется очень далеко, очень, на огромное расстояние, пока не растает где-то в небе или даже дальше. Километр света. В этом луче видно все, но поймать самолет ему не удается. Помните, как беспомощно он бегает по небу, прислушиваясь к неясному гулу? А если и поймает, только на минуту. Самолет ускользает, потому что луч слишком узок. Но стоит появиться другому лучу, и все становится совсем иначе. Вдвоем им легче, а самолету труднее. А если их три или четыре? Ему уже некуда деваться, и они ведут его на огонь...

Простите за примитивный пример. Вы знаете много, но это долгий и теряющийся в бесконечности луч. Один. А существу-

ют и другие. И я хочу, чтобы они пересеклись. Должна быть точка, где все они встретятся.

Инна слушала внимательно.

— Я понимаю вас. Но я уже говорила: только кажется, что мы ищем одно и то же. Мы все видим по-разному.

— Или другой видит то, чего не разглядел первый.

— И каждый думает, что он знает лучше других. А вы ведь совсем не знали Антона.

— В этом мое преимущество.

Инна налила и себе кофе.

— Может быть, вы и правы. Но если и вы не узнаете ничего, что подлежало бы осуждению?

— Тогда вам станет легче.

Она посмотрела на него с благодарностью.

— Спасибо. Хотя вряд ли вы сможете помочь мне. Вы уже говорили с... другими?

— Да, я говорил с Игорем Рождественским, с Ириной Тихомировой и Светланой.

— И что же, что сказали они об Антоне?

— Они оценили его по-разному. Коротко так: Ирина считает, что Тихомиров сам не знал, чего хотел от жизни. Сначала она думала, что это идет от неправильного воспитания, но потом поняла, что от неисправимого характера. Ждала: с таким человеком обязательно что-нибудь случится.

Игорь Рождественский. Его друг, если можно назвать другом того, кто тебя ненавидит. Мнение категорично: негодяй, который не останавливался ни перед чем.

— Этих мнений я ожидала. Скажите и третье.

— Самое лучшее: был всего достоин.

— И этого следовало ожидать. Вот вам три луча. Примените среднее арифметическое — узнаете правду. Негодяй плюс всего достойный плюс сумасброд, что в итоге?

— Ничтожество?

— Нет. Антон не ничтожество. Просто он был слаб. Вам все-таки придется посмотреть мои фотографии. Я хочу показать одну. С того дня я его помню.

Инна взяла со стола альбом и положила на колени.

Альбом был не из тех, за которыми старательно следят. Половина снимков была даже не закреплена на листах. Они лежали между страницами.

— Это папа, — показала Инна.

Кротов был на фотографии молодой, бородатый и веселый.

— А это он в Эфиопии.

На фото Кротова окружали молоденькие смеющиеся де-

вушки. Одна протягивала что-то русскому доктору, совсем не стесняясь своего обнаженного, будто выточенного из черного дерева, тела.

— Мама...

Молодая женщина, похожая на Инну, в мужской рубашке с отложным воротником. И еще она, в гимназическом фартуке. На обоих снимках грустная.

— Но я хочу показать не это. Вот...

Снимок пожелтевший, любительский. Трое детей под елкой. Один в испанском костюмчике — пилотка с махорчиком на шнурке. Другой — в африканской маске с перьями. И девочка в буденновском шлеме с шишаком и большой звездой.

— В маске — Антон.

— А это вы?

— Похожа?

— Да.

— Третий — Игорь. Последняя елка перед войной. Я очень хотела, чтобы папа дал маску мне, но он дал ее Антону. Отец сказал: «Антону тяжелей живется, дочка. Давай-ка его порадуем!» Я не понимала, почему Антону живется тяжелей. Отец пояснил: потому что мать его уборщица и одинокая женщина. Я видела, как его мать моет лестницу. Особенно зимой. У нее были большие красные руки. И я могла понять, что значит одинокая. У Антона не было отца, а у меня мамы. Тогда я пожалела его.

— И жалели всю жизнь?

— Нет. Он не нуждался в жалости. Наоборот. Казался сильным и честным. Честным с самим собой прежде всего. Однажды, когда я только вернулась из деревни и между нами еще ничего не было, кроме старой дружбы, он сидел вот тут на диване и говорил:

«Меня многие осуждают. Одни официально — ушел из колхоза с трудного участка. Другие за то, что бросил сына, жену. Я судил себя сам и хоть не оправдал, но убедился, что поступить иначе не мог. Это было бы нечестно. А то, что нечестно, не приносит счастья ни себе, ни людям. Лучше быть осужденным окружающими, чем самим собой».

— Он говорил искренне? — спросил Мазин.

— Антон верил в каждое свое слово. В этом и была его слабость. Но я тоже поверила. Мне нужен был человек, который дал бы мне немного покоя и радости. Я уже не ждала удач и успехов — вы знаете, наверно, что я мечтала о живописи, из этого ничего не вышло, — но мне хотелось пережить успех близкого, почувствовать этот успех своим. Антон гово-

рил: «У меня появились седые волосы, но я еще ничего не добился. Потрачено чертовски много времени. Зато я узнал себя. Знаю, на что способен, и я добьюсь своего, если ты мне поможешь».

И я верила, что я ему нужна.

Я знала его всю жизнь. Вернее, совсем не всю жизнь, но так мне казалось. Сначала мальчишкой, потом студентом, потом совсем взрослым с первой сединой. Когда он пришел, я я была одинока до ужаса, до того, что даже не прогоняла Игоря, хотя он постоянно раздражал меня своим непрерывным просперити, никогда не переходящим в настоящий успех. Все шло у него исключительно гладко. Никаких неприятностей. Даже гриппом он, по-моему, никогда не болел. И всегда был тщательно выбрит. Щеки гладкие, как бильярдные шары. Только чуть теплее. В дождь и грязь он умудрялся приходить в чистых ботинках. Как будто специально вытирал их на пороге носовым платком. Но платки тоже были чистые. Всегда свернутые. Никогда не измятые. Разве можно не чувствовать одиночества с таким человеком?

Мазин пожал плечами.

— Но я не гнала его. Вернее, иногда гнала. Тогда он страдал. И по-прежнему брился до шлифовки. Воображал себя англичанином.

И тут появился Антон. Я думала, что он приехал в командировку или в отпуск.

«Антон, чудесно, что ты заскочил. Расскажи про иную жизнь простых людей, близких к природе».

«Я сбежал от них».

«Надолго?»

«Думаю, что навсегда».

Я поняла, что это серьезно.

«Ты с ума сошел!»

«Нет. Больше было нельзя».

Так он считал. И я тоже, когда он мне все рассказал. Он умел убеждать. Это получалось у него, потому что в первую очередь он стремился убедить самого себя. И еще он умел иронизировать над собой.

«Я был там знатным человеком, передовым агрономом. Ко мне приезжали корреспонденты и записывали, что я говорю, а иногда даже фотографировали. Один раз в поле. Я смотрел вдаль и видел колосящиеся нивы. Впрочем, на снимке они вышли весьма расплывчато».

Он мог быть внимательным, мог достать зимой цветы и

принести их так, будто это банка консервов из овощного магазина.

«Тошка! Цветы же стоят кучу денег».

«Лишь бы они тебе нравились. Тогда расходы окупятся».

Говорил это искренне. У него вообще отсутствовала поза. Скорее он был застенчивым. Мы уже все понимали, но он не решался на последний шаг. Сидел здесь вечерами на диване или на скамеечке, обхватив колени руками, и говорил:

«Для тебя это просто комната, в которой ты живешь, а для меня — целый мир. Недостижимый мир мечты. Я это понял, когда мы эвакуировались. Ночевали в нетопленной хате. Я скорчился под одеялом и полушубком, наброшенным сверху, и вспоминал твою комнату с этим оружием на ковре. И хотя я был в ней много раз — поверить в это не удавалось. Она была комнатой из сказки».

Я смотрела вокруг себя, видела пыль на книгах, треснувшую ножку шкафа, выеденные молью пятна на ковре и думала, что он все-таки прав. И была рада.

Это были наши самые счастливые дни. Мы почти никуда не ходили, сидели дома, и нам было хорошо. Даже о будущем не мечтали.

Считается, что каждая женщина, особенно в моем возрасте, панически спешит в загс, но я, честное слово, не думала об этом. Все казалось простым и понятным. И ему тоже. Он не обманывал меня.

— Простите, Тихомиров с самого начала знал о работах вашего отца?

— Он слышал о них еще студентом, а когда вернулся, был страшно удивлен, что я их не опубликовала. Но ведь записи нужно было подготовить к печати, а я не хотела иметь дела с Рождественским.

— Вы не жалуете эту семью.

— Нет, Игорь другой, конечно. А отец... Как он бросил папу! Это тоже искусство. Он не разоблачал его, даже сочувствовал, но как он сумел постепенно перестать бывать у нас! Так естественно — все реже, реже и всегда с благородным видом. Вот этой продуманности я не прощу никогда... Он это прекрасно понимает. Как же я могла доверить такому человеку папины бумаги? Живые строчки, которые он писал в последние дни... Мне было очень тяжело отдать их в чужие руки.

Антон знал о работах отца только с моих слов, потому что записи находились тогда в Саратове у тети Даши. Над своей темой он начал работать вполне самостоятельно.

— И мог довести ее до конца?

— Я скажу. Дело тут не в способностях, а в характере. Например, отец был всегда уверен в себе, он знал, что делает. Но у него не было тщеславия, жажды успеха. Когда ему пришлось уйти из университета, он жалел только лабораторию, но никак не положения, которого лишился.

Антон был совсем другой. Его преследовал комплекс неполноценности. Он постоянно боялся неудачи. Не знаю, откуда это шло — от жизни или таким уж родился. А может быть, какое-то обостренное предчувствие. Ведь неудача в конце концов произошла.

Он взял тему, о перспективах которой папа писал в последней книжке. Оттуда Антон и начал. Не все удавалось, однако он рассчитывал, что закончит диссертацию к сроку.

Приблизительно в это время я получила письмо от тети Даши. Мне хочется, чтоб вы его увидели, особенно дату. Это имеет значение.

Инна достала из сумки колечко с ключами и открыла старый секретер. Там лежала целая пачка писем. Она взяла одно, верхнее.

— Вот, пожалуйста!

Мазин привычно глянул на штемпель. Письмо пришло около года назад. Соответствовала штемпелю и дата на листке бумаги.

— Все не нужно читать. Там много домашнего, вот отсюда...

Написано письмо было красными чернилами, нетвердым, но очень аккуратным почерком, какому учили в гимназиях.

«...Ты помнишь, конечно, Иннуся, что Константиновы бумаги с его последними трудами хранятся у меня. Они в целости и сохранности. Мне сейчас знающие люди говорят, что запрет на генетику снят и добрые имена ученых, в этой науке работавших, восстановлены. Не пришло ли время показать труды Константина специалистам? В них, наверно, много интересного. Это наш долг перед твоим отцом. Напиши, что ты об этом думаешь. Если согласна со мной, я перешлю тебе тетради почтой, а лучше сама привезу, а то еще могут пропасть...»

— Видите, письмо написано после того, как Антон завершил основную работу над диссертацией. А показала я ему тетради еще позже, после приезда тети Даши.

— Значит, он не мог оттуда ничего заимствовать?

— Все сложнее и трагичнее. Когда Антон прочитал записи, он пришел ко мне. Я никогда не забуду этого вечера.

Он молча разделся, вошел сюда, в комнату, и сел на диван. «Что с тобой?» — спросила я.

Антон улыбнулся через силу, достал из портфеля тетради и протянул мне.

«Это интересно?»

«Очень».

«И можно опубликовать?»

«Нужно».

Я была рада и не могла понять его сдержанности.

«Так это же чудесно!»

«Конечно».

«Что с тобой, Антон?»

Он еще раз попытался улыбнуться.

«Ты слышала когда-нибудь про парня из Монголии, который изобрел велосипед?»

«Какой велосипед?»

«Никому не нужный, деревянный. Он не знал, что велосипед давно существует».

«Ну и что?»

Я начинала догадываться.

«Я тоже такой изобретатель. То, над чем я работал три года, было найдено твоим отцом десять лет назад».

«Ну и что?» — повторила я, потому что не знала, что сказать.

«Ничего».

«Как «ничего»?»

«Ну, пусть будет «все». Все рухнуло».

«Ты же нашел самостоятельно!»

«Самостоятельно ломал дрова. Представляешь, что такое деревянный велосипед?! А я мечтал о докторской диссертации».

Я нелепо листала тетрадку, в которой ничего не понимала. Произошла бессмысленно трагическая вещь. И я сказала первое, что пришло в голову.

«А если я опубликую это после твоей защиты?»

Он покачал головой.

«Будет еще хуже».

«Почему?»

«Всем ясно, что я имел доступ к записям. В худшем случае меня лишат степени. В лучшем... впрочем, лучшего тут быть не может. Так или иначе, на меня ляжет пятно, которое не смыть».

«Но я могу подтвердить правду».

«Тебе не поверят. Ты забываешь, что мы с тобой сейчас одно целое. А что ты сделаешь с теми, кто будет лить грязь у нас за спиной?»

Он был прав.

«Что же делать?»

«Я уже сказал. Ничего. Вернее, ты должна опубликовать все, что здесь написано».

«А ты?»

Сморщился, как от зубной боли:

«Окончу аспирантуру без защиты. Возьму новую тему. Вместо того чтобы через год стать доктором, буду через пять лет кандидатом».

«Ты еще шутишь?»

«Нисколько. Шутить сил нет, хотя это единственное, что у меня осталось».

«Нет же безвыходных положений!»

«Но не все выходы открыты для порядочных людей».

«Что ты имеешь в виду?»

«Я мог бы сказать тебе, что потерял эти тетради в автобусе или у меня украли портфель».

«Как ты можешь так говорить!»

«Я только называю выходы, чтоб ты могла их оценить. Я долго думал. И, как видишь, не сразу к тебе пришел. Зато я все продумал. Нужно поступить честно и напечатать работу твоего отца».

«Хорошо, — сказала я. — Пока никому ничего не говори. Я тоже подумаю».

— Вы, конечно, понимаете, что я решила?

— Да, — сказал Мазин.

— Это оказалось очень трудное и... неправильное решени. Однако поймите меня. Говорят, что лучшее решение — честное, принципиальное. Но в данной ситуации все перевернулось вверх ногами. Напечатать труд отца было правильно, принципиально и честно вообще. Но по отношению к Антону это было несправедливо. Меня возмутила нелепость и жестокость происшедшего. Опубликовать рукопись значило лишить Антона всех надежд, сбросить его в пропасть. Вы не представляете, как он мечтал об успехе. И он добился его! Сам. И вдруг все разлетается в прах.

Я спрашивала, а как бы поступил отец? И мне казалось, что он понял бы меня. Он всегда говорил, что в науке несущественно, от кого исходят открытия, кем они подписаны, главное, чтобы они достались людям. Я знала, что Антон може. не оправиться от удара, и тогда он погибнет как ученый. Этого бы папа мне не простил. Но, с другой стороны, опубликовать новое открытие отца было и моим долгом, и моим

желанием. А приходилось выбирать между отцом и Антоном. Мне было невыносимо тяжело.

Через несколько дней был день рождения Антона. Он ничего больше не говорил о рукописи и старался держаться молодцом. Утром он позвонил в музей и сказал, что хочет провести свой праздник вдвоем, у меня.

Пришел он с шампанским и пирожными и казался совсем обычным, пошутил даже сразу:

«Явился за подарком!»

«Сначала раздевайся!»

Он разделся. Я была рада, что мы вдвоем, что он со мной, и мне казалось, что нельзя поступить иначе, чем я решила.

«Вот тебе мой подарок».

Он взял пакет и развязал его. Увидел тетради.

«Инна, что это значит?»

«Они не должны помешать тебе».

Я видела, как у него задрожали пальцы.

«Я не могу их взять».

«Ты должен. Если мы это напечатаем, будет жить открытие, но одним ученым может стать меньше. А если ты защитишься, открытие останется и ты тоже останешься».

«А твой отец?»

«Он поступил бы так же».

«Ты ставишь меня перед страшным решением».

«Нет, я уже все решила сама».

Так я ему сказала.

И Мазин видел, что она говорит правду.

— Он согласился сразу?

Из записной книжки Тихомирова:

«Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: что такое хорошо и что такое плохо?» Мне бы этого папу, который все знал! Человек едет на машине, ему объяснили, что зеленый свет хорошо, а красный плохо. Он едет на зеленый, а тут выскакивает грузовик с пьяным дураком за рулем, который не соображает ничего, и для тебя уже неважно, где красный, а где зеленый. Детская книжечка про «хорошо» и «плохо» кончилась, ты один на один со своей судьбой. Соображай же быстрее! Может быть, ты еще успеешь свернуть туда, куда не положено, чтобы сохранить жизнь.

Пришла секунда единственного решения. Не хорошего и не плохого, а единственного. Цель — спасти жизнь (или то, без чего дальнейшая жизнь теряет смысл), средства уже не выбираются. Решение вынужденно. А дальше — как повезет.

Вынужденно? Вот тебе и проблема — детерминизм и свобода воли. Как приятно писать на эту тему умные статьи! Разбираться во всем на молекулярном уровне. Только на чужом,

потому что только в чужих молекулах можно разобраться. «Пожалте ваши хромосомы. Что там у вас? Ай-яй-яй! Трудно сделать выбор? Как неприятно! Не в порядке ДНК!» Что же делать? Остановить машину в разгар гонки? Взмолиться: простите, я вам не подхожу? Я слабонервный. Я воспитан на положительных примерах! Но я ж не воспитан на них. Я наоборот — воспитан на отрицательных. Тысяча моих пращуров веками мыли лестницу, чтоб по ней поднимались другие. А я карабкался по этой лестнице, как обезьяна, и не остановлюсь только потому, что придется оставить на ступеньках несколько грязных следов. А если меня ткнут в них носом? Не успеют, я буду уже на верхней площадке.

Я чувствую себя злым и хитрым. Это защитная реакция. Не все решения легкие, но лучше поехать на красный свет, чем попасть под колесо».

— Он согласился сразу?

— Нет. Сказал, что возьмет рукописи, чтобы перечитать их сначала...

Инна замолчала, помешивая ложкой кофе. Глаза у нее были очень сухие, тонкая кожа плотно обтягивала скулы.

— Это было началом конца наших отношений. Я не понимала, что, сделав то, что сделала, я привязала его к себе гнилой веревкой. Речь не о том, что я могла его «выдать», а о той подневольной благодарности, которую он не мог вынести. Для него было нестерпимо получить счастье в подарок.

«Ты не представляешь, чем я тебе обязан!»

В первый раз это прозвучало как крик души спасенного человека:

«Ведь я тебе так обязан...»

Второй раз уже звучала усталость:

«Я же тебе обязан».

Появилась ирония:

«Да, да, я знаю, я помню, чем я тебе обязан!»

На этот раз я уловила ненависть.

«Уходи! Ты мне ничем не обязан», — сказала я тогда.

Но до этого было так много мучительного, что я просто не в силах рассказать подробно, как все это было. Может быть, я виновата сама? Не подчеркивала ли я невольно свое благородство? Кажется, нет. Хотя, не скрою, я почувствовала в себе какие-то новые права на него. Нет, не права владения. Скорее что-то материнское. Ему больше мерещилось, чем было на самом деле. Но он страдал этим комплексом, и тут уж ничего нельзя было поделать. Наконец я решила объясниться.

«Антон, ты, конечно, видишь, что мы оба изменились за последнее время».

«Да».

«Почему?»

«Ты знаешь это так же, как и я».

«Нет, я не понимаю, что происходит».

И тут его прорвало.

«Не понимаешь? Конечно! Как тебе понять! Ты пожертвовала собой, чтобы спасти, осчастливить меня, а я, вместо того чтобы лизать тебе руки, кусаюсь».

«Ты чудовищно несправедлив!»

«Может быть. Но я говорю, что думаю, что испытываю! А я непрерывно мучаюсь».

«Почему?»

«Опять «почему»! Сто тысяч «почему»! Хорошо, я скажу. Ты ткнула меня носом в грязь, а не спасла. Я не имел права соглашаться на твое предложение, но я согласился и этим раз и навсегда унизил себя. Сегодня я не уважаю себя сам, а завтра и ты перестанешь уважать меня. Я оказался слюнтяем и убедился в том, что я слюнтяй».

«Ты преувеличиваешь, Антон!»

«Таким я себя вижу. Даже назад мне хода уже нет».

«Почему?»

«Потому что напечатан автореферат, потому что диссертацию уже читали оппоненты. Сейчас мне остается только всенародно признаться, что я жулик!»

«Мне кажется, ты просто переутомился».

«Может быть, ты еще купишь мне путевку в санаторий?»

«Чем же это кончится, Антон?»

«Не знаю! Меня несет по течению».

«И все дальше уносит от меня».

Тут я, кажется, заплакала.

Он сразу переменился. Перестал кричать. Стал тихим, как побитый пес.

«Инна! Со мной происходит что-то странное. Возможно, я и в самом деле переутомился, заработался. Меня все раздражает, нервирует. Даже ты. Раньше я шел к тебе с огромной радостью, а теперь со страхом. Именно со страхом. Мне тяжело с тобой, непрерывно кажется, что ты презираешь меня. И не отрицай этого. Даже если ты скажешь правду, я сейчас не поверю тебе. Мне будет казаться, что ты утешаешь меня. А жалость для меня сейчас страшнее презрения».

Я не знала, что ответить. Мне было его действительно жалко. Он переживал несомненно. Очень изменился, осунулся.

«Что я могу сделать для тебя, Антон? Мне жаль тебя, но

совсем не так, как ты думаешь, а эти слова о презрении — просто дикость. Ты же знаешь, я готова для тебя на все. И всегда была...»

Тут он закричал:

«Да, да, я знаю, я помню, чем я тебе обязан!»

И на этот раз я уловила ненависть.

Мне стало страшно. Ведь я теряла все.

«Уходи! Ты мне ничем не обязан».

Но как мне не хотелось, чтобы он ушел!

А он встал и ушел.

У меня хватило гордости не останавливать его...

Правда, полный разрыв еще не произошел. Он прислал мне письмо.

Инна, видимо, колебалась, показать ли письмо Мазину, но потом махнула рукой.

— Теперь уж все равно. Я вам и так рассказала слишком много.

И достала еще один конверт.

Мазин открыл его не сразу, подождал, не передумает ли она.

— Читайте! Читайте! — И потянулась к пачке с сигаретами.

«Инна!

Я пишу тебе, потому что не могу не писать. У нас было слишком много хорошего, чтобы ты могла перечеркнуть все это одним словом «уходи».

Я ушел, но я все еще с тобой. Тебе достаточно сказать: «Приди!» Я знаю, как тебе трудно это сказать, и не обижусь, если не получу немедленного ответа. Может быть, и в самом деле нам необходима пауза, чтобы прийти в себя, посмотреть на наши отношения с дистанции. Может быть. Я готов и на это.

Сейчас мобилизую остаток сил на защиту. Но как только это произойдет, я верю, мне удастся переубедить тебя и себя тоже».

— Я не ответила на письмо, потому что знала, что он уже встречается с этой девкой. Но за день до защиты он позвонил мне домой.

«Инна, это я».

«Здравствуй, Антон».

«Ты знаешь, завтра защита».

«Знаю».

«Если хочешь, я скажу там все».

«Я не хочу этого», — ответила я и повесила трубку.

— Но вы еще верили, что он любит вас? — спросил Мазин с неожиданной резкостью.

Она опустила голову.

— Я такая же дура, как все. То есть, наверно, неправильно сказать, что я верила или надеялась. Это не подчиняется логике. В общем, я не знаю, что бы я сделала, как поступила, если бы...

— Если б Рождественский не нашел тетрадку.

— Да.

— Он сказал, что нашел ее после смерти Тихомирова, но я думаю, что это неправда.

— Неправда. Лучше б он не находил ее. Антон был бы жив. Я не хотела его смерти.

— Неужели вы серьезно считаете себя виновной в смерти Тихомирова?

— Да.

— Но вы не убивали его!

— Ассегаем — нет. Он выбросился из окна сам. После разговора со мной. Я приезжала на машине Игоря.

— Это произошло при вас?

— Нет. После того, как я ушла.

Мазин вздохнул облегченно.

— Слава богу! Вы говорили так убедительно, что я на секунду поверил, хотя это и противоречит фактам.

— Каким фактам? Я же не рассказала о том, последнем...

— И не нужно сейчас. На сегодня достаточно. Вам предстоит еще одно испытание. А пока запомните: вы не убивали Антона Тихомирова и не толкали его на самоубийство. Вы не виновны в его смерти. Я, кажется, знаю, как она произошла. Но нужно, чтобы вы встретились с другими и рассказали обо всем вместе. Вам будет труднее других. Вы говорили искренне, хотя не всегда это была правда. Рождественский и Светлана тоже говорили не всю правду, но это делалось сознательно. Я хочу, чтобы все сказали то, что они знают, и тогда правда станет ясна всем.

Инна покачала головой.

— Мне бы так хотелось этого. Но не ошибаетесь ли вы?

— Думаю, что нет. У меня есть неожиданный свидетель. Пожалуй, даже два, потому что кое-что может рассказать и сам Тихомиров, его записная книжка, хотя это и не дневник. Вы видели ее?

— Да, но я не знаю, что он записывал.

— Немного. В основном мысли вообще. О жизни, о себе. Там почти нет имен и фактов. Но что-то там есть...

Из записной книжки:

«Мы гуляли со Св. Ей захотелось покататься на чертовом колесе. Насколько она моложе меня! Кроме того, я с детства боюсь высоты. Становится тошнотворно-отвратительно, когда земля далеко под ногами. Я устыдился признаться своей слабости, сказал, что крутиться несолидно, а сам злился. Рожденный ползать — летать не может. Даже в мелочи я не способен одолеть себя. Вот тут-то человек в самом деле венец творения, потому что мы — всегда мы, со всеми слабостями и пороками. Трус не заставит себя стать храбрым, разве что водки выпьет!

Впрочем, все это слюнтяйство и скулеж. Скоро защита, если она пройдет успешно, копаться в себе больше не к чему. Новое время — новые песни. Но будет ли успех? Инна молчит. Она гордая, ей тяжело, но она все стерпит. Как бы я хотел, чтобы она меня не любила! Неужели она и теперь меня идеализирует? Считает «добрым и сильным»? Пожалуй. Но как это трудно! Хотя наверняка существуют не знающие сомнений кретины. Я не из их числа... к сожалению. Ну, хватит писанины. Долой избытки грамотности. Больше спокойствия. Чем крепче нервы, тем ближе цель. А тебе необходимы крепкие нервы, Антон!»

— Спасибо за кофе.

— Не стоит. У нас произошел такой сумбурный разговор.

— За него я благодарен еще больше. Во много раз больше. Между прочим... Я хотел спросить. Вы не замечали у Тихомирова страха перед высотой? Знаете, есть люди, которые боятся высоты, даже на балконах чувствуют себя не вполне хорошо.

— Еще бы! Он много раз жаловался, что боится летать самолетом. Потому я и не могу поверить в несчастный случай. Антон ни за что б не полез на подоконник, да еще ночью!

— То, что вы сообщили, Инна Константиновна, может оказаться очень существенным. Хотя из ваших слов я делаю совсем другой вывод.

Мазин поднялся.

— А кстати, где сейчас записи вашего отца?

— Антон, наверно, сжег тетрадь, уничтожил перед смертью. Мы не нашли ее с Игорем.

ТИХОМИРОВ

«Кажется, я похож на прокурора», — подумал Мазин недовольно, завязывая галстук перед зеркалом.

Черный костюм делал его строгим и официальным, но переодеваться было некогда. У подъезда ждало такси.

— Я не очень запоздал? — спросил он у шофера.

Тот покосился на счетчик.

— Нормально.

— Тогда поехали. На проспект Космонавтов.

И тут же забыл о шофере, который сидел рядом и, как большинство таксистов, наверно, с удовольствием перекинулся бы парой слов с пассажиром. Но у Мазина этих слов не было.

«Возможно, что я перегнул. Ставить такие эксперименты опасно минимум по десятку причин, а может быть, вообще противопоказано. Все-таки установленный порядок имеет свои преимущества, и не стоит так уж часто поносить бюрократическую рутину. Светлана может послать тебя к чертовой матери, и ты не возразишь ей ни слова. Это же не кактусы собирать на окошке, а тем более не этикетки с бутылок. Они все живые люди. Не нужно мнить себя хирургом, которому по плечу любые опухоли, даже раковые. Собственно, думать уже поздно. Дело сделано. Хотя не сделано пока ничего. И что получится? Они узнают правду? Какую? Зачем? Кто такой этот Тихомиров? Или Светлана? Ему не повезло. А ей? А Инне Кротовой? А если кто-то просто не придет? И почему такой сумбур мыслей, когда мозги должны быть абсолютно свежими!»

— Вам куда на проспекте?

— До самого конца. Там, где новые, высотные...

«Кажется, я трушу. Но я не должен трусить. Я должен все довести до конца. Потому что, только доведя все до конца, я добьюсь того, чего стоило добиваться. Впрочем, откуда я знаю, чего добиваться стоило?»

— Сколько с меня?

— По счетчику.

— Пожалуйста.

— Сдачу возьмите!

Мазин захлопнул дверцу «Волги» и пошел к дому Рождественского.

Все, с кем он хотел увидеться в этой квартире, были на месте. Он посмотрел на часы. Они пришли раньше назначенного срока.

— Здравствуйте!

Мазин повесил плащ и вошел в комнату.

Игорь старался держаться спортсменом. От него пахло одеколоном, и очень чистые нейлоновые манжеты выступали из рукавов ровно настолько, насколько положено.

Инна выглядела постаревшей, придерживала у шеи воротничок толстой вязаной кофты, как будто ей дуло в лицо.

Светлана сидела, положив руки на стол, как школьница на экзаменах.

Мазин улыбнулся.

— Конечно, вам всем неприятно, но ведь тут все-таки лучше, чем у меня в кабинете.

— Зачем вы нас собрали? — спросила Светлана.

Инна глянула на нее исподлобья, но не сказала ничего.

— Я полагаю, нам сейчас объяснят, — произнес Рождественский и тоже присел к столу.

— Постараюсь, — кивнул Мазин и взял стул.

— Пожалуйста!

— Я просил вас прийти, чтобы обменяться мнениями. Мне кажется, так будет легче узнать правду. Правду о смерти Антона Тихомирова, которая нужна и вам, и мне. Но если вы возражаете против такой формы общения, я готов вернуться к официальной процедуре.

Все промолчали, не возразил никто.

— Согласие получено, — ответил Мазин. — Тогда я скажу, что именно мне бы хотелось услышать от вас.

В этой комнате 23 августа оборвалась жизнь человека. Антона Тихомирова, с которым каждый из вас был связан сложными, я бы сказал, нелегкими отношениями. И каждый из вас общался с Тихомировым в день его смерти, в последние часы жизни. Мы уже говорили об этом. Я помню все, что вы сообщили. Не каждый был искренним. По разным причинам. Но мне бы не хотелось сейчас осуждать кого-либо, я просто прошу вас рассказать еще раз все об этом дне. Пусть один дополнит другого. Если нам удастся проследить этот день час за часом мы, возможно, узнаем правду и о последней его минуте. Согласны ли вы на это?

Все смотрели на стол.

— Поверьте, я прекрасно понимаю, что это трудно, особенно женщинам. Но у нас нет другого выхода.

— Вы обвинили нас в неискренности. Значит ли это, что вам известно все или почти все, о чем мы можем сказать? — спросил Рождественский.

— Да, я полагаю, что основные факты мне известны.

— Тогда зачем повторять их друг другу?

— Вы увидите, что это принесет пользу.

— Но мы опять можем обмануть вас, — сказала Инна.

— Я хочу, чтобы вы не обманывали себя. Никто из вас.

— Это звучит слишком высокопарно, но я готов начать, если вы настаиваете. — Рождественский посмотрел на Мазина, сдерживая враждебность.

Видно было, что он жалеет обо всем, что наговорил в ресторане, и ему неудобно и даже стыдно перед женщинами, и поэтому он намерен держаться как случайный свидетель, которому осточертело повторять одно и то же.

— Я готов изложить факты. Подчеркиваю — факты. Потому что эмоции только затушевывают суть происшедшего.

Защита, как известно, была назначена на двенадцать. Ночевал я на даче. Чем занимался с утра, думаю, несущественно. В половине одиннадцатого выехал на машине в город. Я, насколько помню, не собирался заезжать за Антоном, но по пути обнаружил, что забыл сигареты. Остановился у ларька — там продавалась какая-то дрянь. Два блока приличных сигарет хранились у меня здесь, на квартире. Решил взять их, а заодно захватить Антона, если он еще дома.

«Пока все верно», — подумал Мазин, представив, как брезгливо оглядывает табачный киоск Рождественский.

— Но Антон уже ушел. Я открыл дверь своим ключом, вошел в ту комнату. — Он показал большим пальцем через спину на стенку. — Сигареты лежали в нижнем ящике письменного стола. Там они и были. Но на пачках я увидел тетрадку. Школьная старая тетрадка с плохой бумагой — такие выпускали сразу после войны. Тетрадка была не моя, и я, естественно, взглянул на обложку. На ней было написано красным карандашом: «Конст. Кротов» и латинская цифра IX. Я открыл тетрадку и стал просматривать записи.

И это Мазин увидел легко. Чуть прищурившегося Игоря, присевшего на корточки перед столом и листающего тетрадку с недоумением, сначала через страницу, потом...

— ...Потом мне бросилось в глаза что-то знакомое. Я, собственно, работаю над другими проблемами и, видимо, затруднился бы сразу оценить научную ценность записей, но буквально на днях мне пришлось читать автореферат Тихомирова, и поэтому сделать определенный вывод было нетрудно.

— Какой же был ваш вывод?

— Содержание тетради и автореферата совпадали почти текстуально.

— Это не вывод.

— Это факт, который я обнаружил. И хотя факт в целом наталкивал на вполне конкретный вывод, я не хотел ставить точки над «и», что называется, не разогнув колен.

Он их все-таки разогнул, свои колени. Выпрямился и сел за стол, чтобы еще раз просмотреть записи. Чтобы убедиться или не поверить глазам. Но не верить было нельзя. Рождест-

венский для этого слишком логичен. Что же испытал он, когда поверил?

— Около часа я читал тетрадь Кротова и сравнивал с авторефератом. Пока неопровержимым было одно: в основу своей диссертации Тихомиров положил открытие Кротова. По-видимому, никому не известное.

— То есть вы решили, что он украл его?

— Такого слова я бы не употребил. Находка оказалась слишком неожиданной. Необходимо было все обдумать.

Конечно, поверить было трудно. И вряд ли Рождественский был в тот момент так сдержан, как сейчас. Тихомиров, которого он ненавидел, находился в его руках. Да, теперь можно было не прятаться от себя и сказать впервые открыто: я его ненавижу. Хотя бы самому себе. Для начала.

— И вы решили ехать на защиту?

— Да. По-моему, это было единственное решение. Я должен был еще раз убедиться. Посмотреть, как поведет себя Антон на защите. Возможно, он собирался сказать о работе профессора.

— Вы полагаете, что, если бы Антон Тихомиров отметил заслуги покойного профессора Кротова, это изменило бы характер его поступка?

— Нет, вряд ли. Заимствование было очевидным. Это не развитие идеи, а прямой плагиат. Но все-таки отметить заслуги Кротова казалось мне тем минимумом...

Мазин посмотрел на Инну. Она по-прежнему прижимала к груди кофту и никак не реагировала на слова Рождественского. Казалось, она даже не слышит его.

— И вы поехали?

— Да, я поехал в институт.

— Взяв с собой тетрадь?

— Ни в коем случае! Я положил тетрадь на место в стол.

Как это было похоже на него! Он не мог взять тетрадь, «украсть» ее. Принцип? Или очередная нерешительность, изо дня в день сопровождавшая этого спортсмена с волевой челюстью? Ведь взять тетрадь — значило начать действовать. Но это было не для него, конечно. Он еще должен был думать, решать.

— Защита проходила в Большой Круглой аудитории. Так у нас ее называют. Там сиденья спускаются амфитеатром, и войти можно сверху, с четвертого этажа, и снизу, с третьего.

— Вы вошли сверху?

— Да. Потому что я опоздал и защита уже началась.

И еще потому, что ему не хотелось быть в первых рядах.

Рождественский достал сигареты, но, глянув на женщин, бросил пачку на стол.

— Защита уже началась. Я просидел до самого конца. Антон ни слова не сказал о Кротове. При мне. Потом я узнал, что он говорил о нем во вступительной части. Но в самом общем плане заслуг перед наукой... Оппоненты его хвалили, а отец произнес целый панегирик. Говорили о том, что диссертация вышла за рамки кандидатской и должна рассматриваться как докторская.

— Простите, а вам не хотелось встать и сказать правду?

— То есть не правду, а то, что казалось мне тогда правдой? Вы же знаете, что все было гораздо сложнее.

— Теперь знаю. Но вы-то еще не знали!

— Устраивать скандал я считал неприличным, — ответил Рождественский немного свысока. — Достаточно того, что мы скандалим в очередях. В конце концов, наука — это часть цивилизации, и не следует вносить туда базарные нравы...

— Спасибо, я вас понимаю.

Игорь чуть приподнял бровь, соображая, не ирония ли это.

— Более трудное решение ждало меня после защиты. Я был приглашен в ресторан. Я пошел туда и хочу объяснить свой поступок с точки зрения этической. Как вы помните, я сказал вам, что не пошел бы в ресторан, зная, что Тихомиров вор.

— Помню, — вздохнул Мазин. — Вы назвали это психологическим алиби.

— Не я, а вы, — поправил Рождественский.

— Верно, — согласился Мазин.

— Я сказал неправду, но считаю, что поступил правильно.

Он смотрел на Мазина в упор.

— Я говорил, что обнаружил тетрадку после смерти Тихомирова. Говорил, чтобы не впутывать ее... Инну. Я не хотел, чтобы вы знали, что она ездила к Антону из-за этой тетрадки. Не хотел, чтобы на нее падали дурацкие подозрения.

— Дорога в ад вымощена благими намерениями. Теперь там прибавится еще один булыжник, — отозвался Мазин.

— Возможно. Но я считал, что незачем терзать невиновного человека. Поэтому я и был вынужден сказать, что не пошел бы в ресторан с Тихомировым.

Мазин не стал возражать. Он только отметил:

— Но вы пошли.

— Да, я проявил слабость. И хотя я могу сказать, что пошел, чтобы понаблюдать за ним, что-то выяснить, — это будет ложь. Я пошел потому, что мне было неудобно ему отказать.

— Ну, Игорь, кажется, все о'кэй! Пора и промочить горло.

— Видишь ли...

— Что еще?

— Может быть, без меня?

— И не думай! Все заказано.

— Да я...

— Слышать ничего не хочу. Должна же быть в ресторане хоть одна приличная физиономия. Среди этих старых рож! Ну! Не будь хамом. Побежали!

— Хорошо, я приеду.

— Ты с машиной? Может быть, подбросишь пару дедов?

— Пожалуйста.

Наверно, так оно было.

А потом поднимали бокалы, произносили тосты за успех, за талант, за будущее нового почти доктора наук. И Рождественский протягивал свой бокал тому, кого считал вором...

— Естественно, на банкете я чувствовал себя отвратительно. Мне хотелось, чтобы он скорее закончился. Пил я мало. А когда все достаточно повеселели, вышел в холл. Антон появился следом...

— Старик, я хоть и пьян, но вижу — ты не в своей тарелке.

— Да ну, чепуха!

— Личные дела?

— Вроде этого.

— У меня тоже. Сейчас хочу позвонить Светке.

— С Инной, значит, все?

— Финиш, старик. Как в море корабли.

— Не обошлось без драм?

— Была без радости любовь — разлука будет без печали.

— А казалось, на вечные времена?

— Иллюзия. Жаль, конечно. Инна — девка славная. Но ей будет трудно устроить свою жизнь. Характер не тот. Не от мира сего.

— Да, она человек путаный.

— Не современный.

Инна сидела сгорбившись, как будто слышала этот разговор.

— Он вел себя как самодовольный хам, не зная, что все его счастье висит на волоске, на ниточке, которая обвязана вокруг

моего пальца. Мне хотелось дернуть за эту ниточку. Но я не счел себя вправе сделать это, не посоветовавшись с Инной.

«Чтобы она взяла на себя то, чего ты боялся».

— И я поехал к ней...

— Одну минуточку. Вы не помните, чем кончился разговор со Светланой? — перебил Мазин.

— Вы спрашиваете об этом не в первый раз. Меня меньше всего интересовала их беседа.

— Виноват. Тогда скажите вы, Светлана, пожалуйста.

— Вы же знаете.

— Важно восстановить последовательную картину событий.

— Он звал меня приехать сюда.

— И вы отказались?

— Да.

— Светик, все в лучшем виде. Да, да. В самом лучшем.

— Защитился?

— Буду защищать еще раз как докторскую.

— Поздравляю!

— И только?

— Я очень рада.

— Ты обиделась, что я не пригласил тебя?

— Откуда ты звонишь?

— Из ресторана.

— Вам весело?

— Светка, не дури. Ты же знаешь, как мне может быть весело без тебя.

— Значит, скучно?

— Светлячок, не дуйся. Сегодня колоссальный день. Мы должны его отпраздновать вдвоем. Ты приедешь?

— Куда?

— Ко мне. На проспект Космонавтов.

— Когда?

— Сейчас.

— Конечно, нет.

— Ну, Светик...

— Антон, ты выпил.

— Совсем немножко.

— Ладно, считать не будем. Сегодня ты имеешь право. И я тебя поздравляю и... целую, пьяница несчастный. Завтра встретимся.

Видимо, так она говорила, потому что обиделась все-таки. Но и ссориться не хотела. Есть люди, которые всегда стремят-

ся быть приличными. Годами любят украдкой, потому что иначе нельзя, а потом, когда становится можно, устраивают свадьбу во Дворце бракосочетаний, в фате и белом платье, с обручальными кольцами и прочей чепухой и умудряются быстро забыть «стыдные» встречи на чужих квартирах, торопливые и горестные, когда и жить друг без друга нельзя и нельзя не калечить себя, чтобы скрыть, соблюсти приличия. Все это они умеют выбросить из памяти навсегда и презрительно морщатся, когда узнают о чем-то похожем. «Нет, мы были не такими...»

Мазин повернулся к Рождественскому.

— Что делал Тихомиров дальше?

— Он вернулся в ресторан.

— А вы поехали к Инне Константиновне?

— Да.

Мазин посмотрел на Инну и снова засомневался в правильности того, что делает. Зачем ей переживать все это снова?

— Разрешите, я сама расскажу, — предложила она тихо.

— Нет, я.

Рождественский настаивал.

— Хорошо, — решил Мазин. — Расскажите вы. Схематично, главное. А Инна Константиновна дополнит, если найдет нужным.

— Я приехал к Инне домой и сказал все, что знал...

— Здравствуй, Игорь. Раздевайся.

— Я по очень важному делу, Инночка.

— Откуда ты?

— Из ресторана.

— Защита прошла удачно?

— Речь идет о докторской.

— Антона можно поздравить.

— Не думаю.

— В чем дело?

— Инна! У Константина Романовича оставались неопубликованные работы?

Как трудно ей было ответить!

— Что ты имеешь в виду?

— Короче, сегодня я был у Антона. На своей квартире. Приехал за сигаретами, полез в ящик стола...

«Что пережила она, слушая его? Наверно, вот так, как сейчас, сидела согнувшись на краю тахты. А может быть, и у нее мелькнуло мстительное чувство радости? Нет».

— Я знаю об этой тетради, Игорь.

— Знаешь?!

— Я сама отдала ему ее.

— Невероятно!

— Правда. Он ничего не присвоил. Он сам, понимаешь, все нашел. Но он не знал, что это уже было сделано отцом десять лет назад.

— Ее слова подействовали на меня охлаждающе, — продолжал сухо излагать факты Рождественский, — но я не мог поверить Инне полностью. То есть ей я, разумеется, верил, однако текст диссертации так близко совпадал с написанным Кротовым, что я стал в тупик...

— Он мог тебя обмануть!

— Каким образом? Тетради привезла тетя Даша, когда Антон уже почти закончил работу.

— Это ничего не значит. Он мог найти в них главное. Я уверен, без работ твоего отца ему удалось бы состряпать только убогое и ординарное месиво, предназначенное для крыс в архивных шкафах.

— Ты несправедлив, Игорь. Научный руководитель не мог не знать, над чем работает Антон.

— Мой папаша? Втереть ему очки — пара пустяков. Он давно отказался от собственных поисков и поэтому непередаваемо кичится так называемыми учениками. Еще бы! Открыл ученого!

— Ты несправедлив, Игорь!

— А ты играешь в казанскую сироту! Мне противна эта толстовщина, непротивление. Подставь еще раз побитую щеку. Не другую, а ту же самую! Чтоб больнее было!

Он не замечал, что бил сам.

— Уже то, что Антон ни слова не сказал о Константине Романовиче, само по себе непростительно.

Да, этого она не могла простить. Она ждала иного, ждала, что имя отца прозвучит, займет свое место.

— Где твоя женская гордость, в конце концов?

— Есть вещи, которых ты не должен касаться, Игорь!

— Прости меня, Инна, я понимаю, что это касается только тебя, но мне больно, когда тебя унижают.

— В чем ты видишь унижение? В том, что мы разошлись, что у нас ничего не получилось?

— Что значит — не получилось? Можно быть наивной, но всему должен быть предел. Антон обворовал тебя и бросил! А теперь названивает этой грудастой матрешке: Светик, Светлячок. Сюсюкает, распустив слюни ей на кофточку!

— Зачем ты унижаешь меня, Игорь?!

— Я люблю тебя.

— Об этом не нужно.

— Я знаю. Ничего не нужно. Никакой правды!

— Чего ты хочешь от меня?

— Ты не имеешь права оставлять это. Хотя бы в память отца.

— Что же я должна сделать?

— Рассказать правду.

— Кому?

— Всем.

— Игорь, пойми меня. Я, наверно, очень слабый и несчастный человек, но я не базарная баба, не мстительная мещанка. Я отдала ему эти тетради, и, если он поступил подло, пусть с ним расплатится жизнь.

— Жизнь? Именно для таких проходимцев она и устроена.

— Не мне ее менять.

— Значит, ты не будешь делать ничего?

— Ничего.

— Я тебя не понимаю.

— Игорь, тобой движет мстительное чувство.

— Мной движет чувство справедливости.

— Которая выгодна тебе.

— Но это справедливость! И это так же верно, как и то, что Антон негодяй.

— Жизнь слишком сложна, чтобы делить людей на плохих и хороших.

— Все человеки? Опять толстовщина?

— Никакой толстовщины. Ты ничего не знаешь об Антоне. Он не вор, не негодяй, не преступник. Он человек трудной судьбы. Мы можем сломать ему жизнь навсегда. А он талантлив. Он возьмет у отца то, что ему необходимо для разбега, и пойдет дальше. Ведь для науки неважно, кто сделал открытие. Важно, чтобы оно попало к людям. А мы сломаем его, убьем. Зачем? За что? Потому что он «отбил» меня у тебя? Но это же неправда! Никакой любви у нас не было. Просто боялись скуки, одиночества. За что я должна мстить? Бросил, ты говоришь? Разлюбил, наверно. Но он не вор. Так все получилось. Я не имею права на месть. И никто не имеет. Мы культурные, цивилизованные люди, а ты хочешь выпу-

стить зверя, который гнездится в каждом. И в нас с тобой. Зверя, чтобы укусить, растерзать, свести счеты.

— Мы не животные.

— Потому что мы научились прятать инстинкты в словесной паутине.

— Называй это как хочешь, но я знаю одно: совершивший подлость должен расплатиться.

— Ты как робот...

Инна:

— Игорь пытался убедить меня в том, что Антон негодяй. Но перед кем он был виновен? Перед моим отцом. Однако и я была виновна перед ним не меньше. Как же я могла мстить Антону?

Игорь Рождественский:

— Но я настаивал на своем, я был уверен в своей правоте.

«Если ты наотрез отказываешься разоблачить этого подонка, я сделаю это сам».

«Каким образом?»

«Расскажу про тетрадку».

«Антон все опровергнет».

«А ты? Ты же врать не станешь?»

«Я не смогу. Я скажу правду. Скажу, что дала ему эта тетрадь сама».

«Это его не выручит. Наоборот. Опозорит».

«И меня тоже опозорит. Поэтому ты не сделаешь этого».

Он не ожидал такого ответа. Он замолчал. Он не мог нанести удар Инне. Но и отказаться от мести не мог тоже. У него был трезвый аналитический мозг. И он подсказал решение.

«Хорошо. Я не сделаю тебе больно. Это факт. Я сделаю другое. Я все-таки скажу. Скажу ему самому. Пусть он знает, что он сволочь и что это известно не ему одному».

Игорь Рождественский:

— Это был вопрос принципа. Он должен был получить по морде. Я уверен, что заставил бы его не только бояться. От страха он бы начал заметать следы и был вынужден в той или иной форме признать приоритет Кротова. Я сказал Инне, что поеду к Антону...

«Когда ты намерен это сделать?»

«Сейчас».

«Ты думаешь, он дома?»

«Да. Он собирался из ресторана домой, вернее, ко мне».

«Но он может быть не один».

«Светки там нет. Для бедной девушки единственное сокровище — ее репутация. Она отказала ему. Я сам слышал. Мораль прежде всего».

«Тогда к нему поеду я...»

Инна:

— Не знаю, почему я так решила.

— Потому что думала, что он вернется. Ей не удалось купить его своей тетрадкой, так она решила взять на испуг.

Это сказала Светлана. Сказала зло.

Мазин посмотрел на нее, чуть прищурившись. Потом перевел взгляд на Инну. Та нахохлилась, как птица на ветке в тусклый осенний день.

— До вас еще дойдет очередь, Светлана.

— При чем тут очередь? Мы что, в магазине? Зачем вы меня сюда вызвали? Помучить захотели? Зачем мне слушать, как они его ненавидели? Как до смерти довели! Зачем?

— Перестаньте. Я вам скажу зачем. Немного позже.

Инна вдруг сделала жест рукой.

— Не нужно осуждать эту девушку. Я понимаю ее. Я ей ненавистна, а я ее считаю виновницей своих несчастий. Тут уж не разберешься. Я не собиралась никого «брать на испуг». Совсем наоборот. Мне хотелось выручить Антона. Я, правд не знала как. Но я поехала.

«Именно выручить. Как? Конечно, не знала. Просто гнала машину по пустым ночным улицам и думала, думала. И ничего не могла придумать, кроме одного — сделать для него все, что можно, и уйти. Уйти, забыть и остаться одной. Остаться в комнате с нелепым дикарским оружием. В музее, где развешаны по стенам некрасивые кавалеры в париках, отстрадавшие свое двести лет назад. Остаться в городе, пыльном летом, дождливом зимой, одной рядом с миллионом людей. И она останется, сначала спасет его — теперь уже по-настоящему спасет, — а потом останется одна и никогда больше не позволит себе мучиться и надеяться.

А если он захочет вернуться? Эта мысль жила подсознательно. Инна загоняла ее внутрь, не давала хода. Но она изловчилась и выскочила из-под контроля, взяла за горло, сдавила тонкую шею. Инна нажала на тормоз. Раздался лязг,

потом тишина. И еще — пустота и темнота. Инна опустила голову на руль и коснулась лбом холодной пластмассы. Но ничего страшного не произошло. И не стоило бояться. Захочет он вернуться или нет, она устала, устала, и то, что было, кончилось.

Потом она огляделась и увидела, что «Волга» стоит в самом конце проспекта. Отсюда до высотного дома было совсем близко. Инна решила оставить машину здесь».

— Я не собиралась скрываться. Просто, когда подъехала, сориентировалась не сразу и пошла к дому пешком. Лифт не работал, пришлось подниматься по лестнице. Перед дверью я отдышалась немного. В квартире было тихо. Я даже подумала, что Антона еще нет. Но позвонила.

Он пришел недавно, за несколько минут до Инны. Снял пиджак, повесил на спинку стула, развязал галстук и взялся за запонки, когда позвонили. Наверно, он подумал, что пришла Светлана, потому что Инна увидела на его лице улыбку.

— Это ты? — спросил он, и улыбка ушла, появилась тревога.

Инне стало больно.

— Да, это я. Можно зайти или ты не один?

— Я один. Заходи.

Она вошла и еще раз оглядела его при свете электрической лампы, высокого, подтянутого, в белой новой рубашке с расстегнутым воротником и лицом желтоватым, усталым, довольным и тревожным одновременно.

— Садись.

— Спасибо.

Он ждал, что она скажет, а ей не хотелось говорить ничего. И еще она видела, что он не вернется, и ей снова было это не безразлично, а больно, и уже не хотелось спасать этого чужого человека, которого она увидела сейчас в первый раз, именно в первый раз такого.

— Я тебя слушаю.

— Я пришла не объясняться, Антон.

Он нахмурился, потому что понял, что все, что происходит, серьезно.

Инна:

— Я не знала, что сказать. Нужно было говорить главное, о том, что Игорю все стало известно, но я вдруг подумала, что

Антон может не поверить мне, решить, что я сама рассказала Игорю и приехала отомстить или, что еще хуже, попытаться вернуть его угрозой. Было ужасно стыдно, и я растерялась...

— Тебя бы следовало поздравить.

— Только не тебе.

— Почему? Может быть, именно мне.

— Ты приехала поздравить меня?

От неуверенности он становился грубее.

— Нет, я бы не решилась. Ты мог быть с другой женщиной...

— Ну?

Она заметила, что он бледен не только от усталости. Он все-таки немало выпил в ресторане.

— Разве я не имею права быть с другой женщиной?

— Кто же тебе может запретить?

— А ты бы хотела запретить?

Незаслуженная враждебность ранила.

— Не будем об этом, Антон.

— Вот именно. Не будем.

— Хорошо, что ты сразу дал мне понять, что назад дороги нет.

— Ты сама ее перечеркнула.

— Может быть.

— Не может быть, а только так.

В словах его звучало пьяное упорство, стремление добиться своего, даже ненужного.

— Ты хотела, чтобы я всегда... чтобы я знал свое место.

— Не нужно...

— Свое плебейское место!

— Антон! Я тебя любила.

Это «любила» в прошедшем времени не обрадовало, а резануло его. Щепоть соли на то, что он растравлял пьяно и искусственно, вопреки смыслу.

— Любила! Еще бы! Как щенка, как котенка. Девочка любит Мурзика, она ему даже свою шоколадку отдаст. А Мурзик не ест шоколад, ему на него смотреть противно!

— Я вижу!

— Что ты видишь?

— Что тебе противно смотреть на меня.

— Обычные женские приемы!

— Не оскорбляй меня.

— И не думаю. Говорю только правду.

— В чем же твоя правда?
— Это не моя правда. Это правда — и все!
— Так в чем же она?
— В том, что я был Мурзиком. Причесанным, отглаженным, накормленным котеночком с бантиком на шее. Ты всегда относилась ко мне свысока. Облагодетельствовала, а не любила. Жертвовала! Начиная с той эфиопской маски на елке. Забавная смешная маска. Но ее нельзя носить всю жизнь.
— Вот ты ее и скинул.
Она имела в виду — избавился, он понял — разоблачился.
— Да, я скинул маску. Я хам.
— Как ты несправедлив!
— Из хама не выйдет пана.

Инна:
— Он встретил меня враждебно. Может быть, подумал, что я пришла добиваться восстановления прежних отношений. Грубо говорил, что я всегда была деспотична, стремилась командовать им, пичкала ненужными благодеяниями, которые тяготили его. Вспомнил даже детство, ту африканскую маску... Но о тетрадке отца он, казалось, просто забыл, не сказал о ней ни слова...

Он забыл о главном, и его раздражали мелочи. Потому что после достигнутого успеха все казалось мелочами, прошлым, одинаковым и незначительным, — и маска на той, почти выдуманной елке, и пачка пожелтевших листков, соединенных ржавыми скрепками. Что они значили, эти листки, по сравнению с его победой? Он шел к ней так долго и так трудно, и он заслужил ее. Сам. Так почему же эта женщина пришла к нему? Зачем? Такая до отвращения беззащитная, слабая, готовая залиться слезами. Да нет, даже не залиться, а просто заскулить, как побитый щенок. С такими тонкими дрожащими руками и морщинками у больших испуганных глаз. Не приспособленная к жизни, одинокая всегда и со всеми, стареющий подросток, слабый и бесплодный. Он не хотел ее. Он ждал другую, молодую, наполненную жизнью, именно она была нужна ему, счастливому и пьяному, чтобы поднять ее на руки, подхватив под мягкие коленки, целовать в открытый, задыхающийся рот, бросить на неразобранную кровать одетую и не снимать, а срывать платье, чтобы рвались пуговицы и трещали швы. И черт с ним, с этим платьем, он купит ей другое и еще кучи разных тряпок, а сегодня он может все. И он получит все. А потом оставит ее, измучен-

ную и счастливую, уткнувшуюся в изнеможении в разбросанные подушки, откроет холодильник и нальет стакан прозрачного вина, выпьет, и ему будет легко и свободно.

А вместо этого...И он не мог сдержать раздражения, а дав ему волю, сразу поверил себе и верил каждому слову и уже не только не чувствовал вины или даже неловкости перед этой женщиной, но наоборот — удивлялся ее бестактности. Зачем она пришла? Неужели не понимает, как она здесь не нужна, особенно сегодня, и как противны ему все эти разглагольствования о чувствах, отношениях, обо всем, что прошло?

— Ты не хам, Антон. Ты потерял тормоза. Завтра ты пожалеешь о своих словах.

— Хотел бы я знать почему?

— Потому что люди всегда жалеют о своих неумных и несправедливых поступках. И потому что ты не такой, Антон.

— Люди никогда не знают друг друга.

— В этом ты, возможно, и прав.

— Они выдумывают друг друга и ужасно расстраиваются, когда оказывается, что выдумали совсем не то.

— Значит, и я тебя выдумала?

— Еще бы! А на самом деле между людьми стена. Через нее не перепрыгнуть. Каждый — это целый мир. Непознаваемый для другого. Миллиарды клеток. Галактика.

Она усмехнулась с горечью.

— А может быть, все проще, Антон? Может быть, дело не в миллиардах клеток, а в килограммах мяса. Вот здесь и тут.

Инна провела рукой по груди и бедрам.

— И еще в морщинках, которые появляются с годами. А вовсе не в извилинах?

Антон посмотрел на нее и замолчал. Не потому, что согласился. Он вспомнил, как трогали его ее слабые руки и казались удивительно красивыми ее длинные пальцы. Но это уже прошло, как пройдет, наверно, и сегодняшнее, и появится брезгливость к распирающей платье груди, и он будет говорить морщась: «Ты бы поменьше вырезала кофту. Не очень-то это красиво». И будет заглядываться на тоненьких девочек.

И пусть будет! Человек не должен постоянно растравлять себя идиотскими мыслями о том, что будет. Он должен жить сегодняшним днем и радоваться тому, что влечет его сегодня. Сегодня он ждал Светлану, а не эту, уже ушедшую женщину. Правда, с ней ушла и часть его жизни... Он вдруг притих.

— Мы мало знаем обо всем. Мы ничего не знаем. Что ты хочешь мне сказать?

Тихомиров глянул на часы, стоявшие на книжном шкафу. «Может, и хорошо, что Светлана не пришла».

— Мы ничего не знаем,— повторил он, действительно не зная, что ему осталось жить меньше часа.

Инна:

— Он снова спросил, зачем я пришла. И мне надо было наконец сказать правду, рассказать об Игоре. Но наш разговор, нервный, недобрый, совсем расстроил меня. Антон был так непохож на себя. Однако слова его не оскорбляли меня. Я ведь знала, что он не такой, каким хотел казаться.

По-моему, его мучили угрызения совести, чувства страха и вины, они ожесточили Антона, угнетали самолюбие, делали жестоким и злым. Я старалась преодолеть себя, сказать обо всем мягко...

— Антон, наши отношения, близкие отношения, то, что мы считали близким, я вижу, они кончились. Не нужно упрекать друг друга, отравлять злобой прошлое. Я пришла не выяснять отношения. У меня совсем другое дело. Мне нужно сказать тебе, поговорить... о папиных записях.

— Вот что!

— Да

— Да, это так неприятно.

Очень щекотливый вопрос?

— произнес это иронически.

— Антон! Не обижайся на меня.

— Говори, Инна, прямо.

— Только так, Антон. Скажи, пожалуйста, ты действительно все сделал сам?

— Не понимаю.

— Антон, это необычайно важно. Для меня. Я была уверена, что произошло трагическое совпадение. Ты все сделал сам, а потом оказалось, что отец сделал это раньше. Да?

— Да. Но ты говоришь, была уверена. Разве теперь ты не уверена?

— Нет, я верю тебе.

— Но сомневаешься?

— Если ты скажешь «да», я не буду сомневаться.

— Я говорил это не раз, но ты сомневаешься.

Горячность его прошла. Он даже застегнул воротник.

— Инна, я тебя очень хорошо знаю. Ты не из тех, кто расставляет людям ловушки. Зачем ты опять поднимаешь этот вопрос?

Инна:

— Я просто не могла сказать об Игоре. Мне хотелось одного, чтобы он убедил меня в своей честности, подтвердил то, в чем я не сомневалась до сих пор. И тогда, я верила, мне удастся опровергнуть Игоря, защитить от него Антона. Если бы он доказал мне это, я могла пойти на все, даже обмануть, сказать, что никакой тетради вообще не существовало.

— Так, — произнес он, растягивая это короткое слово. — Так кончается любовь. Ты жалеешь о том, что сделала?

— Нет, Антон, нет.

— Зачем же этот разговор? Что это — шантаж или просто наивный женский садизм, желание покопаться в моих ранах?

— Нет, Антон. Ты не понимаешь. Я хочу...

— Чего ты хочешь? Чего? Целый час я добиваюсь — чего ты хочешь?

— Я хочу, чтобы у тебя не было неприятностой.

— Каких? Отчего?

— Тетрадь могут увидеть.

— И что из этого?

— Ее могут сравнить с твоим авторефератом.

— Все-таки не веришь! Ну что ж... Хотел бы я зн... но: остановишься ты на этом или пойдешь дальше?

— Прошу тебя, не нужно оскорблений.

— Не нужно оскорблений? А меня ты можешь оскорблять своими предположениями!

— Антон, я говорю очень серьезно. Для тебя это д...же важнее, чем для меня.

— А я не желаю обсуждать все это.

— Но я вынуждена, Антон.

— Значит, шантаж?

— Как ты говоришь со мной сегодня! Ужасно!

— То, что делаешь ты, подло!

— Что я сделала?

— Не знаешь? Хорошо, я разъясню. Ты пришла ко мне в лучший день моей жизни, в день, о котором я столько мечтал...

— Когда-то мы мечтали о нем вместе.

— Когда-то! Когда я был независим от тебя, а не дергался на веревочке, как паяц.

— Не нужно.

— Нет, нужно! Ты пришла в такой день, чтобы продемонст-

Инна:

— Я ушла. Он не провожал меня. Остался в комнате. Ушла, чтобы убедить Игоря ничего не предпринимать, потому что в одном Антон был прав: больнее всего было бы мне. А мне и так было больно... Разрешите мне закурить.

Она достала из сумочки сигарету, хотела размять ее, но сломала. Игорь протянул ей другую и зажег спичку.

— И больше вы не видели Тихомирова? — спросил Мазин.

— Нет.

— Почему же вы вините себя в его смерти?

— Может быть, обойдемся без этого? — перебил Рождественский, — раз уж мы решили заниматься только фактами.

— Погоди, Игорь, — остановила Инна. — Смерть Антона тоже факт. Когда я уходила, он был мертв только для меня. Для меня его больше не было. Но я не думала, что он может быть мертв для всех, умрет в самом деле. Известие о его смерти ошеломило меня. Я взглянула на все происшедшее снова без гнева и раздражения. Ведь я знала его много лет. И он был совсем другой. Не мог же Антон быть ненастоящим всегда, а настоящим только в те минуты, ужасным, отвратительным. Он был потрясен успехом, ценой своего успеха и, конечно, путаницей, в которую он попал, и он был пьян. Он мог сорваться и говорить то, что приходило в голову, но не то, чем он жил. Но он мог и отрезветь, и ему могло стать страшно, и могло возникнуть отвращение к себе и желание прервать эту непонятную, терзающую его жизнь.

— Вы довели его до этого! — крикнула вдруг Светлана. — Довели, довели!

Инна не ответила. Она продолжала свою мысль:

— После меня его никто не видел. И никто не мог убить. А сам бы он никогда не полез на окно. Он боялся высоты, он не мог погибнуть случайно.

— Вы погубили его. Из злобы, из ревности. Вы запугали его. Он был честным и талантливым. Он ничего не воровал. А вы шантажировали его, чтобы вернуть себе, и довели до смерти. Вы не хотели об этом говорить. Но вас разоблачил Игорь Николаевич. Вас судить нужно. По закону это даром не проходит. Есть такая статья. За доведение до самоубийства!

Мазин не любил волевого тона. Но когда он говорил категорично, его слушались.

— Прекратите, Светлана!

— Разве я неправду говорю?

— Нет.

— Ну тогда я просто не знаю...

— Сейчас мы выясним, что вы знаете, а чего нет. Между прочим, окажется, что знаете вы много. Например, знали, что Инна Константиновна была здесь.

— Откуда?..

Мазин прервал ее жестом.

— Иначе бы вы не послали мне это письмо.

Он бросил на стол записку в голубом конверте.

— Вы только не знали, что написала ее не Инна. Записку написала Ирина Тихомирова. Но не двадцать третьего, а второго августа. Тройку вы добавили, Светлана!

— Я... я... не...

— Вам этот наивный трюк показался очень хитрым, а на самом деле это чепуха, примитив. Но злобная, дрянная чепуха. Кстати, Антон так и не видел этой записки? Вы взяли ее из ящика или в квартире?

— Да.

По правде говоря, у него не было проверенных доказательств. Только уверенность. Уверенность в том, что он найдет отпечатки пальцев и признаки ее почерка в этих сделанных под печатные буквах на конверте. А тройка, приписанная к двойке, была видна и без достижений криминалистики. Хотя он увидел ее не сразу. Зато, когда увидел, сомневаться больше не приходилось.

— Что значит «да»?

— Я нашла ее в комнате.

Скорее всего это была ложь. Наверно, Антон попросил ее взять из ящика газеты или она сама взялась сходить за ними и нашла записку, которую сунула в сумочку. Но это уже неважно. Важно, что она призналась. Пока наполовину, но теперь уж скажет все, хоть и не сразу, и будет выкручиваться. Однако следовало кое-что объяснить.

— Вот показания Ирины Тихомировой. — Он положил на стол бумагу. — Она не имеет никакого отношения к смерти мужа. Находилась в городе в начале месяца. У нее болел ребенок, он лежал в больнице. Врач ждал кризиса. Ирина решила разыскать Антона. Оставила записку в почтовом ящике. Думаю, что она не попала по адресу. А вы, — он повернулся к Светлане, — решили, что ее написала Инна Кротова.

Глаза Светланы стали прозрачными. Было даже интересно смотреть, как они наполняются слезами, неморгающие, широко открытые глаза. Потом переполнились, и слезы побежали быстрыми каплями, одна за другой, как будто крыша потекла.

— Это правда, — заговорила она быстро и совсем не плак-

сивым голосом, как боялся Мазин. — Но вы ж и меня должны понять. Я его любила, любила... И боялась, что он вернется... к ней... Бросит меня. Я боялась, потому что он всегда помнил о ней, говорил. И не хотел, а у него прорывалось. Иногда даже называл меня Инна...

Инна встала и отошла к окну. Открыла форточку. Оттуда налетел ветер и рассеял дым сигареты.

— Когда я увидела эту записку, я не удержалась. Что ж тут такого в моем положении? Она была в незаклеенном конверте. Я прочитала и совсем испугалась.

— Что же вас напугало?

— Там написано: «Речь идет не обо мне». И я подумала... подумала, что у нее будет ребенок.

Инна передернула плечами, Игорь подошел к ней. Мазин остался за столом со Светланой. Она не видела теперь никого, кроме него, и это ее подбодрило, слезы побежали реже.

— Представьте себе, как я мучилась. Я не спала. И ничего не могла сказать ему.

— Еще бы! Вам пришлось бы рассказать о письме.

— Нет, не потому. Я бы сказала о письме!

Две или три слезинки соскочили с подбородка на грудь, на кофточке образовалось темное пятнышко. «Интересно, промокнет насквозь или нет?» — подумал Мазин совсем неподходящее к моменту.

— Я бы сказала, но я не сказала совсем по-другому. Я боялась вмешиваться. Антон бы не позволил никогда, потому что она всегда была для него выше, чем я. Он не любил ее, но он знаете как к ней относился... Как будто она чем-то лучше его. А она довела его до смерти, до самоубийства!

— Подождите о смерти. Говорите о себе!

— А что говорить? Я извелась вся. Я даже хотела идти к ней и поговорить. И ходила. В этот музей.

Инна повернулась с любопытством.

— Но я не говорила. Потому что боялась Антона. Я не решилась.

Еще одна слезинка скатилась с подбородка и опять попала туда же, на темное пятнышко. Оно стало чуть больше.

«Промокнет!»

Инна снова отвернулась.

— Вы только представьте, что я пережила!

Но Мазин не сочувствовал. Иногда у него появлялась такая жестокость, брезгливое равнодушие к людям, которых он презирал.

— Я не могла понять, знает он или нет. То мне казалось,

что не знал ничего, а то, что он обманывает меня, не говорит. А про Ирину Антон тоже ничего не сказал.

— Он ничего не знал о болезни сына, потому что вы украли записку. А Ирина в тот вечер прийти не смогла, была в больнице. Потом сыну стало лучше, и она уехала.

— Я ж не хотела...

Прозрачная кофточка наконец прилипла к телу.

— Светлана, я верю, что вы переживали. Но это не оправдывает ваш поступок и даже не объясняет его. Допустим, вы в самом деле решили, что в записке идет речь о ребенке. Наверно, такое можно предположить, особенно женщине в вашем положении. Но с какой целью вы отправили записку мне через два месяца, когда Антона уже не было в живых? Мстить женщине, ожидающей ребенка и не виноватой ни в чем, кроме того, что она может стать матерью, — это же отвратительно. Думаю, что вы не так уж злобны и бездушны.

В последних словах она уловила поддержку.

— Я уже знала, что ошиблась насчет ребенка.

— И что же?

— Но я знала, что она виновата в смерти Антона.

— Знали или предполагали?

— Знала! Знала.

— Откуда?

— Я скажу. Я не хочу, чтобы меня считали подлой и Антона — подлецом. Он не был подлец. Он был хороший, лучше всех. Он сам все открыл, а она его запугивала, упрекала. Ему не нужно было бояться. Если б он со мной посоветовался, я б ему прямо сказала: открой все — и тебя поймут. А он ее боялся, потому что она всегда на него влияла и только вред приносила. И загубила его.

— Позвольте, Светлана. Сначала факты, а потом чувства.

— Да, факты, только я их слишком поздно узнала.

— Расскажите, как и что вы узнали, от кого?

— От нее! От нее самой!

Инна повернулась резко, будто ее толкнули. Игорь тоже. Они смотрели на Светлану с изумлением.

— Я все расскажу. Потому что я слышала весь их разговор. Я была тут, в квартире, в той комнате!

— Боже мой! — сказала Инна и закрыла лицо ладонями.

— Значит, я был прав, когда полагал, что вы все-таки поехали к Тихомирову? — спросил Мазин спокойно.

— Вы правильно догадались. Но вы тоже не все знаете.

— Возможно, — не стал он спорить.

— А я все слышала.

— И Антон так себя вел! — прошептала Инна. Кажется, и ей начало отказывать самообладание.

— Не беспокойтесь! Антон сам не знал, что я здесь.

— Расскажите подробно, — предложил Мазин.

— Да что рассказывать! После звонка я не знала, что делать. Я думала, что он меня обманывает, скрывает про ребенка, и обиделась, что он не позвал меня на защиту и в ресторан. Я думала, что там может быть она. Когда Антон позвонил, я успокоилась немного, но сразу не могла решить, что делать, и отказалась. А потом мне перед ним неудобно стало. Ведь такой день у него, а я ломаюсь...

Это «ломаюсь» почти развеселило Мазина. Когда Светлана волновалась, она становилась проще, естественнее и наивнее. Наивной в своей убежденности, что делать так, как она делала, можно, а выкручиваться приходится потому, что люди, которых она совсем не понимала, представлялись ей более хитрыми, и только.

— И я решила поехать. Собралась быстро и поехала.

«Не сочла себя вправе ломаться в такой день! Это оттуда, из деревни, из веков — блюсти себя, но не ломаться, когда нельзя. Вечная борьба с хозяином-мужчиной. С хозяином, которого можно обманывать, бунтовать даже, но от этого он не перестанет быть хозяином и имеет свои права. И еще исконное, бабское, вроде жалости: уж как приспичит мужику — аж жалко становится. Хотя все это в корнях где-то, подсознательно, а на поверхности страх, конечно, — не прогадать бы, а не поеду — поедет другая или он к ней. А приеду неожиданно — обрадуется, на них, мужиков, это действует. Может, расчувствуется — правду скажет. Так она думала, наверно, а возможно, и не все так, потому что не все мы обдумываем полностью и до конца, а просто делаем, и все, особенно женщины».

— Вы были уверены, что Тихомирова здесь?

— Он же меня сюда звал.

— Но он мог и запоздать, не сразу приехать, раз вы сказали, что не приедете.

— Так и вышло.

— Вы приехали раньше его?

— Раньше. Но у меня ключ был.

— Вы не в первый раз бывали здесь?

Мазин не смотрел на Инну.

— Не первый.

— Хорошо. Рассказывайте дальше.

— Ну, приехала я, а его нет. Я зашла в ту комнату, села,

решила подождать. Минут тридцать сидела. Его нету. Меня в сон клонить начало. Ведь было поздно уже. Прилегла на диване, задремала я в общем. А он сразу в эту комнату зашел, а не туда. И не увидел меня.

«Может быть. Она здоровая. И может спать везде и когда захочет. Ей наверняка не требуется снотворное. Прилегла и задремала. Или нет? Слишком уж спокойно! Скорее не спала, а, наоборот, сидела, ждала, нервничала, когда придет, где он сейчас, с кем? А если придет не один? Да, это больше похоже на правду. Но она говорит, что спала, и тут уж ее не проверишь. Пусть так и остается».

— Что вас разбудило?

— Звонок.

— Тихомиров был уже дома?

— Да, он пошел открывать, а я испугалась, никак не могла сообразить, что же делать.

«Слишком часто она жалуется, что не могла сообразить!»

— Слышу, они говорят в прихожей. Антон и она. Я совсем растерялась.

«Все-таки это действительно неприятная ситуация. Спрятаться с риском быть обнаруженной? Или выйти и вызвать скандал? Интересно, почему она решила остаться? Струсила или схитрила, решила подслушать?»

— И что же вы решили?

— Я ничего не решила. Сначала я думала, что она скоро уйдет, а потом уже выйти нельзя было. Ужасно неприятно было. Я не хотела...

«Возможно, а может, и прислушивалась затаив дыхание и не боялась ничего, готовая схватиться с соперницей грубо, мертвой хваткой. Этого тоже не узнать».

— Вы слышали весь разговор?

— Да, они громко говорили.

— О чем?

Нет, он не сомневался, что Инна сказала правду, ему просто хотелось узнать, что скажет Светлана.

— Она его унижала.

«Неужели будет иная версия?»

— Она говорила тут, но было не так. И так и не так. Она его унижала, давала ему понять, что он вор и что теперь он никогда не будет жить спокойно. Я не понимала сначала, о чем разговор, а потом начала понимать, но не верила, что Антон мог чужую работу присвоить. Я хотела выйти и сказать прямо: не мог он такого сделать и не делал, а если вы его любите, как же можете его вором считать?

Светлана повернулась к Инне, и Мазин заметил, что слез на ее щеках уже нет.

Инна молчала.

«Интересно, что она о ней думает? Наверно, считает за недалекую в общем простушку с хорошо развитой фигурой».

— Но вы не вышли?

— Нет. Как я могла выйти? Она бы подумала, что это Антон меня прячет. А он бы так делать никогда не стал. Если б он знал, где я, он бы прямо сказал, что я здесь, потому что он был прямой и принципиальный.

Мазин отметил — «принципиальный». За весь вечер это было первое нерусское слово. Да, когда она волнуется, ей не до звучных «хобби».

— Он сказал, что не виноват, и я ему верю, верю! А она угрожала ему.

Мазин вопросительно глянул на Инну.

Та ничего не опровергла, только пожала плечами и сказала:

— Эта девушка преувеличивает, конечно, но ее можно понять.

— Предположим, — согласился Мазин. — Что же произошло после того, как ушла Инна Константиновна?

— Я вышла.

— Тихомиров удивился?

— Еще бы! Или нет... закрыл лицо руками.

— Ты все слышала? — спросил он.

— Да.

— И что ты поняла?

— Тебя хотят оклеветать!

— Я это заслужил.

— Но ты не мог ничего украсть! Не мог! Я же знаю!

— Да, я не вор. Ты веришь мне?

— Как же я могу тебе не верить!

— Спасибо!

Он поцеловал мне руку.

— А теперь уходи!

— Я не могу оставить тебя сейчас.

— Нет, уходи. Я должен обдумать свое катастрофическое положение. Меня ждет позор и гибель.

— Она не скажет!

— Нет, она скажет, она будет мстить мне. У меня нет выхода.

— Что ты задумал?

— Ничего.

— Что ты задумал?

— Пока ничего. Мне нужно решить. Иди, пожалуйста.

— Я не могу оставить тебя одного.

— Одному мне будет лучше. Я не хочу никого видеть!

— Даже меня?

— Мне стыдно перед тобой.

— Хорошо, я уйду, чтобы ты успокоился, но знай и помни, что бы ни случилось, я всегда с тобой.

— Спасибо, Светлана!

— Обещай мне, что ты не сделаешь никаких глупостей.

— Что ты! Я просто должен отдохнуть, а завтра мы все обсудим вместе.

— Обещай мне! Ведь ты настоящий ученый. Ты должен беречь себя. Обещаешь?

— Обещаю...

— Я поверила ему, но он не сдержал слова.

— Вы ушли? — Мазин вернулся к фактам.

— Он так настаивал! Я хотела быть с ним, но я знала, что он не любил перекладывать свои беды на других. Он одолевал их сам. Всегда. А на этот раз...

«Сейчас заплачет, — решил Мазин, и в самом деле глаза Светланы снова начали наполняться слезами. — Как у йогов: управление функциями!»

Этими прозрачными глазами Светлана смотрела на Инну.

— Поэтому я и послала записку. Я, конечно, неправильно поступила. Я должна была сама все рассказать, но я не знала, как вы отнесетесь, а вы должны были узнать все, должны были, чтобы наказать ее, потому что она погубила человека! Я думала, что это ее записка, потому что она все время изводила Антона. Пусть я неправильно поступила, но вы должны ее наказать, должны!

— За что?

— Как «за что»?

— Чтобы привлечь Инну Кротову к ответственности, необходимо, во-первых, доказать, что Антон Тихомиров покончил с собой, а во-вторых, и это тоже немаловажно, требуется доказать, что упреки Кротовой были безосновательными, а работа Тихомирова носила вполне оригинальный характер. Только тогда можно квалифицировать действия Кротовой по статье сто седьмой.

— Что это за статья? — спросил Рождественский.

— Приблизительно звучит так: доведение лица, находящегося в зависимости, до самоубийства путем систематического унижения его личного достоинства... Лишение свободы до пяти лет.

— Так и есть! Унижение. Этого он и не мог стерпеть! — крикнула Светлана.

Инна уже не курила.

— Какой-то абсолютно нереальный кошмар, — сказала она наконец.

— Однако все это требуется доказать. Вот если бы у нас была тетрадка и мы могли бы сравнить ее с текстом диссертации... Но тетради-то нет. — Мазин посмотрел на Светлану. Та сжимала замок сумочки.

— Видимо, ее сжег Тихомиров. Вы видели его последней, Светлана. Не проясните ли еще этот вопрос?

Ответить она не успела.

— Неужели вы всерьез полагаете, что Инну могут судить? — перебил Рождественский.

Мазину стало трудно.

— Если Светлана выступит свидетелем. Она, повторяю, видела Тихомирова последней.

— Неправда. Последним его видел я.

Это было неожиданно. Теперь уже Рождественский, а не Светлана, оказался в центре внимания.

— Вы шли неправильным путем, когда связали меня в своих умозаключениях с моей машиной. Я приезжал на такси, — сказал он Мазину с нервной решительностью.

Тот кивнул по возможности вежливо.

— На машине поехала Инна. Я остался ее ждать. Я нервничал, даже жалел, что рассказал ей обо всем. Пошел в ресторан, взял бутылку коньяку и вернулся не на дачу, естественно, а на квартиру Инны. Ее еще не было, а времени прошло много. Что оставалось делать? Я мог предположить все, что угодно. И я не выдержал, поехал сюда сам. Я не хотел говорить об этом и мог бы смолчать и сейчас, но я не ожидал, что наш разговор так повернется. Конечно же, Инна абсолютно ни в чем не виновата. Виноват этот негодяй. И если ей угрожает суд, я должен сказать правду. Я видел этого подонка последним, и он не помышлял о самоубийстве. Если б не вмешалась судьба, он пережил бы нас всех. Я готов подтвердить это в любом суде. И доказать, что он украл труд профессора Кротова, потому что я видел и тетрадку, и автореферат.

Мазин ожидал протеста Светланы, но та сидела, как в рот воды набрав. «Чем же он так ее удивил?»

— Возможно, вы видели тетрадь, но куда она девалась?

— Он уничтожил ее.

— Тихомиров?

— Да.

— Вы в этом уверены?

— Абсолютно. Он сжег ее перед моим приходом. Вот зачем ему потребовалось оставаться одному, и вот что он собирался обдумывать!

— Расскажите подробно, — повторил Мазин слова, которые повторял неоднократно. Правда, на этот раз без напора.

— У меня, как вы понимаете, тоже был ключ от квартиры. Это, между прочим, моя квартира, и я никогда не прощу себе, что пустил сюда этого проходимца.

— Не нужно давать воли эмоциям. Мы же договорились.

— Совершенно верно. Но я не открыл дверь ключом. Я позвонил. Я думал, что здесь еще могла быть Инна, и не хотел врываться непрошеным. Он отворил мне не сразу. Тут все слышно из клетки. Я слышал его шаги на кухне, потом он открыл кран и только тогда подошел к двери...

— Кто там?

— Это я.

— Игорь?

— Ты один?

— Как видишь.

Он действительно был один. Я опоздал и разъехался с Инной. Из кухни пахло горелой бумагой, но я не сразу обратил на это внимание. Мне было не до сантиментов. Я пришел говорить с ним и не собирался играть в бирюльки.

— У тебя была Инна?

Он собирался соврать, но понял по моему тону, что этого делать не стоит.

— Откуда ты знаешь?

— Она поехала к тебе после разговора со мной.

Антон спросил нагло:

— О чем же вы беседовали, если не секрет?

— Она сказала тебе.

— А... все эти сплетни.

— Сплетни?

— Ну, конечно, сплетни.

— Я говорю о записках Кротова.

— Выдумки.

— Что?

— Выдумки обиженной, оскорбленной женщины.

— Ну, знаешь, я не подозревал, что ты такой наглец.

— Прошу разговаривать со мной прилично.

— Ты вор.

Категоричность моего тона припугнула его.

— От другого я не потерпел бы таких слов, но ты, Игорь, слишком долго был моим другом.

— Это кончилось.

— Жаль, когда мужчины расходятся из-за женщины.

— Дело не в женщине, а в том, что ты сделал.

— Брось! Не стоит придавать значения тому, что Инна наговорила тебе сгоряча.

— Она мне ничего не наговаривала. Она не такой человек. Я узнал все сам.

— Что именно?

— Утром я искал сигареты в нижнем ящике стола и видел, что в нем лежит.

По-моему, Антон растерялся. Он замолчал, но наглость взяла верх.

— Что же там лежит?

— Тетрадка Кротова.

— Интересно! Ты не страдаешь галлюцинациями?

— Нет!

Я шагнул к столу и выдвинул ящик. В нем ничего не было. Антон наблюдал за мной со злобной ухмылкой.

— Это ничего не значит. Я видел тетрадку.

Он поманил меня пальцем.

— Сходи на кухню.

Я выскочил из комнаты. В раковине застряли остатки мокрого пепла. Она еще горела, когда я постучал.

— Узнаешь?

Я молчал.

— Ты же ее видел. Похожа?

Он еще издевался.

— Я не боюсь вас. Никто вам не поверит, потому что у вас нет доказательств. И никто не захочет скандала. Даже твой отец будет против тебя.

Что мне оставалось делать?

— Чтоб завтра же твоей ноги тут не было. Забирай вещи и уезжай в общежитие. Я не хочу больше иметь ничего общего с такой сволочью!

— Это все? — поинтересовался Мазин.

— Да, я немедленно ушел, но твердо уверен, что Тихомиров и не помышлял о самоубийстве. То, что он сжег тетрадь, говорит само за себя. Он не собирался сдаваться. Он был спокоен. И думаю, что он был прав. Вряд ли Инна захотела бы тратить нервы на разоблачение этой скотины.

— Так, — протянул Мазин без энтузиазма. — Все это интересно, хотя и не имеет никакого отношения к делу.

— Как не имеет?

— Очень просто. Вам не удалось опровергнуть версию о самоубийстве. Наоборот, ваш визит мог подтолкнуть Тихомирова к этому шагу. До сих пор он видел только одного опасного свидетеля — Инну Константиновну, теперь же вас стало двое... Это осложнило его положение. Если же смерть Тихомирова все-таки не самоубийство, то по-прежнему непонятно, как он мог погибнуть. Зачем он оказался на окне?

— Этого я, разумеется, не знаю определенно, но могу высказать предположение. На окне, если помните, висела китайская бамбуковая штора. Это не моя штора. Антон принес ее из общежития и сам прибил с внешней стороны окна. Окно, как видите, выходит на запад, и во второй половине дня в комнате бывает очень жарко. Это мешало ему работать. Возможно, когда я предложил Тихомирову убираться, он полез на подоконник, чтобы снять штору. Отсюда и все остальное.

— Возможно. Но может быть другое.

— А именно?

— Ваш рассказ усложнил предполагаемую картину. Число версий растет, и не исключена такая: визит ваш оказался не столь мирным, как вы его описали. Объяснение могло закончиться бурно.

— Что вы имеете в виду?

— Насильственную смерть.

— И я...

— Невозможно! — не дала ему договорить Инна.

Светлана прижала к щекам кулаки.

— Вы так думаете? — спросил Мазин с иронией. — Конечно, вам лучше знать, на что способен Игорь Анатольевич. У меня тоже полной уверенности нет. Но кое-что можно проверить.

И вдруг неожиданно он повернулся к Светлане и сказал слова, всех удивившие:

— Светлана, почему вы как ребенок размазываете слезы пальцами? Разве у вас нет носового платка?

И, не дожидаясь ответа, Мазин встал и взял с колен Светланы ее сумку.

— Наверно, он здесь?

Он потянулся, чтобы открыть сумку.

— Не нужно, не нужно, я сама!

Теперь вскочила Светлана, вскочила гораздо быстрее, чем можно было ожидать. Она схватила сумку, но Мазин не выпустил ее из рук.

— Почему вы не разрешаете мне поухаживать за вами?

Он щелкнул замком, но не открыл сумку, а продолжал смотреть на Светлану.

— Можно мне открыть вашу сумку?

— Там нет... нет платка.

Игорь и Инна ничего не понимали в этой шутовской, какой-то нелепой сцене.

— А может быть, есть? Может быть, вы просто забыли, а? Давайте-ка поищем вместе.

И он приоткрыл сумку.

— Вы не имеете права! — закричала она и рванула сумку с силой на себя. На этот раз Мазин ее не удерживал. Светлана покачнулась и упала на стул, выпустив сумку из рук. Мазин наклонился и поднял ее.

— Все-таки придется поухаживать, — сказал он и достал из сумки старенькую тетрадку.

— Вот видите, — обратился он к Рождественскому, не глядя на побелевшую Светлану, — а вы говорили, что записки сожжены. Ведь это та тетрадь?

Инна смотрела на Мазина как на фокусника, и ему стало неудобно.

«Зачем я разыграл этот дурацкий номер? Но с другой стороны, как было заставить ее отдать тетрадку? Ладно, сыщик должен поступать эффектно и таинственно».

— Итак, Игорь Анатольевич, вашему рассказу полностью доверять не приходится. И вашему тоже, к сожалению, — обернулся он к Светлане. — Вы, конечно, захватили тетрадь, чтобы возвратить ее Инне Константиновне? — спросил он насмешливо. — Почему же вы так медлили? И даже предпочли пользоваться пальцами вместо платка? Чтобы не открывать сумочку? Потому что она маленькая и тетрадь могли легко заметить?

Светлана молчала.

— Не придумывайте только еще одну версию, а то я сам скоро запутаюсь. Лучше прибегнем к помощи техники. Это будет надежней. Людям свойственно все усложнять. У вас есть магнитофон, Игорь Анатольевич?

— Вы хотите записать наши показания на пленку?

— Нет, наоборот, я хочу предложить вам послушать кое-что.

— Магнитофон есть. Сейчас я налажу его.

— Пожалуйста!

Мазин достал из кармана небольшую бобинку с пленкой.

— Вот это прокрутите, если вам нетрудно.

Рождественский поставил пленку.

— Одну минутку, — попросил Мазин. — Я включу сам. Сначала вы услышите несколько поясняющих слов.

Стало тихо до стука часов на книжном шкафу.

Потом из магнитофона раздался голос Мазина.

— Готовы ли вы рассказать все, что знаете?

— Да, готов.

— Назовите, пожалуйста, себя.

Мазин надавил кнопку.

— Светлана, вам знаком этот голос?

— Да. Это Олег.

— Совершенно верно.

Он снова включил магнитофон.

— Чистяков Олег Васильевич.

— Чем вы занимаетесь?

— Служу в армии.

— Хорошо, теперь рассказывайте.

— Извините, я волнуюсь. Может, не все гладко получится. Но уж как будет. Мне неудобно это рассказывать. Понимаете, мы со Светланой дружили еще в школе. И вообще считалось, что навсегда. Потом я поступил в училище, она сюда приехала, но думали, что временно и, как только будет возможность, мы зарегистрируемся. Мы встречались, когда можно было. Я приезжал, и она ко мне. Писали часто. Короче, я не сомневался.

В прошлом году я окончил училище, получил назначение. Но вы сами понимаете, военная служба с личными планами не всегда считается. Послали туда, где нужнее. Там нет университета, понятно. А она учится. Мы решили еще подождать. Нельзя же было срывать ее с учебы. Я, конечно, верил ей, потому что мы много раз говорили... Правда, последнее время она стала реже писать. Я — два письма, она одно только. Писала, что все в порядке. Но я волновался, переживал. А тут у меня случилась командировка рядом, и я договорился с командованием, чтобы на день сюда заехать.

— Вы предупредили об этом Светлану?

— Нет, так получилось...

— Ясно, продолжайте.

— Я приехал в город поздно. Вечером. Прямо с вокзала побежал к тетке...

Мазин не слушал его слов. Он видел эти слова.

— Тетя Катя, это я!

— Кто ты?

— Олег. Света дома?

Тетка открывает не сразу, копается за дверью, но пускает его в конце концов, и вот он сидит уже за столом, а рядом лежит его фуражка с золотым плетеным шнуром, и он слушает, как тетка говорит деловито:

— Ты к ней, Олег, больше не приезжай. То, что было у вас, дело детское. Прошло, и нету. Светлана сейчас замуж собирается.

У него в горле пересохло. Спросил запинаясь:

— Кто ж он?

— Человек солидный, научный работник — Тихомиров. Говорю тебе все подробно, чтоб зря голову не морочить. Сам пойми, если была у тебя любовь, так не мешай ее счастью. С тобой у нее какая жизнь будет? Сегодня тут, завтра перебросили. Зачем и учиться было? Если ты такой отчаянный, что на земле тебе места мало и на аэропланах летаешь реактивных, то дело твое, конечно. А когда разобьешься? Что ей останется? Пенсия твоя? Я прямо говорю, потому что я человек прямой...

Олег берет фуражку, надевает, но уже не лихо, чуть набекрень, а прямо, надвинув на лоб, и выходит. Нет, он идет не на вокзал, а в общежитие. Не потому, что не поверил тетке, а потому, что нельзя сразу в такое поверить и он должен ее увидеть, услышать от нее самой, и тогда, может быть, произойдет чудо. Потому что как же без чуда, если такое происходит.

Общежитие... «Вам кого, товарищ командир? Светлану? Сейчас спросим. Нет, нету ее. Тут ей звонили недавно. Аспирант один. Тихомиров. Он сегодня диссертацию защитил. В ресторан, наверно, приглашал. У них так водится. После защиты обязательно банкет...»

Казалось, идти больше некуда, да и незачем. Но он идет вопреки смыслу. Идет в аспирантский корпус и узнает там, что Тихомиров живет на квартире Рождественского.

Мазин слышит слова:

— Конечно, я сам не знал, зачем еду. Не драться, во вся-

ком случае. Но нужно было увидеть Светлану и покончить с этим делом навсегда. Чтоб не писать больше писем и не обманывать.

Я приехал на проспект и нашел дом сразу. Он там выделяется. Вошел в подъезд и вдруг понимаю, что веду себя как последний идиот. Зачем я буду подниматься, что скажу? Нельзя же устраивать скандал. Я же офицер, а не баба какая-то. Вышел я из подъезда и сел во дворе на скамейке. Прикинул, где его окна будут. Смотрю — там горит свет. Сижу, смотрю вверх и не соображаю. Закурил. Думаю, нужно идти на вокзал и уезжать отсюда.

— Скамейка с той стороны дома, куда выходят окна?

— Да.

— А подъезд с другой?

Ответа никто не услышал. Мазин нажал кнопку.

— Чистяков приехал сюда приблизительно в то время, когда вы, Инна Константиновна, ушли. Светлана еще оставалась. Что произошло дальше, Светлана? Только теперь уж не врите. — Мазин не отпускал пальца с кнопки.

Она вытерла глаза платком.

— Откуда вы все узнали? Я сама не знала, что Олег приезжал.

— Возможно. Тетка не решилась рассказать вам о своей «услуге». В конце концов, если б не она, вы могли сейчас вернуться к Олегу.

— Нет уж...

— Это дело ваше. Но я вас слушаю.

— Что мне сказать?

— Говорили вы с Тихомировым после ухода Инны?

— Нет. Из их разговора я не все поняла, но ясно было, что натворил он нехорошее. Я не знала, что мне делать. Стою и дрожу.

— А Тихомиров?

— Антон посмотрел ей вслед, потом достал эту тетрадь, полистал, положил на стол и говорит сам себе: «Ну, конец, теперь с этим покончено». И развел так руками, как будто зарядку делает или улететь хотел. Тогда я и поняла, что он жулик. Потому что, если б он был честный человек, он бы мучился, а не радовался. Мне еще страшнее стало. Как я теперь с ним увижусь? Тут он достал папиросу и на кухню пошел, прикурить, наверно. Я — туфли в руки — и к двери на цыпочках. Хотела убежать незаметно. Только через порог шагнула, слышу, на кухне хлопнуло. Это когда я дверь при-

открыла, сквозняком потянуло и захлопнуло балконную дверь. Антон-то на балкон вышел. Его так и закрыло на английский замок. И хотя дверь стеклянная, на ней занавеска изнутри, меня не видно. Я еще подумала: так тебе и надо, посиди там, проветрись. Даже смешно стало.

— И вы ушли, захватив тетрадку?

— Да! — она внезапно перешла на крик. — Что вы ко мне привязались? Не убивала я его. Сам он свалился. И ничего вы мне такого не пришьете! Вернула я вашу тетрадку.

— Вы правы, — ответил Мазин, не обращая на ее вопль никакого внимания, и нажал кнопку...

— Я сидел и смотрел вверх на окно. Вдруг вижу, на балкон выходит мужчина. Один. Это у меня первое мелькнуло, что один. Даже подумал, может, неправда все про Светлану. А он как-то странно себя повел. Я уже потом понял, что за ним захлопнулась дверь и он остался на балконе. Но ему нужно было выбить стекло ногой. Убыток, конечно, но ведь случается, что поделаешь. А он, чудак, решил перебраться в комнату через соседнее окно. Конечно, изловчиться было можно. Между балконом и окном проходит лестница. Вы ее, наверно, видели. Он потянулся рукой, достал лестницу и перешагнул на нее с балкона. А с лестницы до открытого окна не дотянулся. Или дотянулся, но рука соскользнула, не знаю. Было темно...

Мазин щелкнул кнопкой, хотя на катушке еще оставалась пленка.

Все молчали.

Потом Светлана сказала с торжеством:

— Вот вам и вся правда. Непонятно, чего вы добивались. Видите, я ни в чем не виновата.

Мазин потянулся было снова к магнитофону, но не включил его.

— Вы ни в чем не виноваты. Правда, вы могли открыть дверь на балкон. Но за это не судят.

— Еще бы! Так всех людей в тюрьму посадить можно. Он мог разбить стекло. Олег правильно сказал. Я ж не думала, что он такой псих окажется.

— Все верно, Светлана. Только зачем вы так много врали?

— А вы меня не воспитывайте! Любите нотации читать. Все врут. Он разве не врал? — Она ткнула пальцем в Игоря. — А она? Тоже всю правду говорила? Дудки! А Антон? Жулик оказался, а не ученый. И Олег хорош, выслеживал меня, как шпик. Да и вы-то без хитростей ни на шаг. Так что не учите. Понятно?

— Конечно, — согласился Мазин. — Я предпочитаю занятия полегче. Вы свободны, девушка.

— То-то!

Она вышла, глянув на всех презрительно, но на нее никто не смотрел.

Мазин разглядывал магнитофон. Там еще оставался кусок пленки. Он подумал и включил обратную перемотку.

— Извините меня, — сказал он Инне. — Как видите, никаких тайн не обнаружилось. Но теперь нам известно, пожалуй, все. Вам было тяжело, но вы узнали, что не виноваты. Большего я не мог для вас сделать.

Рождественский поднялся.

— Я хотел сказать, что соврал только потому, что боялся за Инну. Я не мог допустить, чтобы она попала под суд.

— Это делает вам честь, — ответил Мазин сухо. — Простите, но мне пора.

— Пойдемте вместе, — предложила Инна. — Игорь, дай мне пальто, пожалуйста.

На улице она спросила:

— Значит, все-таки трагическая случайность?

Мазин шел, вспоминая слова Олега, что остались на пленке:

— Я бросился к этому человеку, но было сразу видно, что ему уже не помочь. Тогда я побежал к дому. Из подъезда навстречу мне выскочила Светлана. Она пробежала мимо, от страха не узнав меня. Я все-таки поднялся наверх. Больше в квартире никого не было. Конечно, я должен был сообщить куда следует, но, поверьте, он сразу разбился насмерть, и его никто не убивал, а выступать в роли свидетеля мне было сами понимаете как.

Трагическая случайность...

Антон Тихомиров вышел на балкон. У него было только одно чувство — свободы. Страх, который тяготил его, кончился. Диссертация признана, Инна будет молчать. О Рождественском он ничего не знал. Все. Рубикон позади. Теперь все можно. И тут дверь захлопнулась. Идиотская случайность! Нужно выбивать стекло. Жаль и можно поранить ногу. А что, если?.. Лестница рядом. Но страх... Знакомый с детства, отвратительный страх высоты. Правда, сейчас ночь и не так страшно. Ну, что ты боишься? Хватит! Сегодня покончено со всеми барьерами. Заодно и с этим. Больше не будет комплексов и неудач. Сегодня можно все! Лестница рядом. Он взялся за нее рукой, поставил ногу. Внизу пустота. И не страшно, совсем не страшно. Еще шаг. Он берется за край оконной рамы. Ну! Что

это? Кто там в окне? Кто в комнате? Светлана? Но ее ж не было? Неужели это мерещится? Проклятая высота!..

— Да, несчастный случай, — ответил Мазин Инне. — Не стоило испытывать судьбу.

Вдали замерцал зеленый огонек. Он поднял руку, и машина остановилась. Сели они сзади. Было темно. По лицу Инны проплывали блики встречных реклам: синие, красные, оранжевые.

— Возьмите, — сказал Мазин.

— Что это?

— Последний свидетель. Его записная книжка. Там есть немного о вас.

— Она помогла вам?

— Помогла.

Инна спрятала книжку в сумку.

— Спасибо.

И обратилась к шоферу:

— Мой дом второй от угла.

Мазин расплатился. Она подумала, что он хочет зайти к ней, но Мазин, будто угадав эту мысль, пояснил:

— Хочу пройтись пешком. Мне недалеко.

— Зачем она взяла тетрадку?

— Это в ее характере.

Больше он ничего не сказал. Зачем ей подробности? Он представил Светлану, охваченную одним чувством — страхом, страхом перед тем, что в комнате останутся ее следы. Она уже не думала о Тихомирове, она озиралась, как зверек, попавший в ловушку. Все ли взяла? Ничего не забыла? Сумку? Перчатки? На столе тетрадь. С ней связано что-то разоблачающее. И она сует ее в сумку.

— В характере. Потому и принесла с собой сегодня. Не знала, как повернется разговор, что мне известно. Боялась...

Инна протянула ему руку.

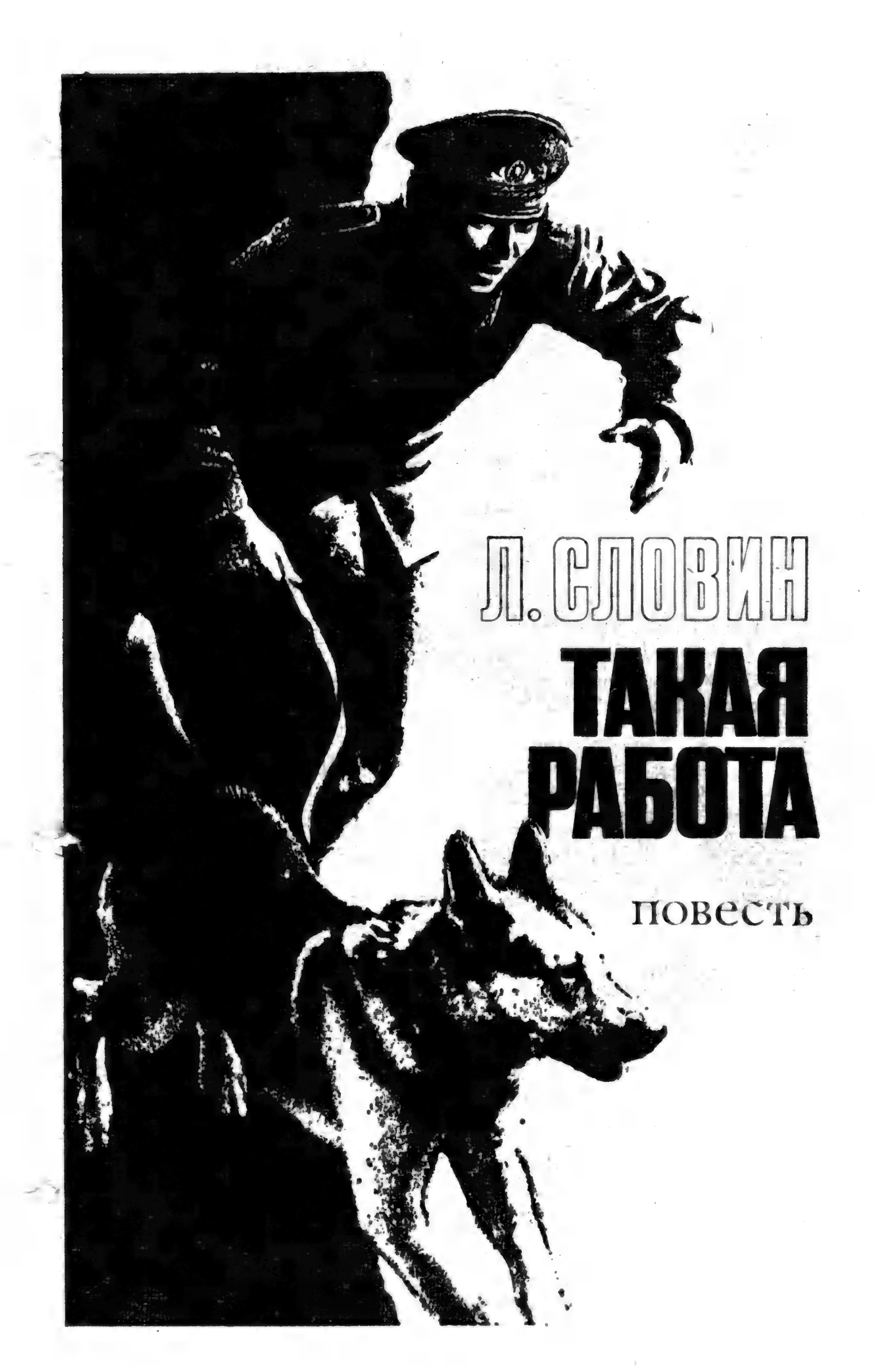
— До свиданья.

— Счастливо вам!

Мазин подумал, что, наверно, не увидит ее больше, как и многих, с кем сводила его жизнь и работа. Разве что случайно.

Вот и отпуск кончился. А на море еще тепло. Он поднял воротник плаща. Комиссар не ошибся — дело было закрыто правильно.




Л. СЛОВИН
ТАКАЯ
РАБОТА
повесть

ДЕЖУРСТВО В ПЯТНИЦУ

Глава I

1

Приняв дежурство, он удобно расположился за столом, убрал лишние бумаги и выключил репродуктор.

...Тот, кто заступает дежурить по городу в пятницу, в субботу и воскресенье отдыхает. Если ничего не случится. Все остальные работники розыска отдыхают после дежурства всего один день.

И уже не раз старший лейтенант милиции Андрей Мартынов проводит субботы и воскресенья дома. По субботам он ходит с Ольгой в кино или на концерты, а по воскресеньям учит своего Игорешку играть в футбол.

Они берут мяч, флягу со сладкой водой, «Огонек», бутерброды и с самого утра отправляются в Заречный парк, на дальнюю боковую аллею. Если Игорешке удается не упасть при разбеге, мяч от его удара летит довольно далеко.

Поупражнявшись в футболе, они подкрепляются бутербродами. Игорешка начинает листать «Огонек», а Андрей дремлет на скамейке, пока не придет Ольга.

— Папа! — обычно не выдерживает Игорешка. — Ну, расскажи мне историю! Лучше расскажи сказку! Расскажи мне «Аленький цветочек»!

— Я забыл «Аленький цветочек». Почитай журнал...

— Хорошо, — сразу соглашается Игорешка, — я буду читать журнал, а ты рассказывай мне, как мы поедем в отпуск.

— Рано утром, — не открывая глаз, нудно начинает Андрей, — мы выйдем из поезда на маленьком полустанке. Поезд сразу уйдет, а мы останемся одни у подножия гор. Седые вершины, изрытые ущельями, будут висеть над нашими головами. — Постепенно Андрей сам увлекается своим повествованием, и голос его приобретает обычную силу. — В ущельях еще будет туман, а верхушки гор будут чуть подрумянены восходящим солнцем. Рядом с нами будут стоять стройные кипарисы, а у наших ног будет море. Утром оно тихое, голубое и прозрачное, прибоя совсем нет, только брызги, как маленькие хрусталики или ледышки...

— Да?! — веря и сомневаясь, кричит Игорешка. — И дядя Игорь Ратанов с нами поедет?

— И дядя Игорь.

— И дядя Алик Тамулис?

— И Тамулис. Весь уголовный розыск. Все закроем и поедем.

— Правда?! — кричит Игорешка, и в голосе его звучит радостное удивление.

Андрей открывает глаза и смотрит на худенького восторженного человечка, присевшего на корточки у его ног.

Июнь стоит сухой и жаркий, но зной не пробивается на скамью сквозь успевшие уже отрасти ветви деревьев. Плотной стеной высится кустарник. Близко и горячо пахнет полевыми цветами.

— Еще пара воскресных тренировок, — серьезно обещает Андрей, — и буду рекомендовать тебя в областную команду «Динамо».

...Да, тот, кто дежурит в пятницу, гуляет два дня. И это, черт возьми, в июне совсем неплохо!

Высокий плечистый человек подымается над столом, приглаживает руками длинные русые волосы, улыбается своим мыслям.

Стоило ему подняться, как сразу же, словно разбуженные, начинают звонить телефоны, пищит рация. Мартынов садится на место, отвечает, спрашивает, записывает, распоряжается дежурным нарядом. Спокойно, весело, быстро.

С тех пор как пять лет назад выпускники юридического факультета МГУ Мартынов и Ратанов переступили порог горотдела милиции, никто не видел, чтобы Мартынов нервничал, терял хладнокровие, злился.

— Товарищ дежурный! Не зарегистрировано сегодня по городу несчастных случаев? Отец ушел в магазин и пропал... Пожилой он, сердце больное... Ничего нет?

— Товарищ дежурный! Примите телефонограмму. Прошу принять срочные меры розыска преступника, совершившего ограбление в ночь на двадцать шестое июня сего года в районе лесного массива станции. Приметы преступника: на вид тридцати пяти — тридцати шести лет... роста ниже среднего...

— Ушел из дому мальчик. К кому здесь обратиться? Хотел с другом поступать в мореходное... Вот его фото.

— Розыск преступников по сводке-ориентировке 172/12 прекратить в связи с задержанием разыскиваемых. Повторяю: розыск...

Улучив свободную минуту, Мартынов звонит по телефону в соседний кабинет:

— Товарищ Тамулис, зайдите к дежурному!

Молодой выпускник Каунасской школы милиции Альгис Тамулис за весь год дежурил по пятницам не более двух-трех раз — «еще не заслужил». Кроме того, его жена была в отъезде, а таких мужей в горотделе «прижимали».

Положив трубку, Тамулис вздохнул: если бы он срочно понадобился дежурному, тот просто стукнул бы ладонью в стену или крикнул в коридор: «Алик, зайди!»

И все же не идти на вызов дежурного нельзя.

— Товарищ лейтенант, получите почту.

Перед Мартыновым лежала справка из гороно, надобность в которой отпала еще в прошлом месяце.

— Отрываешь от дела, Андрей! Секретарю не мог отдать...

— Пререкания, товарищ лейтенант, — сказал Мартынов, — не знаете правил прохождения службы!

Он с секунду выжидательно-укоризненно смотрел на Тамулиса, затем преувеличенно устало и безнадежно махнул рукой:

— Позор, товарищ Тамулис. Скажите вашему начальнику — капитану Ратанову, чтобы он послал вас мыть полы в ОБХСС. Я позвоню туда. Идите.

Тамулис хотел сказать что-нибудь ехидное, но, встретившись глазами с Мартыновым и поняв, что тот будет играть роль ревностного служаки до конца, без всякой угрозы пробормотал:

— Ничего, старик, в понедельник ты у меня тоже побегаешь!

Когда дверь за Тамулисом захлопнулась, Мартынов с минуту раздумывал, потом снял трубку и вызвал буфетчицу:

— Говорит дежурный по отделу. Прошу оставить что-ни-

будь от обеда нашему комиссару милиции Тамулису, если они опять запоздают к обеду...

— Так ведь ваш комиссар каждый день опаздывает.

Тамулис действительно приходит в буфет последним, когда там ничего уже нет, кроме конфитюра и дорогих шоколадных конфет, садится у окна и ест всегда медленно, без аппетита — его мысли вечно витают где-то далеко. И, глядя на его безучастные близорукие глаза, голубеющие под белесыми бровями, буфетчица всегда недовольно морщится и стучит пустыми кастрюлями.

— Пойми, Тонечка, — сказал Мартынов, — я не могу допустить, чтобы в мое дежурство оперативники ходили голодными.

— Ладно. Я оставлю ему шницель.

— Хорошо. А мне, как всегда, спаржу и филе из мяса молодого бизона...

Но уже через час Мартынову опять стало не до шуток: дважды пришлось самому выезжать с опергруппой на вызовы; отделения просили машины, и Андрей разыскивал их по рации на всех дорогах. Из служебного собаководства сообщили, что заболел Карат, и его проводник слезно молил привезти к Карату кого-нибудь из специалистов ветеринарного института, «желательно с ученым званием».

Андрей уже трижды вызывал к себе Тамулиса и другого оперативника, Германа Баркова, — не по телефону, а просто стуком кулака в стену, — и посылал их то на пристань, то к фабрике «X Октябрь», то в Центральный универмаг.

Все чаще и настойчивее звонили телефоны:

— Третий пост просил машину...

— Вышлите наряд по адресу...

— Дружинниками задержаны...

— Докладывает сержант Кириллов...

— Примите меры... рост... телосложение... Ответ телеграфируйте. Кто принял?

Уже стемнело, когда Тамулис устало и тяжело с папкой в руках вышел на крыльцо. Мартынов собирался куда-то ехать и стоял во дворе у дежурной машины. Настроение у него, как всегда, было приподнятое: большая половина дежурства была уже позади.

— Славно поработали — хорошо отдохнем! — крикнул он Альгису. — А вам не кажется, товарищ Тамулис, что некоторые выпускники каунасской школы йогов имеют к концу работы несколько измученный вид?

— Острить изволите-с? — полюбопытствовал Тамулис.

Дежурное помещение — сердце милиции.

Это сердце стучит быстро и медленно, ритмично или неритмично, тоны его то чисты, то пугают шумом, иногда кажется, что оно не выдержит нагрузки и вот-вот выскочит из груди, — но оно никогда не останавливается, это сердце, и бьется в любое время дня и ночи.

Телефоны в дежурной комнате милиции, как чуткие сейсмические приборы, регистрируют малейшие, не ощущаемые непосвященными «подземные толчки» городской жизни. Они почти беспрерывно звонят примерно до часа ночи, потом умолкают и пробуждаются лишь для того, чтобы сообщить о неожиданном и важном.

Дежурный всю ночь что-то пишет, его помощник сидит у коммутатора оперативной связи и пьет чай на постеленной у аппарата газете. В машинах дремлют шоферы. Из питомника служебного собаководства иногда раздается звонкий лай и металлический лязг.

В дежурке открывают окна, и в комнату врывается свежий ночной ветер.

Шумят во дворе освещенные прожекторами тополя.

Дежурный на миг перестает писать и поднимает голову.

Тревожный ночной ветер. Он чем-то близок дежурным. Он тоже не спит по ночам. Он тоже хозяин уснувшего города.

2

Мартынов умер перед рассветом, не приходя в сознание. Ни операция, ни переливание крови результатов не дали. Права оказалась высокая пожилая санитарка «скорой помощи», которая еще ночью, взглянув на заострившееся, пожелтевшее лицо Андрея, когда его вносили в машину, сказала громко и безапелляционно: «Этот до утра не дотянет».

И Андрей не дотянул. Но еще пока он тянул, пока его большие, сильные руки судорожно мяли серое шершавое одеяло, пока вокруг него суетились врачи, и еще до того, как его койку выкатили в коридор, у белого приземистого здания приемного покоя собрались оперативники.

Ночь была темная, и каждый, кто подходил к больнице, как будто выныривал из плотного, густого мрака, в котором тонули больничные корпуса и высокие, потрескивающие в темноте деревья старого парка.

В низкой, ярко освещенной комнате на белой больничной скамье бледная, с остановившимися, побелевшими от ужаса глазами сидела Ольга Мартынова. Она не плакала. Она смот-

рела не отрываясь в одну точку, как будто на расстоянии, через стену внушала что-то тем, кто был в это время в операционной. Вокруг нее появлялись знакомые и незнакомые ей люди и неловко склоняли головы перед ее горем. Побыв несколько минут в приемном покое, они выходили на улицу, садились в машину.

В коробе «газика» было темно, время от времени то в одном, то в другом углу вспыхивали светлячки папирос. Только Тамулис стоял снаружи, тихо постукивая рукояткой фонаря по железной стенке кузова. Стук гулко отдавался в темном коробе, и оттуда негромко, но зло крикнули: «Прекрати же стучать!»

Внезапно в темной аллее вспыхнули неяркие огоньки подфарников — приехал начальник областного управления. Коренастый, седой, держа генеральскую фуражку в руке, Дед быстро прошел по тропинке вместе с главным хирургом области. Навстречу ему из больницы вышел начальник уголовного розыска Ратанов, козырнул, отошел в сторону. Увидев его, шофер «газика» включил зажигание.

Машина шла быстро, и людей в кузове потряхивало и бросало друг к другу.

— Внимание! — с усилием сказал Ратанов, когда они выехали на проспект. — Пока известно следующее: в 0.30—0.40 сторож промтоварной палатки, что на углу Смежного, видел двух людей, показавшихся ему подозрительными. Об этом он позвонил в горотдел. Мартынов с милиционером выехал к палатке. Ничего подозрительного они не заметили. В 0.50—0.55 Андрей позвонил помощнику. Тот просил подобрать пьяного у сквера на Даличской. Андрей отправил милиционера с машиной за пьяным, а сам остался ждать у палатки. В это время сторож — его сейчас допрашивают — пошел на другой объект...

Машину резко тряхнуло, шофер виновато чертыхнулся.

— Милиционер подобрал пьяного — оказалось, что он живет недалеко, — и завез его домой. Когда машина вернулась на Смежный, Андрея у палатки не было. Решили, что он уехал на попутной машине, и вернулись в отдел. Это было в 1.40. А в 1.50 из «Скорой помощи» сообщили о вызове на Смежный переулок к дому одиннадцать. От промтоварной палатки это метрах в двухстах... Район недавно застроенный, необжитой.

— Какие раны? — спросил кто-то.

— Одна ножевая, слева по горлу. И еще ссадины. Возможно, получены при падении.

— А кто его обнаружил?

— Муж и жена возвращались домой... Они нас ждут на углу Кировской...

Шофер притормозил на углу, принимая в машину свидетелей. Женщина сразу закашлялась, и Ратанов попросил не курить. Еще несколько минут они ехали быстро, потом машина свернула в Смежный и пошла медленно. Оперативники, согнувшись, припали к окнам.

Промтоварная палатка на углу. Неширокая асфальтированная улица. Застывшие в сонном оцепенении маленькие домики. Еще несколько десятков метров — и корпуса новой застройки. Пятиэтажный корпус, молчаливый, словно пустой, с темными витринами нового, еще не открытого универмага. За корпусом виднелся пустырь, груды строительного мусора.

Пока они ехали, небо начало светлеть.

— Здесь, — сказала женщина. Ее муж тихо кашлянул.

«Газик» остановился.

У стены дома сидели на корточках несколько человек — эксперты, следователь... Поодаль, не приближаясь к машинам, стояла большая группа жителей дома. Ратанов успел заметить бурые, еще свежие пятна на влажном асфальте у самого угла дома, обернулся к свидетелям.

Подошедшая к машине полная молодая женщина, кутаясь в пуховый платок и часто передергивая плечами, как от озноба, торопливо заговорила:

— Вон там он лежал. И стонал. А у нас видите как: на й стороне дома ни подъездов, ни окон. Мы и не знали . Я услышала только, как мужчина с женщиной закри- и мой муж тогда побежал звонить. Это ведь уже вто- ой случай — с девушки здесь хотели часы снять...

— Ничего он вам не сказал?

— Ничего такого не сказал. Нет. Один раз вроде как, извините, выругался... Вроде бы «черт» сказал... Я так понял.

— А я слышала, как «чернь»... И еще говорит: «Сыночек, сыночек»... У меня так сердце и...

Ратанов хотел прикурить, но вдруг замер на секунду, впился глазами в этикетку на спичечном коробке, в странную, далекую от него надпись: «Не применяйте паяльных ламп при отогревании замерзших труб».

Женщина вынула платок, поднесла к глазам. Капитан отвернулся, отошел за угол дома, к своим. Следователь прокуратуры составлял схему места происшествия. Это был Кара-

мышев, молодой, рано полысевший брюнет с черными цыганскими глазами. Он молча мигнул Ратанову и снова нагнулся к планшету. Из-за его плеча Ратанов увидел на бумаге большой прямоугольник — дом одиннадцать — и маленький неумелый рисунок, изображавший распластанного на земле человечка. Стрелки указывали расстояния, вход в корпус, в магазин, на кусты около дома и на бетонированный колодец подвального помещения, закрытый сверху решеткой.

Ратанов отошел от Карамышева к колодцу, взялся за решетку. Она подалась, ржаво и громко заскрипев. Неглубокая прямоугольная яма была пуста. Увидев, что начальник держит решетку, подошедший старший оперуполномоченный Гуреев, небольшого роста, медлительный, но цепкий, опытный, обычно предпочитающий давать советы, нежели делать самому, с красным от полнокровия лицом и короткими черными усиками — он их то отпускал, то снова сбривал, — тяжело спрыгнув вниз, пододвинулся к заколоченному окну подвала, подергал доски.

— Порядок. Ничего не тронуто. Заколочено на совесть. — Голос Гуреева неожиданно изменился. — Дед приехал.

От машин по направлению к корпусу шли начальник управления и областной прокурор. Прокурор что-то быстро на ходу говорил генералу. Ратанов направился к ним.

В машине затрещала рация.

— «Енисей-2», «Енисей-2», я «Ангара», как меня слышите? Прием, — монотонно заговорила трубка.

— «Ангара», я «Енисей-2», я «Енисей-2», слышу вас хорошо. Прием, — ответил Ратанов.

— «Третий»... пятнадцать... тридцать два...

«Третьим» в эти сутки после генерала и дежурного управлению был Мартынов, дежурный по горотделу.

— Тридцать два, — повторил Ратанов, — вас понял.

И все поняли и молча сняли фуражки. Потому что дежурный по управлению сообщил о смерти Андрея.

В половине седьмого у генерала началось оперативное совещание. За столом сидели несколько работников прокуратуры и уголовного розыска. Из горотдела были только начальник милиции полковник Альгин и Ратанов.

Генерал по привычке сидел за столом чуть боком, хмурый, расстроенный, и, не меняя позы, поворачивал седую голову к каждому, кто решался высказаться.

— Первый вопрос: кто непосредственно поведет розыскное дело? Возьмет всю ответственность за раскрытие преступле-

ния на себя и будет вести дело до конца, не отвлекаясь другими делами?

— Альгин? — полувопросительно сказал его заместитель.

Все замолчали.

В каждом коллективе обязательно есть один или несколько человек, на плечи которых ложатся самые трудные и ответственные поручения. Добросовестное отношение к делу, серьезность и опыт этих людей служат гарантией успеха, а в случае неудачи с них всегда можно спросить в полном объеме, без скидок на трудность задания, на «объективные условия». Им легко поручать, потому что они не пытаются увильнуть от заданий, не жалуются и не сетуют.

Таким работником в управлении был начальник горотдела милиции полковник Альгин.

— У Альгина и так весь горотдел на руках, — сказал генерал, — депутатские обязанности... Ему и без того тяжело, тем более сейчас, когда его заместитель Шальнов в отпуске.

Шальнов готовился к экзаменам в Высшую школу милиции.

— Можно было бы отозвать...

Генерал не ответил.

— Какие еще есть предложения?

В комнате снова стало тихо.

Ратанов почувствовал на себе взгляд Альгина и, словно только и ждал этого сигнала, встал.

— Если мне доверят...

Все молча посмотрели на Ратанова.

— У меня сейчас ничего такого серьезного нет, — с рас-...овкой сказал майор Веретенников, старший оперативный ...моченный управления, закрепленный за городским от-...ом милиции, невысокий, в закрытом наглухо синем кителе.

— Итак, — сказал через минуту своим ровным, спокойным голосом генерал, — дело поведет товарищ Ратанов. В помощь ему от управления выделяется товарищ Веретенников. Если Шальнов может без ущерба оторвать несколько дней от подготовки к экзаменам, пусть он на первых порах поможет Ратанову и Веретенникову... Переходим ко второму вопросу — о версиях. Слово старшему следователю прокуратуры области товарищу Карамышеву.

— Первая версия, — поблескивая своими черными глазами, сидя, начал Карамышев, — должна быть связана с сообщением сторожа. Не исключено, что после ухода сторожа Мартынов решил сам осмотреть переулок и обнаружил тех двоих, что подходили к палатке. При преследовании Марты-

нов, возможно, упустил одного из преступников, позволил ему зайти с тыла. Затем последовало внезапное нападение...

— Могли ли неизвестные, убежав от палатки в другую сторону, попасть к одиннадцатому дому на Смежный? — спросил кто-то.

— Могли. — Карамышев обернулся, отыскивая глазами того, кто подал реплику. — Дом номер одиннадцать — крайний в застройке, к нему ведут подходы со всех сторон. Представьте себе: убежав от сторожа, преступники вышли дворами на Смежный и снова подошли к палатке, но уже с другой стороны. Навстречу им от палатки мог идти Мартынов. Неизвестные повернули назад. Мартынов — за ними...

— Мартынов вытащил бы пистолет, — сказал Веретенников. Это он подал первую реплику Карамышеву.

— Мартынов мог и не браться за оружие, — сказал Альгин. — Это исключительно смелый человек, спортсмен, физически хорошо подготовленный. Он не раз задерживал в одиночку очень сильных преступников.

— Вот и дозадерживался, — тихо, чтобы не слышал генерал, буркнул Веретенников, — сына сиротой оставил и всем задал дел.

Генерал услышал его.

— Ваше мнение, товарищ Веретенников?

— Стало известно, что этот случай не первый у дома номер одиннадцать. Несколько дней тому назад, товарищ генерал, на этом же месте пытались ограбить девушку. Кто у нас еще может заниматься ограблениями? Маменькины сынки начитавшиеся разных книг и насмотревшиеся всяких за-ничных фильмов.

— Я дал команду срочно проверить, не завозились ночью товары в универмаг, который там открывается на первом этаже, — сказал Альгин, — в одиннадцать часов нам дадут официальную справку.

— Ничего упускать нельзя, — сказал заместитель начальника управления. Его большая львиная голова возвышалась над всеми. — Распыляться не надо, но все это учесть... Может, нам все-таки Веретенникова сделать ответственным, товарищ генерал?

Генерал несколько секунд молчал.

— Не одному Гомеру есть место среди поэтов. — Он повернулся к Альгину всем туловищем. — Распорядитесь, чтобы Ратанову придали людей и машины, чтобы он ни в чем не испытывал недостатка.

3

Уже с первых часов после убийства Мартынова в городской отдел милиции стали звонить люди, желавшие помочь в розыске преступников. Проверкой этих сигналов занималась вторая оперативная группа. Эта группа должна была опросить всех ночных сторожей, проверить сообщения, поступавшие от работников ОРУД-ГАИ и других служб.

Руководил ею молодой ленинградец Герман Барков, высокий, черноволосый, с неожиданными на мягком смуглом лице насмешливыми голубыми глазами, славившийся необыкновенной преданностью работе. Один из тех, кого в шутку, но с оттенком уважения называют обычно фанатиками.

Со времени совершения преступления самого Баркова никто в отделе, кроме Ратанова, не видал и не знал, где он находился, от него время от времени только доходили телефонные звонки, то обнадеживающие, то полные разочарования.

— Я не верю в счастливую случайность, — внушал ему по телефону Ратанов, — и ты тоже не верь. Нас выручит только кропотливый, методичный труд...

Но примерно в одиннадцать дня Барков снова позвонил и предупредил, что сейчас приедет с очень важным для дела свидетелем.

Вскоре он действительно появился в отделе с высоким молодым человеком в гражданском костюме и пыльных, давно не видевших щетки сапогах. Обычно насмешливый и бесцере-[illegible]ный, Барков на этот раз шел позади своего молодого [illegible]а, заботливо, хотя и несколько угрюмо, открывая пе-[illegible] двери и пропуская впереди себя.

[illegible]осле того как они прошли в кабинет Ратанова, никто из [illegible]ставшихся в здании работников розыска не мог спокойно заниматься своими делами. То один, то другой из них, прислушиваясь, выходил в коридор, а проходя в дежурную часть, замедлял шаги перед кабинетом Ратанова. Каждую минуту можно было ждать начала активных наступательных действий.

Прибывший с Барковым оказался конюхом ипподрома. Ночью, возвращаясь на работу «с обеда», он видел двоих ребят, направлявшихся, как и он, в конец проспекта. Сначала он не обратил на них внимания и даже хотел обогнать, но потом очень заинтересовался, услышав, что они говорят о каких-то весьма непрочных замках, снять которые не представляет никакой трудности. Не зная, имеет ли отношение их

разговор к замкам на ипподроме, он прислушался, однако речь шла о какой-то палатке. Вскоре ребята зашли в средний подъезд дома № 126 по проспекту, а он пошел дальше: и конюхов, тоже, бывает, проверяет в ночное время начальство...

— Два высоких парня, — присовокупил он напоследок, — верзилы повыше меня...

— В какое время это было? — спросил Ратанов.

— Думаю, что было половина второго.

— Никого другого вы в это время не видели?

Работник ипподрома взял из массивного металлического портсигара папиросу и несколько секунд неторопливо ее приминал.

— По-моему, еще шли люди... Да, еще женщина встрет лась. Вернее, она стояла у другого подъезда этого же дома. Молодая, в длинном темном халате...

Через несколько минут Барков выехал в ЖЭК, а оперуполномоченная Нина Рогова, неразговорчивая, замкнутая, совсем не похожая на ту смешливую круглолицую девушку, которую называли в отделении Луной, — к дому на проспекте.

— Есть там двое таких, — сказала Баркову энергичная полная женщина с несколько обрюзгшим мясистым лицом, техник-смотритель, — работают они оба на фабрике. Чем еще занимаются, не знаю, но по ночам шляются. Это точно. Гавриков из триста девяносто шестой квартиры и Сергунов. Высокие оба, выше вас на голову. Оба неженатые. Готовятся осенью идти в армию.

Барков позвонил из ЖЭКа Ратанову, потом вместе с ником-смотрителем прошел в квартиры, интересуясь татами прошедшего осенью ремонта дома, и получи самую точную информацию о недостатках в работе ремон строительного треста и образе жизни Гаврикова и Сергунова.

Сергунов был на несколько месяцев старше Гаврикова, убегал в шестом классе из дому; родителей его часто вызывали в школу. Гавриков дружил с девушкой из шестого подъезда. Увлекался радиоприемниками. В этом году оба закончили девятый класс в школе рабочей молодежи, каждый день ходили на танцы в парк. Возвращались поздно.

— Чушь какая-то, — сказал Барков на улице, ни к кому не обращаясь.

Гаврикова допрашивал Карамышев, а Сергунова взял к себе в кабинет Ратанов. И сразу же каждый из них сказал, что накануне не видел другого.

Ратанов знал эту мальчишескую манеру — не впутывать во всякого рода неприятности своих лучших друзей, чего бы это ни стоило.

Сергунов оказался парнем с фантазией — он поведал Ратанову длинную, довольно правдоподобную историю о том, как накануне вечером в парке познакомился с девушкой, которую звали Стелла. Они как-то быстро нашли общий язык, и Стелла рассказала ему, что была замужем и у нее есть маленькая дочка. Муж Стеллы бросил ее с ребенком в этом городе, где у нее нет ни родных, ни знакомых. Он, Сергунов, долго гулял со Стеллой по набережной и говорил о том, что не надо отчаиваться, что вокруг много хороших людей и они ей помогут. Потом он проводил ее до Дачного поселка, но она не показала ему свой дом, а только сказала, что в следующую субботу они снова встретятся на набережной. Ратанов может увидеть ее, если она придет. Приметы такие: блондинка с голубыми глазами, на левой щеке родинка, губы накрашены...

— Вот и все, — сказал Сергунов удовлетворенно, как человек, выполнивший свой гражданский долг перед органами по охране общественного порядка.

Ратанов продолжал молча о чем-то думать, казалось, он уже не слышал окончания этой трогательной истории со Стеллой.

— Ты объясни мне вот что. — Глаза его стали строгими. — Зачем вы подходили к промтоварной палатке в Смежном переулке?

Сергунов покраснел, помялся, попросил закурить.

[illegible] ни устал Ратанов, как ни тяжело было у него на [illegible] он не мог не улыбнуться, видя, что Сергунов курить [illegible] меет, а просто читал или слыхал, что на допросах перед откровенным рассказом принято курить.

— Рассказывать, собственно, нечего, — сказал Сергунов, глотнув дыма и закашлявшись. Слезы выступили у него на глазах. — Я сказал Гаврикову, — он положил папиросу в пепельницу: ритуал был соблюден в точности, — что такую палатку очень легко поставить на колеса и на ночь увозить на склад. Мы остановились у палатки, смотрим, как установлена... А тут сторож...

На столе зазвонил один из телефонов.

— Докладывает Рогова. Женщина в халате, стоявшая на крыльце, установлена — Московцева Екатерина Михайловна. Она ждала «скорую помощь» к своему ребенку. Московцева видела возвращавшихся Сергунова и Гаврикова, когда шла

звонить по телефону. В «Скорой помощи» сообщили: вызов от Московцевой поступил в 0.55. Мартынов в это время был еще жив и говорил по телефону с помощником. Номер вызова «скорой помощи» — сорок седьмой.

Когда Тамулис, усталый, с мокрыми ногами, входил в отдел, он чувствовал себя совершенно опустошенным. Даже есть не хотелось. Он пришел последним. Остальные ждали его у Ратанова. Тамулиса молча пропустили на диван. Он тяжело сел и с радостью вытянул ноги.

Отчитывался Гуреев:

— Руководство нового универмага еще не утверждено. Завозить товары начнут в ближайшие дни — я разговаривал в горторготделе...

— Тамулис, — спросил Ратанов, — у тебя что-нибудь есть?

Тамулис отрицательно качнул головой.

Подведение итогов дня много времени не заняло.

— Прошло девятнадцать часов с момента убийства, — сказал Ратанов. — Пока мы ничем особенным не располагаем. Нужно полностью закончить «подчистку» участка, чтобы потом не думать, что мы упустили время, когда могли установить свидетелей.

Все промолчали.

— Мы не можем воскресить Мартынова, но найти его убийцу мы можем и должны. Как можно скорее... Через три дня похороны. Хотелось бы — думаю, не я один хочу этого — найти убийцу до того, как Андрея... похоронят. — В наступивше тишине было слышно, как он тихо постукивает каранд по столу. — А сейчас все свободны, кроме тех, кому днем трехчасовой перерыв. Сбор завтра в семь.

В эту ночь сам Ратанов ушел поздно. Он шел по тихим, безлюдным улицам. Ночное небо, не обожженное по краям огнями окон, казалось от этого ниже и спокойнее. Оно вставало из дремучих лесов и болот, окружавших город, и таило в себе ароматы лесных просек и прелых листьев.

Начальником отделения уголовного розыска Ратанов стал рано, на третий год работы в милиции. Моложе его в отделении были только Барков и Тамулис. Остальные были старше по возрасту, а некоторые старшие уполномоченные — и по званию.

Был еще в отделении и ровесник и друг — Андрей. Андрей Мартынов, без которого Ратанов, возможно, остался бы

навсегда анемичным юношей из большого шестиэтажного московского дома в Гранатном переулке.

Мальчики из этого дома испокон веков ходили в беретах, а девочки — в капорах, как на иллюстрациях к книгам Диккенса. Они всегда спешили: в музыкальные школы, на уроки английского языка, рисования, художественной гимнастики.

Игорь Ратанов тоже отходил свое с нотной папкой и взялся за этюдник, когда в их класс перевели и посадили с ним за одну парту вихрастого сероглазого крепыша, первого силача и футболиста Андрюшу Мартынова.

Этюдник был заброшен вместе с нотной папкой. Друзья увлекались футболом и боксом. Родители Ратанова ходили в школу, звонили директору — ничего не помогло. Игорь Ратанов являлся домой в синяках и ссадинах. Однажды отец Мартынова, работавший тогда в Прокуратуре Союза, провел их в Музей криминалистики, на Петровку. Судьба Ратанова решилась. После девятого класса он стал командиром оперативного комсомольского отряда, а через год оба сдали экзамены на юрфак.

Так в семье профессора-терапевта Владимира Иннокентьевича Ратанова появился оперуполномоченный уголовного розыска, а позднее начальник отделения розыска Игорь Владимирович Ратанов.

Он никогда не думал, что так сложно быть руководителем коллектива: люди приносили с собой на работу свои волнения и заботы — о больном сыне, о жилплощади, о дровах. Некоторым женам не нравился суровый режим работы их мужей. [illegible]-то кого-то недолюбливал. Кто-то радовался его промахам, [illegible]удто у Ратанова было свое, отдельное от общего дело. [illegible]было помнить, что при всем хорошем, что есть у каж[illegible], кто-то не в меру вспыльчив, а кто-то обидчив. И нужно было, считаясь и не считаясь со всем этим, быть готовым в любую минуту повести все отделение на дела не только трудные, но и опасные.

И Ратанов думал, что он не умеет этого, и потому старался быть таким, каким ему представлялся идеальный начальник уголовного розыска: бесстрастным, сдержанным, немногословным. Это вредило ему, и Мартынов много раз, оставшись с другом наедине, высмеивал его за это.

В отделе кадров долго спорили: удобно ли оставлять Мартынова в подчинении Ратанова? И Андрей первый доказал: удобно. Самого его на повышение не выдвигали; его веселый, неунывающий характер, увлечение футболом, по мнению некоторых, отдавали мальчишеством и легкомыслием.

Говорили в управлении, что, как все большие друзья, они любили одну девушку, которая предпочла Мартынова. Было это верно или нет, никто не знал, но Ратанов не был женат и никто не помнил, чтобы он кем-нибудь увлекся. А такое в небольших городах, как известно, не остается незамеченным.

4

В дежурке Ратанову сказали, что его давно уже ждет Шальнов.

— Нужен развернутый план мероприятий, здравствуй, — сказал Шальнов, едва Ратанов появился в дверях его кабинета. — Понимаешь? Нужно все силы положить, чтобы раскрыть! А вдруг не раскроем? Нас с тобой за это преступление сто лет трясти будут! Самый подробный план! Все версии!

...Можно было на нескольких чистых листах бумаги написать возможные версии. Все теоретически возможные. Первую... Вторую... Шестую... Десятую... Убийство с целью ограбления... Месть... Ревность... Версия о нападении шизофреника, бежавшего из психиатрической больницы. Чтобы все было полно, грамотно, солидно. Застраховано на случай неудачи.

Ратанов по одному только плану мероприятий мог уже распознать такие дела. Подавленный тревожной мыслью об ответственности и втайне не веря в свои силы, иной следователь или работник уголовного розыска спешит выдвинуть и проверить как можно больше версий. Он постоянно видит перед собой того, кто будет потом, когда преступление останется нераскрытым, придирчиво листать страницы и судить его мастерство и способности; и даже на ту версию или версии
торые ему самому кажутся главными, такой работник
бросить все свои силы, чтобы не оставить непроверенн
одну из остальных.

«Не даст до конца обойти весь район, — сразу же с тревогой подумал Ратанов, — отберет людей... Заставит застраховаться! Не бывать этому!»

На счастье Ратанова, в кабинет неожиданно вошел майор Веретенников. Как всегда, неторопливый, с непроницаемым одутловатым лицом и чуть заметным вторым подбородком, ниспадающим на воротник традиционного глухого кителя, Веретенников еще в дверях услышал предложение Шальнова, и оно ему не понравилось: для составления солидного документа Ратанов был еще молод и неопытен.

— Начальник отделения пусть работает. План, Василий Васильевич, мы с тобой сами составим.

У Ратанова мгновенно отлегло от сердца.

...В воскресенье город начинает жить позже обычного. Непривычно пусты ранние автобусы, на улицах — редкие прохожие, у кино выстраиваются звонкоголосые ребячьи очереди. Но уже к полудню узкие рукава боковых улиц выносят к центру шумный людской поток. Он течет по тротуарам, дробясь о двери магазинов, парикмахерских, фотографий, втягиваясь в подъезды домов. И кажется, что в этом людском водовороте нет ни системы, ни логики.

В этом потоке шли по городу оперативники. Если бы на карту города нанесли пунктиром их путь, то прерывистые линии вырезали бы из лабиринта улиц правильный квадрат с центром в Смежном переулке, внутри которого не было бы ни дома, ни магазина, ни палатки чистильщика обуви, ни газетного киоска, не пересеченных этим пунктиром.

Андрей Петрович Сабо жил один. Нина Рогова как будто уже встречала где-то этого человека — так знакомы показались ей его худые плечи, ссутуленная спина, тонкая проволочная оправа круглых, вышедших из моды очков. Он пригласил Нину в комнату, где под окном на коврике лежала большая породистая овчарка со щенками, извинился и вышел в переднюю. Овчарка настороженно покосилась в сторону Нины, а потом сразу забыла о ее существовании.

Через несколько минут хозяин вернулся — на нем уже была аккуратная, несколько вылинявшая куртка из вельвета, галстук. И тогда Нина вспомнила — такого же вот пожилого человека в стареньком, но чистом и аккуратно выглаженном костюме она встретила недавно в троллейбусе: он уступал место молоденькой застенчивой девушке.

Вы любите собак? — спросил Сабо, извиняясь за при-

в комнате овчарки.

У нас дома тоже живет овчарка...

Разговор начался. Сабо слушал ее внимательно.

— Кажется, я могу вам чем-то помочь, — дослушав ее до конца и улыбнувшись своей тихой ровной улыбкой, сказал Сабо. — Я гуляю с Альмой ночами. Мы уже привыкли. Чудесный воздух, тишина, отсутствие маленьких сорванцов, что кидают палками в собак. В пятницу мы с ней тоже гуляли. Я решил пройти к судоверфи. Людей на улицах было мало. Альма без поводка бежала впереди. У старой мечети — знаете? — мы повернули назад. Навстречу нам из города шли двое. Под самым фонарем мы встретились. Один, высокий ростом, шел справа, ближе к домам, — его я не рассмотрел. А второй был без рубашки и майки. Рубашку он нес в руке. Мускулистый, не очень молодой, лет, может, тридцати, черноволосый.

Я его хорошо рассмотрел, еще отметил даже, что молодежь, как и мы когда-то, предпочитает часто сапоги — он был в сапогах.

...Альма как раз зарычала на них. Тот, что в сапогах, отпрянул. Спрашивает: «Сколько времени, отец?» Я ответил: «Без трех минут две ночи». Он на ходу выругался, говорит: «Опять жена ворчать будет...» И все.

— А почему вы думаете, что это относится к моему делу? — осторожно спросила Нина.

— Да потому, что, когда он время спрашивал, он ко мне лицом повернулся — и я у него кровь на лице увидел, просто размазана по щеке. И не домой он шел. По той дороге домой никто не ходит.

— Вы сможете сейчас проехать со мной ненадолго?

Беседуя с людьми, которые в ночь на субботу проходили по улицам, работники милиции узнавали о приметах прохожих, замеченных ими. Эти приметы Ратанов выписывал на длинную бумажную «простыню». Иногда все приметы умещались в одной строчке:

«Женщина в светлом платье» (проспект у дома 45).

«Парень в шляпе» (у здания управления культуры).

«Две девушки маленького роста» (пруд на Кировской).

Были в этом списке и такие:

«Мужчина без рубашки» (ул. Торфяная).

«Высокий мужчина в белой рубашке» (ул. Торфяная).

«Высокий мужчина в сером» (ул. Торфяная).

Об этих троих рассказал один из дворников. Он видел в половине второго ночи в районе улицы Торфяной, в д пятнадцати минутах ходьбы от Смежного. Они шли в с судоверфи, но не вместе. Мужчина без рубашки и мужч в сером шли по разным сторонам улицы, а мужчина в бело рубашке шел позади одного из них.

Ратанов и Нина подошли к висевшему на стене плану города; люди, о которых рассказали Сабо и дворник с Торфяной, шли по направлению к судоверфи не кратчайшим путем, через центр, а окольным. Об этом можно было судить по времени, затраченному ими.

— Они?! — обрадованно и как-то растерянно спросила Нина.

Через час большая группа сотрудников розыска переключилась на район судоверфи. Тамулиса Ратанов послал в ЖЭКи, к председателям товарищеских судов.

— Об убийстве больше ни слова. Посмотри по-своему на все жалобы и заявления, которые не дошли до наших работников. Квартирные ссоры, скандалы, пьянки... Понимаешь, когда меня спрашивают об убийствах, я стараюсь вспомнить только что-то зловещее... Тебя должны интересовать пустяки: кто-то гуляет по ночам, нарушает тишину, пугает людей... Ты меня понял?

В дверях Тамулис столкнулся с начальником управления.

— Сидите, сидите, — генерал махнул рукой в сторону поднявшегося Ратанова. На Тамулиса он не смотрел, и тот, не решаясь выйти без разрешения, застыл у дверной притолоки.

Ратанов все-таки встал и начал докладывать стоя. Генерал присел, смотрел в сторону, мимо Ратанова, провел зачем-то один раз ладонью по спинке старого дивана, ни разу не кивнул ободряюще головой, но Ратанов сразу почувствовал, что Дед слушает его очень внимательно и во всем с ним согласен.

— Покажите мне по карте, где вы сейчас ищете.

— Вот.

— Не забудьте включить меня в число выступающих на предприятиях. Весь город сейчас говорит о Мартынове и о нас.

— Будет сделано.

Ратанов вновь ощутил прилив уверенности в своих силах. В эти дни ему словно все время не хватало чьего-то скупого, немногословного одобрения.

Я еду в обком партии, — сказал генерал, — думаю, вы [illegible]оге интересных зацепок. Я доволен. — В дверях он [illegible]улся. — Но скажите уборщице, чтобы пыль все-таки в [illegible]шем кабинете убирали, а ваши молодые люди не должны ходить небритыми.

— Силен! — сказал Тамулис, когда дверь за генералом захлопнулась. Он украдкой потрогал рукой подбородок. — Все заметил. Где он раньше работал, Игорь Владимирович?

— Он несколько лет был секретарем областного комитета партии. Закончил философский факультет, потом нашу высшую школу...

— Как назло, — пожаловался на вечерней оперативке Шальнов. — Альгин заболел. Жена звонила: температура тридцать семь и семь. Веретенников куда-то запропастился.

Тут только Ратанов вспомнил, что с самого утра не видел Альгина.

Барков попросил слова:

— Ничего у нас не выйдет, если кое-кто продолжает искать только «золотого свидетеля», который сразу назовет нам убийц и даст в руки доказательства. Я с одним пареньком сегодня разговаривал. Он мне сказал, что у них был в квартире наш сотрудник — не хочу называть его фамилию, — спрашивал, не слыхал ли кто про убийство в Смежном, и ушел. Мало, поймите, задать только этот вопрос. Нам нужны все люди, проходившие в ту ночь. И девушка, с которой у этого дома хотели когда-то снять часы... Может, товарищи, получиться так, что по вине одного человека работа всех пойдет насмарку! Весь труд всего горотдела!

— Ты без намеков, — желчно кинул ему Гуреев, — про кого?

— Про тебя, например.

— Меньше дураков слушайте.

— Этот парень не глупее нас с тобой.

Барков в поисках поддержки обвел глазами коллег, но спорить с грубоватым и невыдержанным Гуреевым сегодня никому не хотелось. Кроме того, все заметно устали.

— Жаль, что Егорова нет, — уже отходя, проворчал недовольно Барков, — он бы тебе все объяснил...

Находившийся в отпуске пожилой, рассудительный Егоров был для всех высшим авторитетом, наравне с Ратановым, а может, и выше, потому что за плечами старшего оперуполномоченного Егорова был еще и житейский опыт, которого н доставало начальнику отделения.

— Сабо говорит о здоровом высоком мужчине... Уж н
чара ли? — спросил Тамулис.

Гуреев махнул рукой.

— Он с весны в колхоз уехал, плотничает. Был я у его матери.

— Ты учти, Тамулис, — улыбнувшись, сказал Шальнов, — Волчара — вор. Он только ворует, не хулиганит, не грабит. Такие, как он, считают убийство позором для себя. Это тебе любой старый оперативник скажет. Пора знать.

— Все-таки я записываю в план, — сказал Ратанов, — «Гуреев доводит до конца проверку Волчары». Ну, на сегодня, пожалуй, все?

— Может, есть такая кличка Чернь или Черень? — опять спросил Тамулис. — Может, Андрей назвал кличку?

Похожей клички никто не знал.

Уходя, большой группой ввалились в дежурку.

— Барков! — позвал дежурный. — Герка! Тебе днем несколько раз девушка звонила... Галя. Потом просила часов в девять позвонить ей в общежитие.

Часы в дежурке показывали начало одиннадцатого.

— Ты бы еще завтра мне сказал. Когда сменялся. Отчитался бы сразу за все сутки...

Раздался телефонный звонок.

— Одну минуточку. — Дежурный прикрыл ладонью трубку. — Здесь про убийство Мартынова... Хотят помочь...

Шальнов перегнулся через стол, взял у дежурного трубку.

— Так... так... — Показал дежурному на карандаш, чтобы записывал.

В дежурке воцарилась тишина.

«Неужели сейчас все станет ясно?»

Барков сзади навалился на Тамулиса, крепко обнимая его за плечи. Гуреев подмигнул дежурному, изо всех сил сжал ему локоть.

— Так... Так... — говорил Шальнов. — Джалилов Арслан... Даличский тупик, восемнадцать... Человек, которого мы ищем... А кто это говорит?

Тамулис быстро снял трубку со второго телефона, набрал номер.

— Человек, которого мы ищем, Джалилов, — растерянно сказал Шальнов, все еще держа трубку около уха.

— Звонили из телефона-автомата, что рядом с вокзалом, — сказал Тамулис.

Шальнов пришел в себя.

— Никому никуда не отлучаться. Машину не отпускать. ов и Гуреев, прошу зайти ко мне. Будем брать Джалилова.

— Чушь, — сказал Барков, — Джалилова я знаю.

5

Их знакомство состоялось в начале года, примерно через месяц после освобождения Джалилова из заключения, когда Арслан уже подумал, что начать новую жизнь ему и на этот раз, пожалуй, не удастся. Правда, теперь он работал на механическом заводе, но на него там смотрели косо, а заработок в сборочном цехе был слишком мал для электросварщика его квалификации.

Когда Арслан уходил работать во вторую смену, у сестры опять собиралась та же компания, которую он выставил из

дома сразу же после приезда. Возвращаясь, Арслан находил в углу комнаты смятые жестянки пробок. Стаканы, даже кружка на ведре пахли водкой, сестра спала на диване, не сняв цветастого платья, соседи в кухне шептались...

А его охватывало чувство одиночества и отчаяния. Жизнь снова начинала двигаться по кругу, из которого он, Арслан, не раз уже безуспешно пытался выбраться.

Взрыв произошел в один из воскресных вечеров: когда соседка в кухне при всех назвала сестру шлюхой и замахнулась на нее, Арслан не выдержал, вскочил со стула и ударил соседку по лицу. А ведь перед этим он не раз ссорился с Майей из-за ее друзей и говорил ей то же самое и в таких выражениях, на которые способен человек, проведший в местах заключения в общей сложности тринадцать лет. Но одно дело — соседка, другое дело — он, старший брат, Арслан, который в сорок втором, после смерти матери, приносил Майе кусочки хлеба, мыл ей сам голову и стирал в тазу выцветшие короткие платьица.

После войны они потеряли друг друга: она попала в детский дом, а он скитался по детприемникам, бегал из детских воспитательных колоний, ходил на кражи со взрослыми ворами. Вскоре он получил свой первый срок — два года в исправительно-трудовой колонии.

Он не видел Майю пятнадцать лет и встретил ее здесь, в этом городе, в этом новом доме, стоявшем недалеко от реки, в заботливо сохраненной строителями березовой роще. Комнату дали Майе, как матери-одиночке, и Арслан раньше никогда здесь не был. Но там, в тюрьме, когда Майя нашла его и писала, что получила комнату, ему начали сниться сны сне он не раз видел и этот дом, и шелестящую молодую р

Слово «дом», как в детстве, снова вошло в его жизн «дом», «из дому», «домой»...

А вот теперь Арслан каждый день приходил на работу угрюмый и неразговорчивый и сразу после смены спешил домой. С сестрой он тоже почти не разговаривал, большей частью, закрыв глаза, лежал на диване, не снимая сапог, или ходил с трехлетним племянником к реке. Он часто думал о Кораблике. Может, все так плохо из-за него, из-за Кораблика?

Когда участковому уполномоченному стало известно, что ранее судимый Джалилов избил в кухне соседку, он в тот же день, не ожидая ее официального заявления, привез Арслана на машине в горотдел.

«Чего ожидать от рецидивиста? — рассудил участковый. — Пока он убьет ее?»

Он разговаривал с Джалиловым в присутствии Баркова. Герман сначала писал, прислушиваясь к их разговору, а потом и вовсе отложил авторучку.

— Я не защищаю сестру, — объяснил Джалилов, — я ей столько раз сам говорил: прекрати, ведь у тебя же ребенок — его воспитать надо! Из тюрьмы писал: ребенок должен расти другим, чем я и ты... Перед соседкой я извинился, просил ее: ну ударь меня! Чем хочешь ударь! Она ведь меня потом простила...

Ему вдруг показалось, что он снова должен будет вернуться туда же, в угловую камеру борской тюрьмы, и всем его планам о другой жизни опять не суждено будет сбыться. Но его судьба — черт с ней! Что будет с племянником?

— Мне та, прошлая жизнь — вот так! — Он провел дрожащей ладонью по горлу и знакомым каждому оперативнику лагерным жестом вытер уголком платка губы.

На лбу у него выступил пот, но не холодный жалкий пот трусости — он давно уже не знал страха, — его нервы, его мозг расходовали в эти минуты всю энергию, чтобы передать участковому уполномоченному и Баркову, от которых зависела его судьба, то, что жило в нем последние годы, мучило, изнуряло, искало выхода.

— С ворами я покончил еще пять лет назад. В тюрьме. Сделал заявление: так, мол, и так, хочу отойти. Это вам могут из оперчасти подтвердить. Они знают. Не мог я больше. Не хотел.

Барков понял сразу, что Джалилов принадлежал к доживающей свои последние дни группировке преступников, объединенных «воровским законом» — правилами, подробно регламентировавшими жизнь вора-рецидивиста.

— А дальше что было? — спросил он неожиданно.

— Дальше читать стал книги. Учиться стал. Закончил девять классов. Получил специальность электросварщика. Благодарности имел в личном деле... Со старым я покончил. Слово.

Баркову уже приходилось слышать подобные речи, и он относился к ним с осторожностью. Интуиция подводила его уже не раз. Однажды он устроил на работу такого вот отошедшего, и тот, не приступая к работе, через два дня скрылся, обворовав товарищей по общежитию и оставив на столе записку, которую Барков не любил цитировать. И это случилось в тот момент, когда создались трудности с общежитием, когда десятки хороших ребят-комсомольцев ждали своей

очереди. Альгин и Шальнов метали в Баркова громы и молнии... После этого Герман некоторое время избегал откровенных и чересчур чувствительных разговоров по душам с отошедшими ворами....

С Джалиловым было по-другому: он был беспощаден к себе и не искал виноватых.

— Может, ничего я бы не понял в жизни, если бы не было этого с Корабликом... Хороший был парень, как и я, остался в войну сиротой. Ели мы вместе, спали рядом, а когда получился у него конфликт, постановили на сходке — зарезать. — Джалилов поднял на Баркова черные тревожно округлившиеся глаза, рот мгновенно переместился куда-то к щеке, и все лицо сразу мучительно перекосилось. — Дали мне воры нож...

— И ты — друга?! — вскочил Барков. Его непослушная боксерская челка косо упала на лоб. — Ты — его?

Джалилов опустил голову, руки с синими жилами татуировки нервно сжались.

— Восемь лет казню я себя... Нет мне прощения... Каждый день его вижу во сне... Я — его... Вечером, за бараками...

Участковый уполномоченный ушел, так и не дождавшись конца разговора, поняв только, что поселился на его участке опасный субъект, с которым он еще хлебнет лиха вдоволь.

А Барков сидел и слушал и, хотя он знал или представлял себе многое из того, что рассказывал сейчас Джалилов, все же не мог не волноваться. Джалилова как будто прорвало. Барков чувствовал, что человек широко и искренне распахивает душу навстречу простому человеческому участию, и, как бы сложилась потом его судьба, сейчас, в эти минуты, он до[...] искренен.

И вновь перед Барковым вставали ненавистные жестокие фигуры лагерных заправил. Это они много лет назад, когда разруха, голод, эпидемия обездоливали тысячи подростков, выбрасывая их на равнодушные пустынные улицы, возрождали и навязывали старый закон разбойничьего быта. Он нужен был им, чтобы заставить лишенных крова, заботы, человеческого тепла мальчишек работать на себя на воле и в заключении. Взамен этот их закон обещал заботу и защиту, призрачные права и преимущества.

Закон запрещал трудиться где бы то ни было — на свободе, в тюрьме, в колониях: ведь труд неминуемо должен был привести к отходу от преступников. Закон запрещал отказываться от игры в карты: пьяный картежный угар — лучшее средство против мыслей, против раздумий о проходя-

щей мимо большой жизни. А против нарушителей закона — нож и сказка о «нерушимом братстве благородных воров», придуманная для таких вот четырнадцати-пятнадцатилетних арсланов, лишившихся опоры, отцов, семьи. Не было еще случая, чтобы ворами становились в зрелом возрасте, вся ставка делалась на молодежь, на мальчишескую тягу к романтике, которую с хладнокровным цинизмом воры обращали себе на пользу...

Теперь всему этому приходил конец. Рецидивистов содержали в особых колониях, им не на кого было влиять, не с кого собирать дань, и приходилось трудиться самим. Отменена была старая система зачетов, введен особый, жесткий режим для тех, кто не желал трудом искупать свою вину.

Но иллюзии в отношении преступников кое у кого из молодежи исчезли еще не совсем. И это значило, что всем им: Баркову, Тамулису, Ратанову, уголовному розыску, комсомольским и общественным организациям — предстояло еще немало работы. И в этой работе мог помочь человек с такой судьбой, как Джалилов.

— Иногда я думаю, — тяжело сказал Арслан, — что за эти годы Кораблик тоже во всем бы разобрался...

— А может, он уже тогда многое понял, поэтому тебя и послали...

Домой они шли вместе.

6

— Чикому никуда не отлучаться, — сказал Шальнов, — брать Джалилова. Ты, Барков, один раз уже поверил жулику. — Он беззвучно засмеялся. — В общежитии ребята до сих пор тебя «благодарят»... Какого он роста?

За Джалиловым уехали четверо, остальные разошлись по кабинетам. Тамулис и Барков пошли к себе.

Без Мартынова в кабинете было пусто и тихо. И все-таки казалось, что Мартынов еще жив и проживет еще сутки до своих похорон. Сутки, за которые можно было найти убийц и Мартынов как-то мог узнать об этом. И пока он еще жил эти последние дни, никто не занимал его рабочий стол, не сдвигал его письменный прибор, не вынимал подложенные под настольное стекло фотографии.

Барков думал об этом, изредка поглядывая на часы. Время двигалось медленно. Оно точно делало вид, что шло, а на самом деле застыло. Вяло топталось на месте.

Тамулис тихо дремал на стуле, и голова его все время соскальзывала набок.

В половине третьего в коридоре снова раздались шаги. Вошел Гуреев, неожиданно бодрый, незаспанный, веселый.

— Идет как по маслу... Раскроем, ребята!

— Что там? — спросил Тамулис.

— Вас не было — грабежи мы так раскрывали. По ночам... Дело «Микадо»...

— Ну что же там наконец?

— Он! — Гуреев ткнул себя пальцем в грудь. — Чувствую. Когда мы за ним пришли, даже ничего не спросил. Оделся, взял семь пачек папирос... Уж приготовлены были!

— Кто его допрашивает?

— Там народу много: Шальнов, Ратанов, Карамышев, Веретенников. Сейчас Альгин приехал.

— А нам как?

— Ждать. Может, на обыск придется ехать — одежду со следами крови...

Тамулис по-детски зевнул, улыбнулся, положил локти на стол, уткнулся лицом в ладони.

7

В пять часов утра их разбудил телефонный звонок.

В кабинете Шальнова, несмотря на открытые настежь окна, плавали сизые змейки дыма. Здесь курили всю ночь. Полковник Альгин сидел рядом с Веретенниковым на диване, откинувшись всей спиной назад. Воротник рубашки он расстегнул, галстук держал в руках. Ратанов и Карамышев тихо переговаривались у окна. Шальнов быстро опрокидывал содержимое пепельниц в урны — наводил порядок.

Оперативники молча рассаживались на стульях вдоль стен.

— Вы будете говорить? — спросил Шальнов у Альгина.

— Давайте сами — горло еще болит...

Он устало поправил воротник, стал надевать галстук. Веретенников внимательно следил за выражением лица подчиненных.

— Зацепки у нас серьезные и интересные, — откашлявшись, начал Шальнов. — Во-первых, личность подозреваемого Джалилова. В прошлом — убийца. Судим за убийство, совершенное в колонии. Его посадили, чтобы исправился, а он там убил человека. Прибыл в город недавно. Живет с сестрой. Сестра Джалилова — мать-одиночка. Соседи на нее жалуются: каждый день гости, каждый день пьянки. Второе: Джалилов —

среднего роста, черный, постоянно носит сапоги. Третье: в ночь убийства Джалилов пришел домой поздно. Никто не может сказать когда. Говорит, что был на реке. Ночью — на реке! Наконец, и это самое главное, у Джалилова была белая рубашка, и она бесследно исчезла. Как нарочно! А вы все помните показания Сабо: преступника он видел без рубашки. Тот нес ее в руке. Можно предположить, что отмыть пятна с рубашки не удалось, и ее преступники уничтожили.

На стульях среди оперативников пробежал шумок, у многих прояснились лица.

— Я заверил руководство управления, — поднявшись с дивана, строго и торжественно произнес Веретенников, — от имени всех нас, и вас и себя, как закрепленного за городским уголовным розыском, что послезавтра, теперь, — он взглянул на часы, — можно сказать уже — завтра, мы будем знать, кто совершил преступление.

— Василий Васильевич, — Карамышев нетерпеливо ерзал на подоконнике, ловя взгляд Шальнова, — я согласен с вами: рубашка — это улика! Но не дай, как говорится, нам бог обмануться! — Как следователь, Карамышев должен был до самого конца отстаивать объективную и беспристрастную оценку доказательств, все это понимали. — Надо не прекращать поиски...

— Потому что Джалилов не признался?! — подхватил Шальнов. — Так он и не признается... Могу вас заверить. Такие, как он, признаются под нажимом доказательств. Его придется изобличать косвенными доказательствами. Это заранее известно. А искать? Искать можно всю жизнь. Ищи на здоровье! Было б желание.

— У нас есть и другие доказательства, — устало сказал Альгин, — его надо предъявить на опознание Сабо.

— Мы предъявим его, — сразу же откликнулся Карамышев, — мы, товарищ полковник, предъявим его на опознание вечером. На том же месте и при таком же освещении...

— Ратанов, — позвал Шальнов, — надо размножить фотографии Джалилова, раздать участковым, всем. Пусть народу показывают их на участках. Может, кто-нибудь вспомнит, видел ли его в пятницу.

— Не помешает, — кивнул головой Веретенников.

Барков несколько раз ловил себя на мысли о том, что уже вечер. А было утро. Раннее летнее утро. За окном пели птицы, и люди выходили из домов, чтобы идти на работу.

— Карамышев проведет очную ставку Джалилова с сестрой, — опять заговорил Шальнов. — Барков и Гуреев сме-

нят людей на квартире Джалилова. Тамулис поедет с фотографиями...

В коридоре к Баркову подошел Ратанов. За время совещания он не произнес ни слова.

— Небольшое изменение: на квартиру Джалилова вместе с Гуреевым я пошлю кого-нибудь другого. А тебя прошу еще раз съездить на место преступления. Тот универсальный магазин, что в первом этаже дома, он на днях открывается... Сейчас по радио передавали областные известия. Нужно еще раз проверить, не завозились ли все-таки в ту ночь товары в универмаг. Справка официальная у нас есть — Гуреев привез. А все-таки... Мало ли как бывает?

Барков недоуменно пожал плечами.

— Майя, — спросил Арслан, как только Карамышев ввел ее в комнату, — где моя рубашка белая? Я купил ее, как только освободился.

— Не знаю, Арслан, — сказала она громче и спокойнее, чем требовалось, — просто не представляю...

Она откинула со лба черную, как воронье крыло, прядь волос. Большие удлиненные глаза смотрели удивленно.

— Я давно уже ее не видел, Майя! — Голос у него неожиданно прервался. — Скажи, может, ты отдала ее кому-нибудь? Скажи как есть...

— Я не знаю, Арслан. Она лежала в шкафу...

— Скажи... — У него вырвалось грубое ругательство. Карамышев быстро отошел от окна и стал между ними. — Скажи! Ты видишь, что со мною случилось! Говори же? Где рубашка?

Майя подняла голову, смуглое лицо ее чуть покраснело.

— Я продала ее Насте Барыге. Еще зимой. Она скупает по дешевке у пьяненьких, а потом продает. Я хотела тебе сказать...

Джалилов со стоном стиснул руки.

Барков вернулся в отдел уже к вечеру.

— Товары в эту ночь в магазин не завозили и не должны были завозить. Возят с сегодняшнего дня. Но вот секция, где будут торговать часами... Там, оказывается, все уже давно завезено. Полное подсобное помещение. Мне заведующий показал...

— Что же это значит? — вслух спросил Ратанов самого себя.

— Могла быть попытка совершить кражу.

— А Джалилов был вором... — продолжал Ратанов.

Барков поморщился, покачал головой.

В кабинет вбежал Тамулис.

— Ну и Анастасия Ивановна, она же тетя Настя Барыга!

— Что?

— Ей лет под шестьдесят. Хитрющая-прехитрющая... И все время сушки жует. «Ты, — говорит, — сначала, мил человек, узнай, почему мне пенсию за июнь не принесли, а потом я тебе все расскажу, что спросишь». — «Хорошо, — думаю, — пусть будет так». Звонил в собес — все занято. А она все сидит, сушки грызет. «Знаете, — говорю, — Анастасия Ивановна, вам придется самой туда сходить». А она мне: «А ты, мил человек, погоди маненько и опять позвони». И снова за сушки.

Ратанов нетерпеливо завозился на стуле.

— Все-таки? Покупала она рубашку у Джалиловой?

— Покупала. Еще зимой.

— Где эта рубашка?

— Продала, и очень недавно. На днях. Продала на рынке молодому человеку в сапогах. Интересная деталь: покупатель этот с ней поздоровался. Говорит: «Ты ведь, бабка, из Шувалова? Я тебя знаю». Она действительно работала в Шувалове, это километрах в тридцати к северу... Сестра ее и сейчас там живет.

— Она знает его?

— Говорит — нет. Да, и еще он спросил у нее, краденая ли рубашка. Она говорит: нет, брата, говорит, Майки Джалиловой с тупика...

— Странно.

Вошел Карамышев.

— А не могло так быть, что Джалилов своим вопросом натолкнул сестру на нужный ему ответ? А с Настей они могли заранее договориться...

Карамышев, как всегда, пробовал доказательства «на разрыв» с разных сторон. Но Ратанов чувствовал, что сейчас сомнения Карамышева напрасны — дать себя обмануть следователь не мог.

— Ты будешь разговаривать с Настей? — спросил Ратанов.

— А как же!

— Она здесь.

Карамышев вздохнул.

— Многое зависит от опознания. А ты знаешь, как критически следует относиться к его результатам, недаром оно не было предусмотрено прежними процессуальными кодексами,

хотя и применялось на практике... Я думаю провести опознание на том же месте, где Сабо видел преступников, у старой мечети. На фоне знакомой окружающей обстановки Сабо скорее узнает или не узнает Джалилова.

А день все тянулся и тянулся, нескончаемо долгий, нерадостный, беспросветный.

И казалось, прошло не менее ста таких же длинных серых дней, пока наконец Карамышев, Альгин, Шальнов и Сабо не выехали на «Победе» к старой мечети. На второй машине за ними отправились еще несколько человек, в том числе Джалилов, понятые и лица, подобранные по росту, возрасту и приметам внешности для предъявления на опознание.

Ратанов и все, кто еще остался в его отделении, ждали их возвращения в горотдел. Разговаривать не хотелось. Ратанов включил радио, передавали последние известия. На юге страны снимали урожай. В Сибири заканчивали перемычку великой реки. Тяжеловес Леонид Жаботинский установил новый рекорд по сумме многоборья.

Около двенадцати часов в коридоре раздался топот. Гуреев выключил радио. Не менее десяти человек быстро шли по коридору к кабинету Ратанова. В кабинете все поднялись, даже те, кто успел задремать. Открылась дверь.

— Ну? — вырвалось у Ратанова, но он уже видел унылое, сразу обвисшее лицо Веретенникова. Из-за его спины выглядывал усталый Карамышев.

В кабинете еще о чем-то говорили, советовались, вставали и садились. Звонил генерал. Барков отвозил Джалилова на машине домой. Прощались за руку оперативники.

Непонятное чувство вины перед убитым товарищем не давало Ратанову прийти в себя.

Потом они остались впятером: Альгин, Веретенников, Шальнов, Карамышев и Ратанов.

— Жаль, что мне на сессию уезжать, — сказал Шальнов, — а то я бы все-таки занялся еще раз Джалиловым. Не верю я ему. Не тот он человек, каким хочет показаться.

— Что и говорить! Обвел нас Джалилов вокруг пальца, а теперь, должно быть, смеется, — поддержал Веретенников. — Я бы его предъявил на опознание днем, в кабинете...

— Что это за несерьезные разговоры! — вспыхнул вдруг Альгин, на скулах у него заиграли желваки. — От фактов никуда не уйдешь. Надо начинать все сначала.

Прошло всего три дня, а Ратанову казалось, что миновал месяц с того дня, когда впервые они приехали на рассвете

к этому дому, к этому громадному котловану, к этому старому рельсу, вбитому неизвестно для чего в щебенку и шлак.

С того дня здесь ничего не изменилось. Черная, окрашенная краской решетка бетонированного колодца глухо взвизгнула, когда Ратанов приподнял ее и привалил к стене дома. И доски, которыми была зашита внутренняя, ближняя к зданию стенка колодца, были такими же свежими и влажными, как в то утро.

«За этими стенками, — спокойно рассудил Ратанов, — должен быть проход в подвал, а может быть, и в магазин». Сердце его первое отметило верную мысль и забилось чуть быстрее, самую малость. Почему он сразу тогда об этом не подумал? Говорят, что каждое преступление можно раскрыть, потому что ни один преступник, каким бы опытным он ни был, не может предусмотреть всего. А какой рок тяготеет над следователем, может ли он предусмотреть все? «Это ничего, что вход в магазин с другой стороны, их склад наверняка тянется сюда».

Он вспомнил нераскрытую февральскую кражу из Центрального универмага — она случилась, когда он был в отпуске, — но там было по-другому... «Надо поискать преступника и в Шувалове, может, кто-нибудь его вспомнит. Может, сразу скажут: «Да это ведь вот кто!»

Он выбрался из колодца наверх.

Мимо Ратанова все чаще и чаще стали проходить люди, и вдруг он заметил, что бесцельно ходит взад и вперед от угла к углу, что с двух балконов за ним наблюдают несколько человек, а вслед за ним, почти вплотную, ходят от угла к углу маленький мальчик и девочка лет пяти. Он взглянул на часы — было уже половина девятого. Он вспомнил об Ольге Мартыновой, об Игорешке, о траурных венках и повязках и почти бегом побежал к машине.

В дверях горотдела он столкнулся с Шальновым.

— Рубашку нашли. Всю в крови. По всем приметам — рубашка-то Джалилова. Зря его отпустили — Веретенников прав. Какой-то спекулянтке поверили... Шувалово она зачем-то приплела... Венок наш я с Роговой понесу. Последний долг.

Ратанов вдруг услышал в голосе Шальнова слезы.

Но разговаривать было уже некогда — по лестнице в окружении милиционеров спускался маленький, чистенький, серьезный Игорешка Мартынов.

Город хоронил Андрея Мартынова.

Был почетный караул, траурные венки и повязки.

На грузовике с откинутыми бортами на руках у молодой

женщины сидел маленький мальчик и смотрел на музыкантский взвод.

А за ровным прямоугольником синих форменок по тротуарам и мостовой шли люди. Те, кто знал Андрея Мартынова, с кем он учился в университете, с кем играл в футбол, для кого не спал ночами.

Шли хмурые, расстроенные ребята с гражданского аэродрома, депутаты горсовета, рабочие самого крупного комбината — имени Ленина, первыми потребовавшие расстрела убийцы, шли воспитанники детской воспитательной колонии, студенты, журналисты.

И дружинники, которые хорошо знали Андрея.

И люди, которые до этого дня ничего не слышали о Мартынове.

Шли и те, кто думал, что жизнь дается человеку всего один раз и поэтому никогда не надо лезть на рожон.

Был траурный митинг и прощальный салют.

И красная звезда на обелиске.

8

Высокий неторопливый мужчина вышел из дома, несколько раз оглянулся по сторонам и не спеша направился к автобусной остановке. Свернув за угол, он закурил и несколько минут стоял, пряча обгорелую спичку назад в коробку, разглядывая тем временем всех, кто шел за ним к автобусной остановке. Потом он перешел на противоположную сторону улицы, прошел одну остановку пешком и сел в автобус, идущий к вокзалу.

Он прошел на перрон, купил в ларьке стакан лимонада и бутерброд с рыбой и стал есть, размеренно запивая кусочки рыбы лимонадом. «Граждане, встречающие пассажиров...» — наконец произнес в репродукторах мягкий женский голос.

Мужчина опрокинул в рот последний глоток лимонада, аккуратно стряхнул с губ хлебные крошки.

На первый путь медленно прибывал московский поезд. Хлопали тамбурные задвижки, из-за спин проводников высовывались нетерпеливые радостные лица. Встречающие, качая букетами цветов, устремились к окнам.

Мужчина оказался в самом центре вокзальной суеты; он спокойно и равнодушно смотрел по сторонам, пока взгляд его не остановился на группе молодых людей с чемоданами и рюкзаками.

— Друг, — остановил он одного из них, — у тебя билет не

сохранился? Выбросил я свой — теперь к командировке нечего приложить.

Он подошел к ним, высокий, выше любого из них на голову, спокойный, сильный.

— Пожалуйста, — сказал приезжий, — мне он не нужен.

— Спасибо, браток, выручил.

Только теперь мужчина понял, как сильно нервничал все эти дни, пока Черень благополучно не выбрался из города, пока он сам не достал себе этот спасительный билет. Он прошел к камере хранения, получил свой чемодан и медленно двинулся в город.

Да, теперь он мог успокоиться. Впервые с той минуты, как завизжала над его головой проклятая решетка над люком у магазина. Счастье, что он посадил Череня под куст у самого угла дома, а не на скамейке, у подъезда, как предполагал раньше. И все-таки с той ночи он не мог спать, только валялся на диване, каждую минуту ожидая, что за ним придут. Но теперь все. С Черенем, конечно, воровать вместе нельзя. Если вместе их поймают — вышка. А так: что было, то было и должно травой порасти. Друзей, конечно, он себе найдет. Черт с ним, с Черенем. А с телефонным звонком в милицию — ловко «вложил», уезжая, какого-то фраера. На Череня положиться можно: если что, ему расстрел обеспечен, — он бил, мало ли что я крикнул! У него своя голова на плечах! Да и кто это слышал?

Еще издалека он увидел, что на перекрестке что-то случилось. Люди стояли на краю тротуара, сновали и проталкивались вперед юркие мальчишки.

Он протиснулся в первый ряд, вперед, к самому концу тротуара. Толпа сзади колыхнулась и сдавила передних. Пути назад уже не было. И в это время раздалась совсем рядом печальная мелодия. Он быстро обернулся, но выбраться было уже нельзя. За ним плотной стеной стояли люди.

Из-за угла медленно приближался эскорт милицейских мотоциклов. Синие, вычищенные до блеска машины медленно шли в ровном торжественном строю.

Мужчина с билетом сразу оторопел, обмяк, хотел схватиться за кого-то рукой. Рядом с ним беззвучно всхлипнула женщина и вцепилась зубами в носовой платок.

— Неужели не найдут и не расстреляют? — сказал кто-то сзади.

Пот мгновенно выступил на его теле, рубашка в минуту стала совсем мокрой и холодной. Озноб охватил его всего целиком. А толпа напирала и напирала на него сзади. Он опустил

чемодан кому-то на ноги; казалось, еще секунда — и его выбросят с тротуара к мотоциклам, туда, где за шеренгою венков сурово и плавно плывет машина с откинутыми бортами.

— Мальчик-то, мальчик-то, — шептала женщина рядом, — совсем еще глупый...

Мокрая холодная рубашка стягивала кожу.

Солнца не было. Косые серые облака дергались во все стороны и хлопали, как простыни на веревке.

Мимо него в каком-то метре шел молчаливый строй: милиция, дружинники, сотни и сотни его смертельных врагов. И пока они шли, он, не отдавая себе отчета, спиною пытался вползти обратно в толщу людей, на тротуар.

Среди людей в гражданском мелькнуло несколько знакомых лиц. Короткие пристальные взгляды.

«Попался», — застучало в голове.

Его заметили.

Когда он выкарабкался из толпы, к нему подошли двое в гражданском, один был совсем молодой.

— Здравствуй, Варнавин, — немного высокомерно и брезгливо поздоровался с ним старший, неторопливый, медлительный, с маленькими усиками. — Что это тебя давно не видно было?

Черные узкие глаза Гуреева беспокойно шарили по лицу, рукам, одежде Варнавина.

— Меня три месяца не было... — Он взял себя в руки. — Шабашничал в деревнях. Где сарай поставишь, где что...

— Когда приехал?

— Вот. Еще до дома не дошел. Так с чемоданом и застрял. И билет еще цел.

— Ну-ка покажи билет...

Гуреев внимательно посмотрел на компостер и сразу потерял интерес к разговору.

— Давай на работу устраивайся, а то как тунеядца... Живо...

— Это обязательно. Немного отдохну — и на работу. — Он стоял перед ними, здоровый, большой, со взмокшими от пота волосами и в мокрой рубашке, и ему хотелось еще говорить и говорить с ними. — Я на механический завод. Примут меня?

«Это только в кино так, — думал он уже потом, спокойно идя по улице, — испуг на лице, холодный пот и все такое прочее. В уголовном деле нужны доказательства. — Он подмигнул еще не старой женщине на углу, торговавшей пивом.— В городе меня никто не видел. А билет — вот он! Только бы не потерять!»

У самого дома он неожиданно столкнулся с Джалиловым.

— Ты? Откуда? Ты ведь питерский...

Они вместе были в колонии, потом на большой стройке.

— Волчара? — удивился Арслан.

Варнавин положил руку ему на плечо.

— Ты повидай меня на днях. Или лучше я забегу. Ты где остановился? — А про себя подумал: «Чем не замена Череню?»

Арслан шел домой, весь отдавшись нахлынувшим воспоминаниям. Они не терзали его уже давно, с зимы. Даже находясь в течение суток в горотделе в качестве подозреваемого, он думал только о том, чтобы доказать свою правоту. И больше ни о чем.

Теперь, после встречи с Волчарой, перед Арсланом снова была з о н а, гаревая, пахнущая дождями дорожка к вахте, Кораблик и тот на всю жизнь запомнившийся вечер, когда он узнал вынесенный ему Волчарой и другими ворами приговор.

Арслан словно воочию видел торжествующее, довольное лицо Волчары, когда тот объявил решение с х о д к и.

— Это не наш человек! — сказал Волчара о Кораблике. — Кончать с ним...

И вот через много лет Волчара встретился вновь с Арсланом. Волчара был жив и открыто ходил по улицам, он предложил Арслану повидаться...

А затравленный Волчарой Кораблик, бледный как полотно, с мгновенно выступившими на лбу тяжелыми крупными пятнами холодного пота, долго метался между бараками, разорвав на груди майку, ожидая в любую минуту последнего страшного удара...

ДОРОГОЙ ПОИСКА

Глава II

1

Ратанов сидел за старым канцелярским столом и думал, что все преступления, которые он расследовал до сих пор, давались легко или были раскрыты случайно.

Что он сделал за этот месяц? Он хорошо провел «подчистку» участка. Сделал все, чтобы выявить очевидцев. На его месте это сделал бы любой. Не дал сбить себя с толку теоретически

вероятными версиями, которые мог придумать десятками любой расторопный третьекурсник с юрфака? Это тоже не заслуга. А что в активе? Показания Сабо?

В Шувалове ничего не нашли, только сестра Насти Барыги подала Баркову отвертку. Эту отвертку дал перекупщице мужчина, купивший рубашку Джалилова, вместо двадцати-тридцати копеек, которых у него не хватило, а она отдала ее сестре. Рубашка? Почти ничего!

И вообще, не преувеличивает ли он свои способности, стараясь раскрыть это тяжелое преступление? Достаточно ли он знает криминалистику, методику раскрытия убийств?

А может, дело совсем не в этом? Ведь считает и по сей день кое-кто, что раскрытие преступлений — это искусство. Есть военное искусство, есть искусство криминалиста... Здесь не обойдешься хорошим учебником или тактическим наставлением, нужен талант.

Есть ли у тебя талант?

Ему вдруг захотелось пойти к кому-нибудь, поделиться своими страхами. Но Альгина в отделе не было. Отлежав две недели в госпитале с осложнением после ангины, он уехал с женой и детьми в отпуск в деревню. Генерал был в Карловых Варах. Шальнов «завалил» литературу и вернулся в отдел очень обиженный.

— Нет, нет, нет, — хлопнул он ладонью по столу. — Нельзя распускаться, нельзя ныть, нужно терпеливо, настойчиво делать свое дело... Делать свое дело... Свое дело...

Позвонил дежурный:

— Барков еще здесь? Пусть срочно спустится в дежурку... Его по 02 спрашивают...

Барков быстро сбежал по лестнице, взял телефонную трубку.

— Барков? Это Джалилов. Такое дело. — В трубке что-то хрипело и царапало. — Вы Волчару знаете? Так вот, сегодня будет кража из магазина в деревне Барбешки... Волчара с Гошкой-пацаном...

— Помешать им нельзя? Отговорить? Перенести?

— Они все равно пойдут. Там завмаг болеет... Они еще заедут за мной в конце смены.

— Ты не ходи! Во сколько кончаешь работу?

— В два... Мне там делать нечего — хватит!

— Сможешь позвонить еще раз к концу смены?

— Позвоню. В конторке никого нет.

— Давай.

Положив трубку, Герман побежал наверх. В дверях он обернулся к дежурному:

— Срочно машину за Ратановым, мы ему сейчас позвоним на квартиру, быстрее!

Егоров закрыл сейф, собираясь идти домой, когда он и Тамулис услыхали в коридоре топот Баркова.

— Волчара идет на магазин! — задохнулся Герман.

2

— Не люблю я по ночам звонить Шальнову, — сказал Егоров, набирая знакомый номер.

— К кому же еще звонить? — удивился Тамулис. — Альгин в отпуске. Ратанов такие вопросы не решает...

Телефонную трубку, как обычно, подняла жена Шальнова и пошла будить мужа.

— Волчару вы знаете. — Егоров старался говорить спокойно. — Сегодня в два часа ночи он собирается обворовать магазин в деревне Барбешки. С ним едет Гошка, молодой, сын врача. Позвонил Джалилов.

— Этого нам еще не хватает! — Шальнов чертыхнулся. — Джалилов может нас провоцировать... Хочет выслужиться перед о р г а н а м и, замазать участие в убийстве...

— Не думаю.

Тамулис и Барков с двух сторон прильнули к трубке.

— Постой, Егоров, Барбешки — это ведь за чертой города, на территории райотдела... Чего же мы головы ломаем? Звони туда.

— Они уже ничего не успеют сделать. Людей им не найти, а выезжать нужно минут через пятнадцать...

— Вот черт!

Все они прекрасно понимали муки Шальнова.

...Инструкция на этот счет предельно ясна и лаконична. Узнав о готовящейся краже, работники милиции должны во что бы то ни стало помешать совершению преступления. Но предупредить кражу можно по-разному: можно просто, как будто случайно, появиться у магазина, и преступники, особенно если они впервые идут на преступление, откажутся от него, и, может быть, навсегда. И можно взять преступников с поличным. Поймать при попытке совершить кражу или с орудиями совершения преступления, устроить засаду. И это слово «засада» Шальнов больше всего боялся произнести: с точки зрения некоторых теоретиков, человек, находящийся в за-

саде, своим поведением создает условия для совершения преступления.

...Неужели невзначай подъехать к проходной завода к концу смены и, увидев там Волчару и Гошку, проверить у них документы? Предупредить это преступление, чтобы Волчара через месяц, тщательнее подготовив, совершил другое, более серьезное?!

— Кто разговаривал с Джалиловым?

— Барков.

— Так... — В душе он был за засаду, но это было хлопотливо и небезопасно.

...Около двух часов ночи. Минутная стрелка, прыгая по циферблату больших стенных часов, издает резкие, довольно громкие щелчки.

— И когда Шальнова от нас возьмут? — шепотом посетовал Тамулис. — Видимо, до пенсии тянут...

— Ну, это недолго, — не упустил случая Барков, — вот Тамулиса до пенсии тянуть...

Егоров их не слышал.

«Задерживать Волчару по дороге, недалеко от магазина? Ломик он бросит. Других улик нет. Какая ухмылка будет на его лице? Он может сказать, что любит пение ночных птиц или собирает гербарий. И они будут вынуждены его отпустить, потому что доказать попытку совершить кражу из магазина не смогут. А Гошка, загипнотизированный Волчарой, тоже осмелеет, на прощанье щелкнет каблуками, вытянет руки по швам, иронически склонит большую, коротко остриженную голову...»

— Если Ратанов решает...

Егоров погасил в кабинете свет, и они спустились в дежурку встречать Ратанова.

3

На переправе Ратанов нервничал: он боялся попасть на один паром с такси, на котором поедут преступники. Милицейская «Победа» стала поперек парома, чтобы съехать с него первой. Паромщики не торопились: хотели захватить побольше самосвалов с бетоном.

Когда Ратанов совсем уже потерял терпение, паром наконец тронулся с места и поплыл против несильного течения. Сквозь пелену мелкого ночного дождя не было видно ни воды, ни неба. Река только угадывалась в негромких равномерных всплесках воды. Минут через десять паром остановился. Они съеха-

ли на берег и повернули на лесную дорогу. Теперь у них было в запасе верных полчаса до прибытия следующего парома.

— Лес до самых Барбешек будет, товарищ капитан, — предупредил шофер.

Он вел машину легко и быстро. До уголовного розыска он работал в Москве, возил замминистра, потом — в областной газете. Ему принадлежали рекорды области для машин класса «Победа» в езде по разбитым тракторами и МАЗами дорогам.

— Смотри, Эдик, — сказал осмотрительный Егоров, — не влети куда-нибудь.

— Будет порядок, товарищ майор, — отозвался тот, — как от Огарева до Фрунзенской набережной...

Вскоре фары нащупали впереди изгородь из березовых кольев и небольшую заброшенную избушку.

— Старая застава, — сказал шофер, — рядом деревня.

Дорога в деревню была закрыта шлагбаумом — длинной суковатой жердью, которую Тамулис оттащил в сторону, а когда машина проехала, положил на прежнее место.

— Приехали, — сказал Эдик.

Магазин в Барбешках находился на самом краю деревни, почти у самой дороги, — деревянная изба-пятистенка с небольшими закрытыми ставнями окнами. На другой стороне дороги стояла маленькая будка сторожа, который, по-видимому, спал.

Они обошли вокруг магазина: крыльцо, четыре окна с трех сторон, лестница на чердак, кадка с водой на случай пожара. Метрах в двадцати от магазина начинался кустарник, а за ним шел лес, окружавший Барбешки и еще с десяток деревень, разбросанных по старому тракту. В память основателей они до сих пор назывались починками — Васильевским, Федоровским... Это да еще сам тракт, которым никто уже не пользовался, и было тем единственным, что напоминало о старине.

— Не забыть позвонить в райотдел, — сказал Ратанов, — территория все-таки района, а не города...

Егоров сорвал ветку с куста, на ощупь попробовал определить дерево.

— Лучше вам с Тамулисом вдвоем со стороны кустов, а я возьму дорогу... Орешник, по-моему, и запах похож...

— Так. А машину оставляем в деревне у крайнего дома. Ты, Эдик, будешь в машине наготове, как только услышишь выстрел, гонишь сразу к магазину. Пусть думают, что мы все выскочили из «Победы»... Ехали и случайно на них наткнулись.

— Ну что, по местам? — спросил Егоров.

— Судья Саар посмотрел на свой секундомер, — вступил

в разговор Эдик, видя, что официальная часть переговоров закончена. — Свисток...

— По местам, — вздохнул Ратанов. — Черт знает какая темень!

Они разошлись.

Егоров укрылся в кустах по другую сторону дороги, напротив магазина.

Дождь окончился, и было совсем тихо. Лес стоял огромный, молчаливый, изредка стряхивая с веток в траву тяжелые капли. «Волок» — зовут здесь такой лес: деревья из него приходилось раньше тащить волоком.

Егорову мало пришлось поездить по свету.

В кино он с мальчишеской радостью смотрел фильмы о лесных заповедниках, от души смеялся, видя на экране доверчивую мордочку бобра или енота, с уважением глядел на суровые волны океана, на недоступные вершины гор. Сейчас ему было под пятьдесят, и он уже отчетливо понимал, что, если не уйдет на пенсию и будет продолжать работать, наяву многое из этого, вероятно, уже никогда не увидит.

Восемнадцатилетним ростовским пареньком он ушел с завода в Красную Армию. Некоторые его товарищи попали на погранзаставы, другие — в авиацию, а он — в конвойные войска НКВД, потом в милицию. Сейчас он майор. Двадцать пять лет пролетели в бесконечных переходах от раскрытых преступлений к другим, нераскрытым, в ожиданиях отпусков, в особом, никогда не становящемся привычным волнении, которое испытываешь, когда идешь по следу преступления; между годовыми отчетами о снижении преступности и ЧП, благодарностями командования и очередными разносами, сдобренными привычной формулой: «Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает».

Двадцать пять лет пролетели, оставив серебряные следы на висках. Теперь по опыту работы он мог командовать не отделением — отделом, может быть, управлением, если бы тогда, по окончании войны, поехал в высшую школу или поступил в институт. Но он не поехал, и сейчас не следовало об этом вспоминать.

Тут он услышал скрип, тонкий, еле слышный скрип.

По ту сторону дороги Тамулис, который тоже услышал этот скрип, схватил Ратанова за руку.

Потом они услышали возню, приглушенный кашель и осторожно двинулись к магазину. Вокруг ничего не было видно, и хотелось идти с закрытыми глазами.

И в этот момент раздался свист.

Гошка сидел под крыльцом магазина и собирался было последовать за Волчарой, который через незапертый нижний люк влез в торговый зал и успел уже сбросить вниз тяжелый рулон какой-то шерсти. Вдруг он заметил Егорова, бежавшего через дорогу к магазину, и свистнул.

Внутри магазина что-то с грохотом упало — это Волчара второпях сбил с прилавка весы. Увидев еще двоих, Гошка бросился на дорогу, навстречу Егорову. Майор узнал Гошку и сделал шаг в сторону, но тот как зачумленный с ломиком кинулся к нему.

Между ними осталось не более трех метров всгорбленной, мощенной булыжником дороги. Егоров успел выстрелить у Гошки над головой, но, когда ломик, почти коснувшись его вытянутой руки, просвистел в воздухе, выстрелил еще раз, стараясь попасть в ноги. Гошка упал.

— Покажи, — сразу нагнулся к нему Егоров.

Гошка, корчась от боли, тронул ногу рукой.

— Жить будешь, — сердито, но радуясь тому, что не убил его, буркнул Егоров. — Вставай, обопрись...

Гошка встал и оперся на него, а Егоров быстро провел рукой по его карманам. Нащупав в пиджаке что-то твердое, Егоров вытащил у Гошки финку, выточенную из напильника, и сунул себе в карман. Потом они побрели к машине.

Пользуясь темнотой, Волчара тихо вылез из магазина и юркнул в кусты. Какое-то шестое чувство на этот раз помогло Ратанову — он бросился вслед. Волчару настигли у самого леса. Здоровый, физически сильный, он отбивался руками и ногами. С помощью подбежавшего Эдика Ратанов и Тамулис все же закрутили ему руки назад и, низко пригнув к земле, повели к машине.

— И второй здесь, — радостно прошептал Тамулис. Он дышал тяжело. Кожу на виске саднило, больше он пока ничего не чувствовал.

Из деревни уже бежали человек пять с фонарями: участковый уполномоченный районного отдела милиции, который ночевал в Барбешках у председателя сельсовета, сам председатель, бригадир, еще какие-то наспех одетые люди.

Небо быстро светлело. Участковый уполномоченный и бригадир повезли Гошку в больницу.

Когда они уехали, Ратанов прошелся вдоль кустарника.

«С какой стороны преступники пришли к магазину?»

На примятой траве следы были хорошо видны.

«Здесь они шли гуськом, след в след, а вот стали расходиться...»

В том месте, где преступники разошлись, Ратанов ясно увидел след третьего человека, оставшийся на мокрой от росы траве.

4

...Было уже начало третьего. Арслан не звонил. Барков переключил телефон на дежурного и спустился вниз. Здесь было тихо. Дежурный переписывал в толстую книгу телефонограмму, его помощник читал газету. Герман вышел на улицу. Накрапывал мелкий дождик, и на мокром асфальте скользили огни раскачивающихся на ветру подвесных фонарей. В машине, накрывшись с головой плащ-палаткой, спал шофер. По безлюдной Театральной улице грохотали самосвалы. Они каждую ночь возили за реку бетон к строившемуся заводу агрегатных линий.

Барков отпер дверь маленького домика на углу Театральной и Луначарского и прошел к себе. На столе были разбросаны журналы, бумаги, фотографии, из-под кровати высовывался угол незапертого чемодана. Герман поставил чайник и, пока закипала вода, побрился электробритвой. Потом выпил чаю с булкой, взял со шкафа пачку «Севера» и пошел в горотдел. Было без пятнадцати три.

Он заставил себя прочитать еще раз вчерашнюю газету, лежавшую на столе у дежурного. Прошло только шестнадцать минут. Походил по дежурке.

Дождь кончился. Барков вышел на улицу. Теперь было уже ясно, что Джалилов больше не позвонит. Он прошел через центр и по бульвару спустился на пристань. У дебаркадера стоял транзитный пароход, и по набережной, несмотря на ранний час, гуляли пассажиры. Барков поздоровался за руку с молодым постовым милиционером и повернул назад. Из телефонной будки все-таки позвонил по 02.

— Ничего не слышно от них?

— Нет.

Синева неба понемногу блекла. Появлялись более матовые тона, предвещавшие близкий рассвет. Барков вернулся в дежурку и снова взялся за газету.

Звонок раздался около четырех.

Медсестра Зареченской больницы сообщала, что к ним поступил больной с огнестрельным ранением ноги.

Держа в руке трубку, из которой неслись частые прерывистые гудки, Барков молча смотрел в серое, полуслепое еще окно, выходившее на ту сторону реки.

Там было по-прежнему темно и тихо.

...Углубившись в свои мысли, Барков быстро шел по улице. Дождя уже не было, только ветер сдувал с деревьев последние запоздалые капли. У закрытого еще городского рынка гулко перекликались дворники. Сворачивали к бензоколонкам пустые автобусы.

В скверике недалеко от дома Джалилова Барков остановился. Закурил. Думать о телефонном звонке из больницы больше не хотелось, но чувство тревоги не уходило. Он стоял и курил до тех пор, пока не увидел издалека крепкого невысокого человека в коричневом костюме, маленькой серой кепке и сапогах. Арслан, невредимый, шел по улице, не замечая Баркова, как всегда серьезный, сосредоточенный на своих мыслях. Герман подождал, пока Арслан скрылся за углом, и пошел в столовую завтракать.

5

Барков пришел в отдел с опозданием на шесть минут и, не встретив никого из начальства, проскочил в кабинет, где Тамулис в волнении расхаживал взад и вперед от окна к двери.

— Мне снился страшный сон, — не замечая его расстроенного лица, весело объявил Барков. — Мне снилось, что Веретенников всю ночь сидел у моей кровати, когда я спал, и ласково гладил меня по темени. Я проснулся в поту. Представляешь?

— Где ты бродишь? — набросился на него Тамулис. — Ты знаешь, что Арслан арестован?

— Джалилов?!

— Да. Вчера вечером.

— Ничего не понимаю... Кто тебе сказал?

— Дежурный. Веретенникову стало известно, что Джалилов был вместе с Волчарой и Гошкой в ту ночь у магазина...

— Может, съездить к сестре Арслана?

— Давай подождем Ратанова.

Ратанов был в управлении, на оперативке у начальника уголовного розыска области. В небольшом, заполненном сотрудниками кабинете, несмотря на ранний час, было душно, оперативка шла медленно, потому что начальнику уголовного розыска беспрестанно звонили по телефонам, и, пока он, чуточку заикаясь, вежливо объяснял, что занят — у него «оп-перативное с-совещание», возникали томительные паузы.

Ратанов освободился только к одиннадцати и пешком пошел в горотдел.

Приближался полдень, и было жарко. У массивного красного здания управления шелестели листьями деревья. Немногочисленные прохожие предпочитали идти в тени, ближе к домам, или по бульвару, занимавшему середину улицы.

Вернувшись к себе, Ратанов сразу же позвонил Гурееву:

— Заходите вместе с Барковым и Тамулисом. Захватите материалы обыска на квартире Волчары.

Барков вошел первым.

— Игорь Владимирович, вы знаете, что Джалилов арестован?

— Шальнов мне сказал, что арест связан с совершенным Джалиловым преступлением еще до приезда сюда, к нам в город.

— Этого не может быть: он сразу приехал к сестре!

— Да? — Ратанов удивился. — Может, Шальнов что-нибудь перепутал?

— И потом Арслан будто бы сопровождал Волчару к магазину...

— Я пытался вчера встретиться с Джалиловым, но его не было дома... Ты не волнуйся, в ближайшие дни мы все выясним. Сейчас нам нужен максимум собранности: Волчара — противник, заслуживающий самого серьезного внимания.

— Могу? — открыл дверь Гуреев. Он нес конверт с изъятыми на квартире Волчары бумагами.

За ним, неслышно прикрыв за собой дверь, вошел Тамулис.

Письма, найденные при обыске, кроме одного, не представляли никакого интереса. Собственно, это было даже не письмо, а половина листка из школьной тетради с оборванным верхом.

«Слушай внимательно, — писал автор письма, — убьют меня...» И далее неразборчиво: то ли «соев», то ли «сыв», «пэ пэскэ о постюмо или ури одова». «Если ты этого не сделаешь, не считай нас братьями, а что не нужно, герав дурэдыр».

— Ну, давай, Барков, покажи, как ты знаешь жаргон, — покровительственно сказал Гуреев. Субботу и воскресенье он провел вместе с тестем в коллективном саду, на воздухе, и теперь чувствовал себя морально и физически отдохнувшим.

Барков не мог вспомнить ни одного похожего слова и напрасно несколько минут коверкал их так и этак:

— «Герав»... «Гарав»... «Гурав»...

Ратанов предположил, что слова взяты из какого-то незнакомого языка — может, мордовского или чувашского, тем более что мать Волчары была родом откуда-то из Вятских Полян.

Не придя к определенному выводу, они стали просматривать другие бумаги.

Тамулис обратил внимание на рецепт: пенициллин — по триста тысяч единиц, через двенадцать часов, 17 февраля, фамилия врача неразборчива. Бланк первой городской больницы.

Слово «ури» в письме Гуреев считал безграмотно написанным словом урки. Однако в других словах ошибок не было.

— Разрешите от вас позвонить, Игорь Владимирович? — спросил Тамулис.

Ратанов кивнул.

— Регистратура? С вами говорит Тамулис из уголовного розыска. Здравствуйте! Кто со мной говорит? Я вас попрошу срочно поднять карточку больного Варнавина Виктора Николаевича. С чем он обращался к вам в феврале? Я подожду...

Гуреев недоуменно пожал плечами.

— Не обращался? Это точно? Большое спасибо. До свиданья.

Он выразительно посмотрел на всех.

— Теперь тебе легче? — спросил Гуреев.

— А вам дата рецепта ничего не говорит?

Гуреев покраснел: «Да. На другой день после той зимней, так до сих пор и не раскрытой кражи из универмага. Любопытно».

— Первое. Найти врача, выписавшего этот рецепт. Сейчас сюда придет Карамышев. Я звонил ему, — сказал Ратанов.

— Игорь Владимирович, — как-то снисходительно сказал Гуреев, — может, вы подозреваете Варнавина в убийстве Андрея? Так я проверял у него железнодорожный билет. Он приехал в день похорон. Даже чемодан был при нем. Я докладывал Шальнову...

Ратанов удивленно посмотрел на Гуреева.

— Билет вы не изъяли?

— Во время обыска я видел его в шкатулке на комоде — можно съездить за ним...

Сердиться на Гуреева было бесполезно: как ему казалось, он все делал старательно и добросовестно. Не дорабатывал он «чуть-чуть». И это «чуть-чуть» делало его невезучим и ненадежным работником, несмотря на весь его опыт.

— Билет нужно срочно привезти, — только и сказал Ратанов. — Это важно.

— Смотрите, — сказал Барков, — молитва...

На сложенном несколько раз листе бумаги карандашом бы-

ло написано: «Псалом 90... Бог мой, и уповаю на Него, яко той избавит тя от сети ловчи и от словеса мятежна...»

— От засады, — перевел Барков, — и от допросов...

— Глубоко религиозный вор.

Позвонил Шальнов:

— Зайди!

Он сидел в своей обычной позе, обложившись со всех сторон делами, папками, толстыми тетрадями и журналами в картонных переплетах с грифами «Секретно» и «Совершенно секретно».

Подперев рукой голову, Шальнов смотрел на дверь.

— Привет, — кисло сказал он Ратанову, — с рыбокомбината опять ящик с консервами утащили...

Это прозвучало у него тяжело и устало, и со стороны могло показаться, что он озабочен и устал потому, что все эти сутки, пока Ратанов отсутствовал, он, забыв о еде и сне, изнервничавшись как черт, мотался в поисках этого ящика по комбинату и по Старой Деревне, опрашивал на рассвете сторожей и дворников и прочесывал Большой Шангский лес. Можно было даже подумать, что Шальнов нес какую-то особую персональную ответственность именно за этот ящик консервов. Но Ратанов знал, что Шальнов на месте кражи не был.

— Мне докладывали, — сказал Ратанов, — ребятам из ОБХСС нужно обратить больше внимания на этот комбинат. Что с Джалиловым?

— Двойную игру вел. Сообщил нам, что Волчара на кражу идет, а сам вместе с ним участвовал. И почему Барков так поверил в этого Джалилова? Прокурор дал санкцию на арест пока условно, на десять суток. За это время Веретенников все перепроверит — и странную историю с его рубашкой, и показания сестры... Веретенников еще утрет нам нос, посмотришь...

— Вы по-прежнему верите в причастность Джалилова к убийству?

Шальнов хрустнул переплетенными пальцами:

— Как бы нам потом головы не сносить...

6

Волчару допрашивали в жизни, наверное, десятки раз; следователей он повидал разных тоже немало. Он видел и молоденьких мальчиков, только что пришедших со школьной скамьи, которые разговаривали с ним сначала неестественно строго, а потом с жалостью взывали к его больной, как им казалось, совести, и умилялись, и страдали сами больше его,

Видел он и старых, опытных оперативников: они угощали его на допросах бутербродами и кефиром, говорили, что знают все и без него, но хотят «проверить его совесть». И те и другие добивались от него одного — признания.

На допросах Варнавин держал себя всегда одинаково — вежливо, но без униженности, спокойно, но без вызова: больше молчал. Когда ему предлагали курить — курил, брал папиросу не спеша, с выдержкой, иногда отказывался, когда считал, что следует показать характер. Он знал, что терпение и выдержка в его теперешнем положении — это лучшая броня против любого следователя, а откровенность — как солодковый корень: сосешь — приятно, а потом — горько.

Ратанов и Карамышев знали, с кем они имеют дело, и вели допрос спокойно и терпеливо, выбрав для этого кабинет отсутствующего Альгина.

Они начали допрос после обеда, часа в три дня, и опытный Варнавин, для которого это было очень важно, не мог понять, в какую смену они работают, когда они начнут, спеша домой, комкать допрос и когда зададут самые важные вопросы.

Он отвечал медленно, как можно короче, навязывал свой темп разговора, который ускорить им было трудно, так что никакой вопрос не мог застать его врасплох. Единственное, на что он не мог повлиять, была расстановка вопросов. Они расспрашивали его о детстве, о поездке в деревню, о здоровье, снова о деревне, о покупке железнодорожного билета и снова о здоровье, о том, когда обращался к врачу, о Барбешках.

Эта неопределенность, оставшийся непонятным тайный смысл вопросов тревожили его все больше и больше. И против всего этого был только его опыт, довольно ограниченный срок времени на ведение следствия по его делу и Черень, который уже, конечно, знал, что он арестован, и должен был делать все, чтобы помешать следствию.

— Что мне кажется, — тихо начал Карамышев, когда Волчару увели, — мне кажется, — голос его звучал все громче и задорнее, — это така-а-ая рыба, которую я еще никогда не выуживал.

— И по-моему, тоже...

Они смотрели друг на друга как заговорщики.

— Мы должны пройти по его следу шаг за шагом, проверить день за днем все время, пока он был на свободе.

— Подожди, призовем сыщиков и перейдем в мой кабинет.

— Мы должны снова поднять дела по нераскрытым преступлениям прошлых лет, — сказал Ратанов, садясь за свой

стол и оглядывая всех собравшихся, — Центральный универмаг, часовую мастерскую, запросить дела по области из тех районов, куда Варнавин выезжал...

— Не мог он приехать раньше, а потом достать где-нибудь билет? — спросил Тамулис.

— Ты попал в самую точку, — засмеялся Карамышев. — Именно.

— Ставку делать надо не на признание, а на сбор и закрепление иных доказательств.

Возбуждение Ратанова и Карамышева передалось и Тамулису.

— Подготовить себе алиби, тайно вернуться в город, чтобы совершить кражу из нового универмага.

— Что ж, поломать голову есть над чем, — сказал Ратанов.

...Шедший по коридору Гуреев услышал за дверью в кабинете Ратанова длинный тревожный звонок. Он вспомнил о новоселье, на которое был приглашен вечером, и замедлил шаг.

Ратанов, видимо, говорил по другому телефону и не мог сразу снять трубку. Потом тревожный звонок прекратился. Гуреев быстро загадал: если он успеет дойти до дверей своего кабинета и Ратанов в коридор не выйдет, то все обойдется. Стараясь не спешить, но и не особенно замедляя шаг, он двинулся дальше. В кабинете Барков уже убирал со стола документы.

— Ратанов сейчас звонил: кража на улице Наты Бабушкиной...

«Вот и все, — подумал Гуреев про новоселье, — хорошо, чт хоть подарок не успел купить».

Он вытащил из сейфа пистолет и, на ходу засовывая его во внутренний карман, как блокнот или бумажник, — надевать кобуру было уже некогда, — выбежал в коридор.

Ратанов запирал свой кабинет.

— Поскорее!

Они побежали по лестнице.

Машин в городе было не так уж много — не Москва, тем не менее светофоры неумолимо и педантично настигали их почти через каждый квартал. Эдик виновато чертыхался. Остальные пригнулись к окнам: на месте очевидцы могли назвать приметы преступника, и тогда будет важно вспомнить, не попадался ли он им по дороге.

«Трое одного роста... синий комбинезон... высокий в кепке... студенты...»

Гуреев запоминал почти автоматически; у этого тяжеловато-

го на подъем, держащего себя всегда с достоинством старшего опера была цепкая зрительная память, о которой в отделении все знали. Но сегодня это давалось с трудом: он невольно думал и о новоселье и поэтому никак не мог сосредоточиться на мелькавшем вдоль панели людском калейдоскопе.

Наконец серая неприметная «Победа», пробившись между двумя тяжелыми самосвалами, свернула на улицу Наты Бабушкиной.

— Вон восемнадцатый дом, — сказал Ратанов, берясь за ручку дверцы, — нас встречают.

Эдик резко затормозил у группы людей, стоявших на тротуаре. Ратанов и Егоров сразу вошли в середину маленького кружка, а Гуреев и Барков присоединились к любопытствующим, прислушиваясь к разговорам и отыскивая людей, которые могли оказаться полезными.

— Выбрали время, когда никого в квартире не было...

— Я как чувствовала, пошла за молоком — вернулась... Думаю, зять сходит. А то бы и к нам забрались...

— Когда надо — милицию не найдешь днем с огнем, а когда не надо — и милиционер, и участковый, да еще и мотоцикл...

Ратанов и Егоров молчали. Они привыкли принимать на свой счет все упреки в адрес милиции.

— Небось режутся там у себя в «козла», — громко сказал мужчина-пенсионер в лицо Ратанову.

У Ратанова даже желваки заходили под скулами, но он сдержался. Тяжелая, оболганная недоброжелателями любимая работа! Кто же виноват, что ты видна окружающим обычно не более чем на одну двадцатую часть, что еще о девяти двадцатых знают рядовые оперативники, выполняющие отдельные поручения, что всю громадную работу по раскрытию серьезных преступлений — и уголовного розыска, и следователей, и участковых уполномоченных, и милицейского состава, и ОРУД-ГАИ, и других служб — знает от начала до конца лишь считанное число людей!

— Кто видел во дворе посторонних людей? — спросил Ратанов.

Все замолчали.

В это время подъехала вторая машина, с экспертом-криминалистом Егоровым и проводником с овчаркой.

— Ну как? — спросил эксперт у Баркова.

Тот качнул головой в сторону.

Они вошли в дом...

Кто видел семью, оставшуюся по вине негодяя без денег, без зимней одежды, без купленного за счет экономии всех членов семьи отреза на платье или костюм, уже три месяца ожидавшего в развороченном теперь шифоньере своей очереди на шитье; кто видел, как, отвернувшись к стене, стоит уже немолодой широкоплечий мужчина, пережидая, пока исчезнет в горле застывший комок, а потом только говорит сдавленно: «Ничего, дело наживное», — а маленькая девочка тем временем вырывается из рук соседки, чтобы крикнуть в коридор: «Мама, не плачь, мама, не надо!» — тот не может уже никогда спокойно и равнодушно слушать или рассказывать о ворах, о кражах. Он не может не ненавидеть людей, несущих горе труженику; и если он работает в уголовном розыске и помощь людям стала его профессией, он не сможет думать ни о себе, ни о своей семье, пока не найдет преступника...

Карату никак не удавалось взять след, он пробегал метров пятнадцать, кружился на месте, останавливался, и все повторялось сначала. Проводник нервничал.

— Морозов, — крикнул ему Егоров, — не торопитесь!

Наконец, взяв след, Карат миновал то место, где он начинал кружить, и свернул к скверу. Морозов, а за ним Барков мелькнули между невысокими кустами шиповника. Люди на скамейках повернули головы в их сторону. Егоров и Гуреев разошлись по соседним подъездам, а остальные занялись осмотром квартиры. Вскоре вернулся Барков: Карат вывел на шоссе и потерял след.

Ратанов позвонил по телефону в отдел: никому не отлучаться — будет работа.

Вскоре Гуреев и молодой парнишка из оперативного отряда уже стояли у выхода на перрон, присматриваясь к уезжавшим пассажирам. Гуреев небрежно поглядывал вокруг поверх полуразвернутой газеты, а его молодой напарник, прислонившись к ограде, бросал вокруг пристальные, подозрительные взгляды, приводившие в трепет видавших виды станционных носильщиков.

Где-то на автобусных линиях работала группа Тамулиса.

Периодически все связывались по телефону с дежурным. Сначала от Ратанова поступил запрос установить, где куплен автобусный билет № НП 5664321, — его нашли в прихожей. Тамулис, звонивший с другого конца города, из диспетчерской, несколько раз просил повторить номер.

Около двадцати часов дежурный сообщил: на боковой стенке шифоньера эксперту удалось обнаружить отпечаток боль-

шого пальца, вполне пригодный для исследования. Кроме того, стало известно, что преступник курил сигарету «Прима».

Вернувшись в отдел, эксперт заперся в своем кабинете. Это был уже немолодой опытный работник, страстный филателист, человек с устоявшимися привычками и странностями. Ратанов ждал его заключения у себя в кабинете, заказав телефонный разговор с начальником уголовного розыска дорожного отдела.

Эксперт мог войти в любую минуту и, бросив на стол лист бумаги с черными, окрашенными типографской краской узорами папиллярных линий, просто спросить Ратанова: «У тебя спички есть?» — и, закурив, добавить: «А со следами вот так — берите такого-то — он!» Потом — у него такая манера — он обязательно заговорит о чем-то своем, постороннем, незаметно, искоса поглядывая на Ратанова.

Время от времени Ратанову звонили оперативники.

— Автобусный билет в городе не продавался.

— Не может ли потерпевший приехать на вокзал?

— У Фогеля появились деньги, он находится у Рыжей...

К двенадцати часам ночи в отделе опять стало людно — все собрались наверху у Ратанова.

Эксперт тоже вошел к Ратанову.

— Ничего нет... Не подходят...

Ратанов ждал Баркова — он все еще был в таксомоторном парке.

Наконец приехал Барков: днем один из таксистов высадил пассажира на углу Наты Бабушкиной и Карьерной — среднего роста, черноволосого, в черном костюме, в сапогах...

— В сапогах, — повторил Барков.

— Подумаешь, — сказал кто-то, — в нашей стране выпускают ежегодно сотни тысяч пар сапог.

— А я ничего не говорю. Это ты говоришь...

— Где он посадил пассажира? — спросил Ратанов.

— В центре.

— А куда просил отвезти?

— Сказал, что покажет. Это было во втором часу дня.

— Все запомнили приметы? — спросил Ратанов. — Может, это тот, кто нам нужен.

Снова позвонил дежурный — в роще около вокзала сторож вневедомственной охраны увидел двух подозрительных с вещами... А потом еще: в лесочке у ипподрома, на другом конце города, обнаружен пустой чемодан.

Отдел снова опустел. Егоров со своей группой ездил на вок-

вал и разбирался с задержанными, проверял вещи, потом отпустил всех и остался ждать Ратанова.

Преступник был опытен — единственная примета, по которой его знал теперь весь ОУР, — большой коричневый чемодан с двумя замками, оклеенный изнутри зеленой бумагой лежал в кустах метрах в двухстах от ипподрома, а преступник с вещами скрылся.

— Это третья аналогичная кража, — сказал Ратанову Егоров, когда тот вошел в дежурку, — правда, две были в прошлом году.

— Ты считаешь — Даличский проезд...

— Да. Суриковых и на Советской, февральскую...

Домой они пошли пешком.

— Все равно, четыре часа спать или четыре с половиной, — сказал Егоров. — Ты хорошо спишь?

Они как раз проходили мимо санчасти.

— Нет, ворочаюсь... А днем вдруг кажется — сейчас усну. Если есть возможность, бросаюсь на диван, сплю как убитый. А просыпаюсь, смотрю на часы — прошло четыре минуты.

— Надо в санчасть сходить...

— Обрати внимание, Сергей, у нас нераскрытые квартирные кражи всегда были в одно время с кражами из магазинов.

На реке завыла пароходная сирена.

Свежий ночной ветер прошелестел по невидимым в темноте верхушкам деревьев. Ратанов прислушался. Он совсем не устал. Казалось, что мозг никогда не работает так четко, легко и экономно, как в ночные часы, когда на улице свежо.

— Провожу тебя, — сказал Ратанов.

Они дошли до двухэтажного деревянного дома, где на втором этаже, в квартире Егорова, горел свет.

— Может, угостить на ночь, чтобы лучше спалось? — спросил Егоров. — У меня есть...

— В другой раз... Ну, давай!

7

И весь следующий день был таким же длинным, тяжелым и утомительным. Он начался для них в семь часов утра с тщательного и, как потом выяснилось, бесполезного осмотра территории ипподрома, где был найден чемодан, и соседнего лесопарка имени Первой маевки. Утром было пасмурно, небо затянуто серыми, слепыми облаками. Лесопарк тянулся поло-

сою километра на четыре, местами заболоченный, темный, заросший папоротниками и осокой.

— Необъятны пространства нашей Родины, — невесело острил Барков. — Когда на крайней восточной точке страны наступает утро, у нас в Ролдуге уже... идет дождь.

Они прошли лес дважды, туда и обратно, всем составом отдела, вместе со следователями, участковыми уполномоченными, дружинниками. На это ушло более пяти часов. Прямо с ипподрома группа Егорова уехала на участок. Шофер такси, которого накануне отыскал Барков, весь день провел с Гуреевым в городе, разыскивая в автобусах, на набережной, в центре и на вокзале своего черноволосого пассажира.

Только Тамулиса Ратанов послал на вокзал, не забывая о деле Варнавина. С помощью работников линейного отделения милиции он должен был узнать как можно больше о железнодорожном билете Варнавина, послать необходимые запросы, побеседовать с работниками вокзала. Впрочем, Ратанов его не ограничивал.

Заявление о новой квартирной краже поступило уже после часа ночи, минут через пятнадцать-двадцать после того, как все разошлись по домам. Кто-то словно поставил перед собой задачу — не дать уголовному розыску ни одной свободной минуты времени. Из квартиры инженера на Банковской улице даже не было ничего взято — только взломаны замки входной двери, платяного шкафа и секретера.

На место происшествия приехали около двух часов ночи и до половины пятого, включив все осветительные приборы, имевшиеся в квартире главного инженера мебельного завода, осматривали каждый сантиметр пола, дверей, стен, осторожно передвигая вещи.

Тамулис вместе с проводником розыскной собаки пробежал с километр по пустынным улицам, пока на этот раз уже Рогдай не стал совершенно откровенно демонстрировать свою незаинтересованность в дальнейшем преследовании.

На лестничной клетке Барков разговаривал со встревоженными женщинами из соседних квартир, зябко поеживавшимися в накинутых наспех халатах. Они посторонились, пуская Тамулиса в квартиру.

На этот раз эксперту не повезло: все отпечатки пальцев, обнаруженные в квартире, представляли собой мазки, непригодные для экспертизы.

Преступник был опытным и хладнокровным. В квартире инженера в большом густонаселенном доме он провел около часа, принял душ, поужинал. Здесь он тоже курил сигареты.

— Обязательно найдутся очевидцы, — говорил в машине Барков, прижимая пальцами висок, где время от времени словно постукивал маленький молоточек.

— И все-таки он не живет постоянно у нас в городе, — сказал Ратанов.

— На той краже он мог нарочно подбросить автобусный билет из другого города, чтобы нас ввести в заблуждение.

— Нет, — ответил Ратанов, — чтобы подбросить автобусный билет из другого города, нужно его иметь.

Домой в эту ночь они не пошли. Через два часа вставать снова. Еще до того, как жители соседних домов уйдут на работу, нужно было успеть поговорить с каждым из них. Поэтому они устроились в ленинской комнате.

— Слушай, Герман... — заговорил Тамулис, подкладывая себе под голову подшивку «Комсомолки». — Что, по-твоему, главное при задержании?

— Твердость, — ответил нехотя Барков, — твердость и смелость.

— А по-моему, убежденность в своей правоте. А что бы ты сейчас больше всего хотел?

— Чтобы ты дал мне поспать...

Тамулис не обратил внимания на шутку.

— Я бы хотел, чтобы мы завтра раскрыли эти кражи и вернулись к делу Андрея...

Они уснули, прежде чем Ратанов, относивший протокол осмотра дежурному, зашел к ним, в ленинскую комнату.

Барков тяжело храпел, скрючившись на узком диване. Тамулис что-то бормотал во сне.

Ратанов прикрыл форточку и спустился в дежурку.

...Первая машина с оперативниками и участковыми уполномоченными выехала в начале восьмого часа, за ней отправлялась вторая. На близлежащие участки сотрудники уходили пешком. Шумели мотоциклы, кто-то по рации монотонно вызывал «Воркуту-3».

У дежурки стоял Тамулис. Ратанов оставлял его для работы на железнодорожной станции.

— Вы все же интересуйтесь, есть ли такая кличка — Черень!

Наконец в отделе никого не стало.

В одиннадцать часов дня в горотделе появились два молодых человека. Оба они видели преступника: один — с балкона,

когда тот входил в дом, второй стоял с преступником рядом, даже прикуривал от его сигареты.

— Свидетелей у нас достаточно, — сказал Ратанов Егорову. — Теперь нужно найти художника, который по показаниям свидетелей воссоздаст нам приблизительный портрет преступника — робот!

Настроение у работников розыска заметно поднялось.

А в двадцать минут третьего, после обеденного перерыва, в отдел буквально ворвался обычно спокойный и невозмутимый Тамулис. Никому ничего не объясняя, он пробежал в кабинет к Ратанову.

8

Второй допрос Волчары поначалу ничем не отличался от предыдущего, только отвечал Волчара еще короче и с еще большими паузами.

Он сидел на стуле в трех шагах от стола, спокойный, невозмутимый, и смотрел вокруг без любопытства, равнодушными оловянными глазами.

— Вы билет на поезд покупали в кассе? — спокойно спросил его Карамышев.

— Какой билет? — Он словно думал совсем о другом и не сразу понимал вопросы.

— Когда ехали из Москвы... Вот этот.

Карамышев показал ему картонку билета.

— В кассе.

— Задолго до отхода поезда?

Волчара молчал.

— Задолго до отхода поезда, Варнавин?

— Вроде нет.

— Как вы доехали?

— Вроде благополучно.

— Встречал ли вас кто-нибудь?

— Нет.

— Куда вы пошли сразу?

— Домой.

— Заходили вы в камеру хранения за вещами? — спросил Ратанов.

Варнавин отрицательно качнул головой.

Несколько минут длилась пауза, пока Карамышев заполнял протокол допроса. Потом дал его в руки Варнавину. Волчара читал не торопясь, часто возвращаясь назад, к уже прочитанному. Наконец, так же не торопясь, вывел собственноручно: «Записано верно и мною лично прочитано. Варнавин».

— Между прочим, Варнавин, ваш билет в общей кассе не продавался, — заметил Карамышев, — его продали в агентстве.

— А может, в агентстве. Я-то Москву не знаю...

— Точнее, в подмосковном пансионате, отдыхающим.

Варнавин молчал.

— Мы вам еще покажем человека, который приехал по этому билету из Москвы.

Ни звука.

— Свои вещи вы сдали в камеру хранения за шесть дней до приезда сюда...

Молчание.

— Билет я мог купить с рук... Сейчас не помню. Голова устала. Билеты в поезде отбирают, и проводница могла мне дать чужой билет. Ошиблась. Могло так быть? Варнавиных по стране — тыщи! Может, кто-нибудь из них и приезжал в город, и сдавал вещи в камеру хранения. Только не я. Это все еще надо проверить. Ну а если все это и подтвердится, тогда что? — Это был уже не притихший, невозмутимый Волчара. Он говорил то, что давно уже продумал, не говорил, а кричал, громко, низким голосом, и губы его кривились и плясали в бессильной ярости. — Тогда что? Тогда, значит, именно я совершил преступление? А свидетели у вас где? Где доказательства? Вам дело надо списать? А мне — в тюрьму? Повыше вас есть начальство! Мое преступление небольшое — только попытка. Кончайте его и передавайте в суд! Все!

— Кричать не надо, — посоветовал Ратанов, — мы народ пугливый, можем разбежаться...

— Дело ваше, — сказал Волчара тише, но снова стать тихим и безучастным ему уже больше никак не удавалось.

— Но с какой целью вы все это делали? Камера хранения, билет? — спросил Карамышев.

— А это я вам скажу при окончании следствия, когда ознакомлюсь со всеми материалами дела в порядке двести первой статьи Уголовного кодекса...

Хотя Ратанов и Карамышев допрашивали его опять в кабинете Альгина, Ратанова и здесь одолевали телефонные звонки. И по этим звонкам, по коротким, осторожным ответам Ратанова Волчара быстро догадался, что в городе происходят какие-то неприятные для них события и заняты они, к счастью, не им одним.

Когда Варнавина увели, Карамышев сказал, но не так уж звонко и радостно, как после первого допроса:

— Вот это рыба-рыбина!

— Герман! — Ратанов поднялся из-за стола навстречу Баркову. — По моим данным, группа ребят из дачного поселка отдыхала в Клязьминском пансионате. Надо установить этих ребят, проверить, не отдавал ли кто-нибудь из них на вокзале железнодорожный билет Варнавину или его друзьям.

И вот Барков — в кооперативном дачном поселке. Кругом маленькие деревянные теремки, садики с фруктовыми деревьями, чистые, аккуратные заборчики из штакетника. На верандах сидят молодые женщины в фартуках, юноши в джинсах. Варят варенье, принимают соседей, играют в бадминтон. Под деревьями мелькают белоснежные детские панамки.

На пятой линии тянет гарью, кто-то окуривает деревья. Через дорогу навстречу Герману идет молодая женщина в кокетливом хлорвиниловом фартучке поверх цветного сарафана. Она с удивлением смотрит на Баркова, на его синий жаркий шевиотовый костюм и галстук.

Дойдя до перекрестка, Герман снимает галстук, расстегивает сорочку, кладет пиджак на руку.

Иногда он спрашивает встречных:

— Не знаете, где здесь живут ребята? Они в июне приехали из дома отдыха.

— Спросите в шестьдесят четвертой даче, — подумав, советует какой-то парнишка в очках, — у волейбольной площадки...

Он находит на седьмой линии шестьдесят четвертую дачу и из предосторожности идет сначала в соседнюю. Ему навстречу с террасы спускается девушка в черном купальнике, рядом с ней лохматая шотландская овчарка колли.

— Я был где-то здесь в прошлую субботу, — Герман, поздоровавшись, объясняет, — но не помню, в какой даче... Кажется, вот в этой... И оставил магнитофонную пленку.

— На этой даче вы быть не могли, — улыбается девушка, — здесь живут престарелые муж с женой. Может, там?

Она показывает через дорогу.

— Помнится, парни говорили, что ездили отдыхать под Москву, в какой-то дом отдыха...

У девушки приятное загорелое лицо, руки с выгоревшим седым пушком.

— Все ясно. Вы были в шестьдесят седьмой даче. Там живут ребята-студенты. Они действительно в июне ездили в пансионат под Москву. Вон та дача... Найдете сами?

Шотландская овчарка смотрит на Баркова неприязненно, ворчит.

— Джери! — укоризненно говорит ей девушка. Собака умолкает и подозрительно косится на Германа.

Девушка и собака наблюдают, как он закрывает за собой калитку и идет по улице. Потом они возвращаются на террасу. В угловой даче заводят магнитофон. Чистый стереозвук доносит тихий, чуть звенящий ход каравана. Не спеша, монотонно бредут по песку животные, тоскливо поет погонщик...

На шестьдесят седьмой даче записка: «Буду в полночь».

Когда Барков вернулся в отдел, Тамулиса еще не было.

Герман предупредил дежурного и снова уехал — в онкологический диспансер: рецепт, выписанный Волчаре на пенициллин, так и оставался загадкой.

Барков к этому дню уже обошел главных врачей и заведующих больницами, аптеки, всех старых специалистов. Теперь он встречался с молодыми врачами. В окошке регистратуры ему посоветовали поговорить с Фелицатой, оказавшейся, несмотря на свое древнее имя, молоденькой застенчивой девушкой. Посмотрев на рецепт, она, глядя Баркову куда-то между носом и подбородком, негромко сказала:

— Это Сашка Урин писал, практикант. Он начал практику в первой больнице, а потом несколько дней был на практике у нас.

— Вашу руку, доктор, — восхищенно произнес Барков. — Спасибо.

Рука юной Фелицаты оказалась неожиданно жилистой, а пожатие довольно крепким.

Этот последний день августа был для него самым удачным за все лето. Случилось так, что именно на эти дни Урин приехал в город к отцу и уже примерно через час сидел в приемной дежурного автоинспектора, куда его вызвал Барков: брат Урина гонял на мотороллере, не имея прав.

Урин сидел на диване, высокий, на вид какой-то очень «свой», доступный, с открытыми светло-серыми сообразительными глазами. Его глаза быстро следили за всем, что происходило вокруг него, и казалось, что он сразу схватывает и разгадывает больше, чем ординарный свидетель. Он приехал в милицию на мотороллере и теперь поигрывал защитными очками и щегольским дымчатого цвета беретом, снисходительно поглядывая вокруг.

Барков и по его просьбе Егоров дважды проходили по коридору мимо кабинета автоинспектора, чтобы еще раз взгля-

нуть на Урина и решить, с кем Баркову придется иметь дело. Потом у Баркова появилась одна идея.

В нижнем ящике его стола давно уже лежал возвращенный Гуреевым однотомник Шейнина. Он вынул книгу, нашел рассказ «Ночной пациент» — о враче, оказавшем первую помощь раненому бандиту, заложил его листком бумаги и в очередной раз, проходя мимо Урина, тоном гостеприимного хозяина сказал:

— Придется еще минут десять посидеть. Вы не спешите?

— Нет, — сказал Урин, — десять минут можно.

— Могу вам дать пока почитать... Хороший рассказ.

Взглянув на название рассказа, Урин чуть заметно вздрогнул, но потом спокойно вернул книгу Баркову.

— Не читал. Честно говоря, не люблю такие рассказы...

— Я тоже, — признался Барков, — я больше люблю научную фантастику. У меня, — он помедлил, — есть к вам небольшой разговор. Пойдемте ко мне, пока автоинспектор придет.

Урин коротко вздохнул и пошел за Барковым.

— Дело такого рода, — сказал Герман, пододвигая Урину стул, — у меня ваш рецепт.

— Какой рецепт?

— Это ведь ваша подпись? — Барков протянул рецепт, обнаруженный у Варнавина.

— Моя.

— Расскажите, кому вы выписали его и в связи с чем.

— Не могу себе представить.

— А вы постарайтесь вспомнить.

— Мне нужно посмотреть карточку больного...

— Этот больной к вам через больницу не обращался.

— Тогда не помню.

Наступила пауза, которую Урин, видимо, не намеревался прервать первым. Пришлось снова начинать Баркову.

— Давайте не будем ссориться.

Урин пожал плечами.

— Надолго к нам?

— На недельку, к отцу...

— Послушайте меня внимательно. Этот пациент в больницу не обращался. Вы в феврале в больнице не работали. Может, он обращался к вам частным образом? Я не облздрав, не инспектор финотдела. Поговорим откровенно.

Урин посмотрел на часы.

— Не помню.

— Вот что, — сказал Барков. — Я поверил бы вам, если бы не знал, что пациентов у вас не так уж много...

Урин молчал.

«Пожалуй, это как раз тот случай, когда чем больше аргументов, тем хуже, — думал Барков, — нужно менее официально...»

— Ты на Колхозной давно живешь?

Вошел Тамулис. Он несколько минут слушал этот разговор, потом взял карманный фонарик и от нечего делать стал его разбирать: на сегодня его рабочий день закончился. Он вывинтил ручку, высыпал на стол батарейки и стал копаться в корпусе. Герман в это время рассказывал явно скучавшему Урину об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Он снова перешел на официальный тон.

Тамулис поставил батарейки на место, завинтил ручку и щелкнул выключателем. Лампочка не загоралась. Тамулис еще дважды разобрал и собрал фонарик. Света не было. Урин искоса поглядывал на его манипуляции с фонарем. Потом Баркова вызвал к себе Егоров, и Тамулис остался с Уриным. Он снова вынул батарейки.

— Вы нажмите там чем-нибудь снизу вверх на пластинку, — сказал вдруг Урин.

Тамулис передал ему фонарик.

— Где?

Они провозились с фонарем минут десять. А когда лампочка наконец зажглась, невольно рассмеялись — все дело было в парафиновой смазке батарей. Тамулис вытащил из кармана сигареты.

— Волчару давно знаешь?

Урин удивился:

— Какого Волчару?

— Ну, которому ты рецепт написал. Кто он тебе?

— Мне он никто. Я его, в сущности, и не знаю.

— Чего же ты тянешь?

— Тут с другим связано, с личным, — Урин поднял на Тамулиса свои светло-серые большие глаза, и Тамулис вдруг подумал, что молчание и нежелание отвечать Баркову дались Урину совсем не так легко, как тот думал. — Я потерял документы. А может, их у меня просто вытащили в магазине вместе с бумажником. Денег в бумажнике не было — одни документы: паспорт, комсомольский, студенческий. Конечно, настроение тяжелое: отец болеет, а тут — сразу все документы. Но я никому ни слова, ни в милицию, ни в райком. Некрасивая история. Я и сейчас поэтому не хотел говорить...

Вошел Барков, сел в сторонке. Урин повернулся к нему.

— И вдруг приносят домой. Один мужчина нашел и принес. И говорит: «Раз ты медик, услужи тоже: к о р е ш у меня заболел...» Ну, я с радости и разговаривать не стал — на мотороллер, он сзади. Приехали к его другу. Поздоровались. Друг лежит, закрыт одеялом по пояс. Тот, который со мной приехал, говорит ему: «Показывай, не бойсь!» Он откинул одеяло — на голени повязка, нога вспухла. Я посмотрел: рана касательная, огнестрельная, с близкого расстояния... Судебную медицину я знаю. Я опять на мотороллер — в аптеку. Вернулся, сделал обработку, укол... Выписал пенициллин... Вот этот рецепт.

— Не спрашивал, что с ним?

Барков поднялся и пересел к столу.

— Они говорили — на охоте, хотели лося шлепнуть. Поэтому он и в больницу не обращался.

— Рана серьезная?

— Да нет. Пустяки, зажила через несколько дней. Как он только умудрился так выстрелить — вдоль ноги?

Тамулис подал Урину фотоальбом.

— Этот, — сказал Урин, увидев фотографию Волчары. — Только он тогда небритый лежал, желтый...

Фотографии второго в альбоме не было.

— Какой он из себя, тот, который привел к больному?

— Черный, высокий, в сапогах...

— Очень высокий?

— Нет, ниже меня.

— Значит, черный, среднего роста, в сапогах... Телосложение какое?

Барков вытащил из альбома несколько неподклеенных фотографий, достал еще одну из кармана пиджака, показал их Урину.

— Вот этот похож, — сказал Урин.

На столе лежал робот *, изготовленный художниками...

— Пошли к Ратанову, — сказал Барков.

Тамулис крепко стиснул локоть Урина.

...Еще утром им казалось, что сделано уже все, что дальше дороги нет, что они совсем выдохлись, заблудились. Но маленький, еле заметный огонек блеснул вдалеке. Что это? Пламя далекого костра, деревушка? Или просто так померещилось переднему, когда он перекидывал тяжелый рюкзак с од-

---

* Р о б о т — в данном случае портрет разыскиваемого человека, составленный по систематизированным описаниям свидетелей.

ного плеча на другое и случайно поднял голову? Но уже бодрее и легче стучат сапоги, и рюкзак не так тянет плечо...

— Значит, кражи из квартиры связаны с другом Волчары, — медленно, словно боясь спугнуть свою мысль, сказал Ратанов.

— Возраст, одежда, — подхватил Тамулис радостно, — приметы!

— Судя по всему, — сказал Егоров, — Волчара был ранен в день кражи из универмага, а так как такое совпадение само по себе подозрительно, возможно, что оба факта связаны между собой.

— Хорошо ли осмотрели тогда универмаг? — спросил Ратанов.

Гуреев поднялся:

— Осматривал и я и следователь, в присутствии майора Веретенникова...

— Извините, — сказал Ратанов. — Тамулис, срочно книгу суточных рапортов от дежурного. Посмотрим, что у нас еще было тогда за сутки...

— Я помню тот день, — начал Тамулис, — больше ничего не было.

— Не ленись, — Барков нацелился на освобождающееся на диване место, — тащи книгу...

— Барков, — сказал Ратанов, — позвони дежурному по области, узнай, что у него было в тот день...

Тамулис и Барков вышли.

В тот морозный февральский день по городу и по области других происшествий зарегистрировано не было.

— Скорее всего это случайный выстрел во время или после кражи, — негромко сказал Егоров. — Раньше, я помню, Варнавин ходил на кражи с пистолетом.

— Завтра мы тщательнейшим образом осмотрим универмаг, — безапелляционно произнес Ратанов. — Я думаю вот о чем: не опознает ли этого робота свидетель Сабо? Представляете: универмаг — убийство — квартирные кражи...

Гуреев, несмотря на поздний час, сидел с тестем на кухне. Спать не хотелось.

— Веретенников под Ратанова копает. Если его снимут, кто остается? Я да Егоров, ну и мальчишки. Все они недавно пришли. Веретенников — за меня, Шальнов — тоже. Могут, правда, заставить на следующий год пойти в высшую школу... Это ничего...

Он налил себе настой чайного гриба, и рот обожгло кислотой. Видимо, жена забыла добавить сахару. С минуту следил, как колышется в банке рыхлая масса.

— Джалилова посадили, а он, как выяснилось, у Баркова на квартире бывал. И Барков к нему ходил. Шальнов говорит: «Будет служебное расследование. Как только Джалилова осудят — здесь и завертится!»

— Смотри, Коля, не упусти, — сказал в это время тесть, недавно ушедший на пенсию, — у нас в дивизии был такой случай...

«Мальчишка он все-таки! — подумал Гуреев о Ратанове. — Главное в нашем деле — не рыпаться!»

9

Приказав никому не отлучаться, Егоров сидел в кабинете Ратанова и писал. Из оперативно-технического отделения принесли еще сто пятьдесят фоторепродукций робота. Теперь все знали, кого искать. Егоров нервничал и время от времени поглядывал в окно, хотя Ратанов никак не мог появиться из внутреннего дворика. В час дня ребята пошли обедать. Егоров остался один и сидел, задумчиво глядя поверх вороха лежавших перед ним фоторепродукций.

Позвонил Веретенников:

— Что вы там забыли в универмаге? Зачем сейчас этот повторный осмотр? Заниматься нам нечем?!

— Я выполняю приказ Ратанова.

Ратанов появился в начале третьего часа. Он был на приеме у начальника управления по вопросу о Джалилове.

— Машина будет?

— Все в порядке, — ответил Егоров. — Счастливо провести осмотр...

Егоров вышел, ни о чем не спросив Ратанова. Он и так понял все по спокойному лицу капитана.

Оперативники садились в автобус, и каждый несколько раз подпрыгнул на упругом кожаном сиденье — линейка только что вернулась из ремонта. Если бы не красная полоса, опоясавшая синий кузов, можно было подумать, что они собираются на экскурсию.

— Давай! — сказал Ратанов, садясь в машину последним.

Минут через двадцать автобус въехал прямо во двор универмага.

Директор провел их в основной склад — длинный туннель, протянувшийся под всем магазином, с маленькими решетча-

тыми отдушинами вместо окон и огнетушителями, развешанными над ящиками с песком через каждые несколько шагов. На стеллажах вдоль стен лежал товар на сотни тысяч рублей: часы, фотоаппараты, рулоны ткани, костюмы, пальто; поблескивали полированными гранями телевизоры и радиоприемники, тускло светился хрусталь.

Сам Ратанов осматривал стеллажи с тканью; вместе с заведующей секцией он снимал и откладывал в сторону, пробираясь к стенам, тяжелые мохнатые рулоны разноцветного драпа, шерсти, сукна, шелка и еще десятков красивых материалов с мудреными, звучными названиями. Оставила ли здесь свой след маленькая свинцовая горошина?

Шаг за шагом. Сантиметр за сантиметром...

Справа и слева так же методично двигались вдоль стен другие оперативники, молча, медленно, сосредоточенно. И по мере их продвижения вперед вдоль стен гасла надежда, что Варнавин получил ранение именно здесь, в магазине.

— Игорь Владимирович! — крикнул вдруг Барков. — Сюда!

И хотя Барков звал одного Ратанова, к нему со всех сторон бросились уставшие люди. Барков с высоко засученными рукавами стоял у полупустого стеллажа с алюминиевой посудой. Справа и слева от него громоздились кастрюли.

Потом, в новогодней стенгазете его изобразили в виде сфинкса, лежащего на перевернутом оцинкованном корыте между пирамидами кастрюль...

Барков гордым жестом художника, представляющего свой шедевр публике, указывая на нижний ряд. Стенка кастрюли, чуть высовывавшейся сбоку, имела небольшое сквозное отверстие.

Это был след пули.

— Фотоаппарат, — сказал Ратанов. И пока Тамулис нес аппарат со вспышкой, все долго жали перепачканные пылью руки Баркова.

Стреляли, видимо, с противоположного угла, почти с пола.

Все передвинулись в этот дальний угол. Здесь тоже лежали ткани, которые были уже осмотрены Гуреевым. Теперь все собрались в метре от стеллажа, привычно не дотрагиваясь ни до чего руками, предоставляя Ратанову, как самому старшему и опытному, первому высказать свое мнение.

— Давай еще раз, и очень внимательно.

Гуреев напряженно следил за Ратановым.

— Все в порядке, — сказал Ратанов, положив на пол рядом с собой последний рулон ткани.

Гуреев облегченно вздохнул.

Под нижней полкой стеллажа, отстоящей от пола сантиметров на сорок, стенка была деревянная.

— Ну-ка, ну-ка! — закричал Тамулис и, пока кто-то бегал за топором, выбил рукой эту деревянную переборку, державшуюся не особенно крепко. Доски отскочили, и из образовавшегося квадратного отверстия дохнуло чем-то болотным, застойным.

— Здесь должен быть склад стеклянной тары аптекоуправления, — объяснила заведующая, — там бутылочки, баночки, мензурки...

— Барков! — позвал Ратанов. — Вызови управляющего складом.

Потом они курили в маленькой подсобке, пока не приехал пожилой, страдающий одышкой управляющий. В складе стеклянной тары, забитом до самой двери ящиками с аптечной посудой, они подобрали красненькую коробочку от часов «Весна» и взяли горсть стружек с бурыми коричневыми пятнами.

Ратанов стал писать протокол повторного осмотра места происшествия. Первый, утверждавший, что преступник проник в помещение через одну из отдушин, превратился теперь в пустую, ненужную бумажку — свидетельство чьей-то нерадивости.

Тамулис, заглядывавший через плечо Ратанова в протокол, глубоко вздохнул.

— Ты что? — спросил Ратанов.

— Андрей и мертвый раскрывает преступления...

«Волчара вошел сначала в склад аптекоуправления, открыв его подобранным ключом. Он заранее знал, что там, где склад аптекоуправления, расположенный в нижнем ярусе старых купеческих рядов, примыкает к складу универмага, есть одно место, в котором капитальная стена отсутствует, — небольшое, забитое досками отверстие сантиметров пятьдесят на пятьдесят. Давно, сразу после войны, здесь выводили наверх печную трубу. Волчара поднялся по ящикам с аптечной посудой к потолку, без труда оторвал висевшие на ржавых гвоздях доски и пролез в склад универмага. Когда он пролезал сквозь узкое отверстие, вернее, когда он выбирался из склада универмага, — думал Ратанов, — у него, по всей вероятности, и произошел случайный выстрел, иначе, раненный, он оставил бы следы крови где-нибудь в помещении универмага. Пистолет наверняка был у Волчары в кармане брюк, старый, трофейный, иностранного производства, что-то вроде «фроммера», с давно уже расшатанным спусковым механизмом — такие

всегда стреляют неожиданно, в самых неподходящих случаях. Волчара задел им за доски, и пистолет выстрелил. Пока Волчара «работал», его соучастник сторожил снаружи, потом он помог раненому вору выбраться из склада и отправил его на такси домой. А для того чтобы сбить нас с толку, тот же соучастник — возможно, именно он и изображен на фоторoботе — разбил стекло и отогнул металлические прутья в отдушине универмага. Поэтому розыскную собаку и пускали с улицы и искали тоненького худенького подростка, который мог пролезть между отогнутых металлических прутьев отдушины».

— Хитер, — восхищенно сказал Гуреев.

— По-моему, он перехитрил самого себя. — Барков вытирал пыльные руки платком. — Я не думаю, чтобы так уж много людей бывало в складе аптекоуправления и знало про эту самую переборку. Зря старался.

— Когда мы будем проверять этих людей, — сказал Ратанов, — следует поинтересоваться, местные ли они или откуда-то приехали. Про таинственное письмо Волчаре не забыли?

— «Ури одова», «о постюмо»... Я его наизусть помню, — отозвался Тамулис.

— Нам во что бы то ни стало надо его прочитать.

— Я нашел еще одно место. Там этот жаргон знают как свои пять пальцев.

— Когда начнем разворачиваться? — спросил Гуреев, будто не он осматривал универмаг сразу после кражи и не он запутал все дело.

Оперативники засмеялись.

— Сегодня, — ответил Ратанов. — Возьмите списки рабочих склада аптекоуправления. Надо установить всех лиц, имевших доступ к складу.

После осмотра Ратанов вернулся в отдел. Позвонил Карамышев.

— Ну, как с универмагом?

— Очень удачно. Волчара случайно ранил себя именно там.

— Протокол составили? Сфотографировали?

— Не беспокойся.

— А у меня тоже сюрприз, — Карамышев помолчал, давая Ратанову время для всякого рода предположений. — Помнишь отвертку, которую Барков с Тамулисом привезли с лесоучастка?

— Из Шувалова? Помню.

— Так вот: это специальная отвертка, входившая в комплект лодочного мотора...

— И что?

— А мотор этот был похищен во время квартирной кражи в Ярославле.

— Здорово!

— Волчару мы припрем к стенке. Главное — найти соучастника.

— Сейчас привезут списки подсобных рабочих...

Неожиданно позвонил Шальнов:

— Скажи Баркову, пусть напишет объяснение о своих взаимоотношениях с этим... Джалиловым. Веретенников просил.

— По-моему, генерал разобрался с этим делом...

— Не знаю, Веретенников еще вчера звонил. И еще, Ратанов, управление спектакль откупило на завтра. Веди своих в театр. И сам будь обязательно. А то мероприятие сорвем... Я пойти не смогу: Веретенников предложил поработать с Волчарой...

Шальнов по привычке вздохнул: «Чертова работа! Преступления — раскрывай, культурное мероприятие — обеспечь...»

«Скорей бы Альгин приехал!» — подумал Ратанов.

10

В передней Герман нашел письмо от матери. Хозяйка положила его, как обычно, на самое видное место — у зеркала. Не снимая плаща, он прошел с письмом в комнату и, стоя у стола, разорвал конверт. Мать писала ему регулярно, через каждые два-три дня, уже в течение пяти лет, потому что теперь она была на пенсии и потому что, кроме Германа, у нее никого не было.

И, получая ее письма, он каждый раз вспоминал большую коммунальную квартиру в Ленинграде, с кафельной печкой, а потом с четырьмя газовыми плитками по четыре конфорки, и старые половики на перилах лестничной площадки, и черное потрепанное кожаное кресло, и свой письменный стол, залитый фиолетовыми чернилами.

Когда мать и сын живут вдвоем, то семьи как-то не получается. Вечерами он убегал к ребятам в коридор. Как это всегда бывает в больших домах, коридор был их театром, парком, спортивной ареной. Потом, когда они стали старше, уходили на Невский, к Женьке, на стадион, в читалку — куда угодно. Герман не умел оставаться вдвоем с матерью, когда за окном темнело и в квартире становилось тихо. Он уходил, а она безропотно оставалась одна.

Теперь в письмах она писала ему многое из того, что хо-

тела сказать тогда, но чаще просто просила беречь здоровье, не курить, есть каждый день первое. Иногда она присылала ему вырезки из газет с казавшимися ей остроумными фельетонами или с советами врачей. Советы он складывал на этажерку не читая.

В этом письме вырезок не было. Герман бросил плащ и пиджак на стул, лег на диван и стал читать письмо.

Мама писала, что видела Евгения. Он приезжал вместе с Ириной на «Москвиче» узнать, что слышно у Германа. Евгений блестяще защитил кандидатскую, Ирина еще больше похорошела, матери они привезли большой арахисовый торт. Они никогда не приходят к ней с пустыми руками. «А как твое здоровье? Выдали ли на осень хромовые сапоги? Не продавай их, носи сам, когда будет сыро... В Ленинграде несколько дней шли сильные дожди, а сейчас установилась чудесная погода; в сквере, где была бензоколонка, — выставка цветов, мы все по очереди там дежурим... Как поживает Андрюша Мартынов? Большой привет ему и всем друзьям и особенно Алику. Заедет ли его жена на обратном пути в Ленинград?»

Барков потянулся к столу и положил письмо на пустую бутылку из-под кефира. Потом снова лег на диван, засунув руки под голову.

«Нужно, пожалуй, зажечь свет, — подумал он, — и убрать со стола».

Кусты на улице совсем заслоняли небольшое окно.

Он закурил.

Выражаясь маминым языком, Евгений «успел», а он, Герман, в жизни «не успел», и Мартынов «не успел». Потому что Женька — кандидат наук, получил квартиру на Литейном, женат на самой умной и красивой девчонке с их курса, а теперь собирается плыть туристом вокруг Европы и учит французский язык. Андрея больше нет, а Герман... так... одним словом, «опер».

Из папиросы медленно текли две струйки дыма. Одна, голубоватая, поднималась к потолку; вторая, зеленая, мутная, тяжело опускалась к нему на рубашку. Он повернулся на бок, чтобы зеленая змейка дыма сползала на пол.

...Интересно, если бы тогда, сразу после окончания института, когда они всей тридцать второй группой сидели в «Севере» на Невском, если бы тогда провести такую викторину — предложить написать, что будет через пять лет с каждым из тех, кто сидит с ними за одним столом? И прочитать теперь... Мог кто-нибудь отгадать, кто из них станет следователем Прокуратуры Союза? Кто погибнет, как Витька Алпатов? Уди-

вился бы он тогда, узнав, что Спартак станет инструктором ЦК ВЛКСМ? Что Женька будет кандидатом наук, а сам он — оперуполномоченным розыска? Отгадать бы, конечно, он не мог, но, узнав, кто станет кем, не удивился бы.

Вопреки обычному объяснению большинства неудачников жизнь улыбается не дуракам и не тупицам. Скорее наоборот. Жан Родин, двоечник и нахал, которого сразу почему-то взяли в управление милиции, быстро вылетел оттуда. Каждый шел своим путем, как это у Лондона? «Каждый прав для своего темперамента».

...В прошлый раз он опять не встретился с Галей, и она больше не позвонила. Ей надоело, вероятно, безвылазно сидеть в общежитии, ожидая редких свиданий, на которые он к тому же не всегда мог вырваться. Надоело звонить по телефону и слышать вечные ответы: «позвоните позже — он занят», «он вышел», «он выехал», «он скоро будет».

Кто такая Галя? Простая девчонка, которая, прижавшись к нему на пристани, не вспоминает ни о Лорке, ни о Ван-Гоге, смущается даже тогда, когда ее приглашают к себе Роговы, и только смотрит на него во-от такими круглыми голубыми глазами и держится за руку. При всей своей демократичности комсомольского вожака-групорга Евгению и в голову не пришло бы влюбиться в такую девчонку... Для него такие девочки просто не существовали. А Герман все больше и больше думает о ней, она вызывает в нем чувство, которое испытываешь, когда внезапно в метро, на эскалаторе, увидишь чистые изумленные глаза маленького деревенского мальчика, завязанного до самого носа большим маминым платком. Сколько удивления и интереса в его взгляде!

Почему они дружили с Женькой? И почему все идет у них иначе? Может, просто старались смотреть раньше на все одинаково? Может, кто-то кривил тогда душой? Или сейчас?

Он встал с дивана, взял в руки письмо... Арахисовый торт... Плаванье...

Он никогда не привозил родителям Евгения торт. Ему и в голову не могло прийти привезти торт доценту Скарскому, а тому и в голову не могло прийти отпустить своего единственного сына на работу в Верхний Парюг...

Он должен завидовать Женьке?

Его непреодолимо тянет к трудностям, а Женьку нет. Такие разные они люди, и счастье у них совсем разное. И у Ратанова другое счастье, и у Егорова, и у других ребят. Есть, ви-

димо, какое-то высшее счастье в преодолении препятствий, недаром трудные времена вспоминаешь тепло, а легкие забываются. И это трудное счастье людей, таких, как Егоров, как Ратанов, каким был Андрей Мартынов, отличается от счастья Женьки, как Кавказский хребет отличается от Парюжских увалов, как Волга от Ролдуги.

«Мне не нужен арахисовый торт! — подумал Герман, доставая бумагу. — «Не успел» тот, кто идет всю жизнь по обкатанной дороге, кто не видел тех холодных ночей в лесу, когда они шли сто двадцать километров пешком на Сотомицу, когда казалось, что каждый идущий впереди тебя сгибается под тяжестью ковша Большой Медведицы...

Мама! Понимаешь ли, почему Женька с Ириной приезжают к тебе? Ведь их место здесь! Иногда, когда они сидят у себя на Литейном или на даче, они вспоминают университетские годы, и меня, и других... Нам-то они никогда не объяснят, почему так получилось... Женьке кажется пока, что он виноват передо мной, перед другими ребятами...»

«Что ты девочку мучаешь? — сказал как-то Егоров о Гале. — Смотри, как она изменилась!»

«...Может, через несколько дней или месяц в Ленинград заедет девушка. Ее зовут Галей. Это мой друг, мама! Покажи ей Ленинград. Она ничего не видела, кроме здешних мест. Покажи ей Эрмитаж и ту беседку между корпусами, где я играл, когда был маленьким. Все ей обязательно покажи...»

Барков вспомнил о странном объяснении, которое потребовал Веретенников, и снова закурил.

11

Арслана содержали в Калтусской тюрьме, в пятидесяти километрах от города. На допросы его привозили в автозаке, в одной из тесных, темных камер кузова с маленьким глазком, закрытым фанерной шторкой.

Сидя в этой маленькой тюрьме на колесах, он старался отогнать тревожные мысли. Так пловец, попав в открытое море, не должен думать, что под ним многометровая толща воды, холодной и молчаливой. Тревожные мысли сами лезли в голову, и незаметно он ловил себя на том, что снова переживает свой арест, напрасно бередит свои раны. Тогда он старался определить, с какой стороны от него находится кабина водителя, но сосредоточиться не мог и вновь отдавался своим мыслям...

Уже после первой встречи с Барковым он перестал считать

себя человеком с особенной судьбой, перестал чувствовать себя отверженным, одиноким. Когда Барков предложил ему поступить в профтехшколу, он согласился. Пришлось готовиться к экзаменам. Раза два к нему домой приезжал Барков, пил чай, разговаривал с Майей про «Тэсс из рода д'Эрбервилей», которую она считала самой лучшей и правдивой книгой на свете...

— Майя! — позвал как-то Арслан сестру, сидя за учебником по алгебре, когда Барков от них ушел. — Ты ведь в детдоме все это проходила, помоги...

Он хитрил, видел, что ей самой до смерти хочется взять в руки учебник и карандаш. С этого вечера, как только его маленький племянник укладывался спать, они садились за учебники.

— Может, нам вместе поступить? — как-то спросил он.

— Придумал тоже!

Был один вечер, Нурик спал, а они сидели за столом, накрыв абажур платком, чтобы свет не падал ему на лицо. Майя, взобравшись с коленками на стул, как любила когда-то делать их мать, решала задачку, покусывая кончик карандаша. В комнате было совсем тихо. Арслан на миг поднял голову и вдруг вспомнил, что все это уже было. Было в последнее лето перед войной. Отец и мать сидели вот так за столом, прикрыв абажур, а он, тогда еще мальчишка, который никогда не притрагивался к чужому, которому летом каждый день перед сном мыли ноги, лежал в кровати с белыми спинками...

Все! Все могло быть по-другому, если бы не война, если б он не связался с «добрыми людьми», если б кто-нибудь оттолкнул его от них, ведь он еще был совсем мальчишкой...

Арслан, отшатнувшись, стукнулся головой о стенку кузова — машина шла по ухабам...

Его арестовали в деревне у Коромыслова, с которым он вместе должен был сдавать экзамены. Это было самое унизительное. Пусть бы его взяли дома или на улице. Пусть Коромыслов узнал бы потом, придя в школу, что Джалилов законченный негодяй, туда ему и дорога. Но там, при сестре и матери Коромыслова, которые ни о чем не подозревали и с таким вниманием его слушали...

С того дня, когда он случайно встретил Волчару и решил, что Кораблик будет отомщен, он хитрил. В присутствии Волчары по-прежнему угрюмо валялся на диване, прятал учебники в чемодан. Майя тоже невольно была вовлечена в эту игру, хотя боялась Волчары.

Конечно, Арслану ничего не стоило просто выгнать его из

дому, но этого было слишком мало. Он заставил Майю каждый раз с приходом Волчары вынимать на стол все, что было в доме, бегать в магазин за вином, внимательно интересовался делами Волчары. Он угрюмо качал головой, когда Волчара с ненавистью говорил о ворах, которые отошли от «закона», работали, учились, женились. А сам жадно ловил каждое слово и еле сдерживал ликующую радость.

Ничего нечестного в своем поведении он не находил — просто он стал умнее и не хотел больше смотреть на мир глазами волчар.

Порой, когда Волчара уходил, Арслан нахлобучивал на глаза старую кепку, поднимал воротник и, жеманно прикладывая к нижней губе платок, обращался к сестре и Нурику:

— У меня, понял ты, руки, золотые по локоть...

Им нравились его представления. Они смеялись. И вместе с ними смеялся Арслан. Смеялся над тем, что совсем недавно было главным в его жизни. Главным и страшным.

Когда Волчара ночью заехал к нему на работу и сказал, что они пойдут сегодня на кражу и все уже готово — Волчара не вводил его в курс дела заранее, — Арслан хладнокровно позвонил Баркову и собирался после смены уйти домой, предоставив Волчару своей судьбе. Он так же хладнокровно сказал обо всем самому Волчаре, если бы знал, что от этого что-то изменится. Но он хорошо знал, что Волчара еще долго не бросит воровское ремесло и будет воровать и втягивать в это дело других, пока не убедится на своей шее, что ворам не *светит* ни на воле, ни в колониях, что времена действительно переменились.

Но если бы Волчара узнал, что в Барбешках их будут ждать, он отказался бы от этой кражи и сразу стал бы готовить другую. Все началось бы сначала.

В ту ночь Арслан пытался снова позвонить Баркову в конце смены, но Волчара и Гошка пришли раньше срока и чуть не застали его у телефона. Теперь он просто мог отказаться, сказать, что не пойдет, пока сам не убедится в том, что дело стоящее. Он уже хотел так и сделать, но Гошка опередил его:

— Здесь поточить негде? — Он вытащил финку, сделанную из напильника.

— Спрячь! — цыкнул на него Волчара.

Арслан удивился.

— Куда она тебе?

— А у Волчары вон пистолет.

Арслан не учел, что у Волчары может быть с собой ору-

жие. И еще он вдруг подумал о Гошке, которому Волчара может вручить пистолет, как вручил когда-то нож самому Арслану...

Автозак остановился. Сначала открылся замок наружной дверцы, потом на секунду приоткрылась фанерная шторка зрачка, наконец щелкнула задвижка. Блеснул свет.

— Выходи!

Выйдя из машины, он привычно сложил руки за спиной и, испытывая острый стыд перед проходившими по двору управления людьми, пошел к двери. Здесь тоже были люди, и старший конвоя громко и молодцевато крикнул:

— Освободите проход! Проводите арестованного!

Они пошли по лестнице на второй этаж. Команды старшего повторялись у каждого коридора, и Арслану казалось, что все смотрят на него, только на него.

Наверху старший поправил фуражку и ремень и, постучавшись, неловко переступил высокий порожек. Вышел из кабинета он через секунду и громко скомандовал:

— Перекурить!

Одна из машинисток заволновалась:

— У нас не курят!

— Отставить! — тем же тоном приказал старший.

Арслана допрашивали уже два раза — в основном о его взаимоотношениях с Барковым и их последнем телефонном разговоре. Сама кража и его откровенный разговор с Гошкой, когда Волчара убегал за машиной, Веретенникова не интересовали.

Несмотря на запрещение, Арслан тайком закурил, пуская дым сквозь согнутую ладонь к полу. Вторая машинистка, не говоря ни слова, открыла окно, и один из милиционеров конвоя по кивку старшего встал у окна. Из-за его спины были видны новые корпуса завода агрегатных станков, подъемные краны, разбросанные среди игрушечных красных кубиков корпусов на том, более низком берегу, где до последнего времени были только две старые деревянные церкви, магазин да несколько десятков деревенских изб.

В углу приемной, под потолком затрещал звонок, и секретарша прошла в кабинет. Через секунду вернулась:

— Вводите!

Джалилов уже привык к тому, что старший оперуполномоченный Веретенников, допрашивая, избегал смотреть в глаза подследственному. Не сделал он исключения и на этот раз.

— Прочтите и подпишитесь, — Веретенников по привычке заложил руку за китель и отвел глаза.

Арслан с секунду наблюдал за его мутными с желтизной белками, затем придвинул к себе отпечатанный на папиросной бумаге текст. Машинально прочел последнюю фразу — «изменить на подписку о невыезде». Свободен!

Непослушными пальцами коряво вывел свою фамилию.

— Смотрите в следующий раз, — сказал Веретенников, краем глаза наблюдавший за происходящим.

Джалилов вздохнул: и на этот раз его опять не поняли...

— В общем вести себя надо как положено... Вы свободны!

12

Егоров, наскоро побрившись и переодевшись в свой новый парадный костюм, ждал жену у входа в театр. Она должна была прийти прямо с работы.

До начала спектакля оставалось еще минут двадцать, но к двум ярко освещенным подъездам недавно реставрированного здания театра сплошным потоком шли люди, подкатывали машины. Работники прокуратуры и милиции, приехавшие на областное совещание из районов, явились в театр в форме, но было видно, что и они побывали в парикмахерских, долго и тщательно утюжили свои мундиры, перенося из номера в номер видавший виды гостиничный утюг.

Вера прибежала минут за шесть до начала, запыхавшаяся, красная. Новая модная прическа делала ее еще моложе. Разница в возрасте между нею и мужем была сейчас особенно заметной. Она сразу же схватила мужа за руку и потащила в вестибюль, к большому зеркалу, где теснилось уже несколько человек. Вынув из маленькой сумочки расческу, Вера что-то торопливо поправила в прическе и заставила причесаться Егорова. Он давно уже не был в театре, хотя каждый раз, возвращаясь со спектакля домой, давал себе слово не пропускать больше ни одной премьеры: ведь это не так уж трудно — найти время, чтобы сходить с женой в театр.

Наконец зазвенел третий звонок.

Действие пьесы происходило в Румынии, в годы войны.

Героиня — разведчица — танцевала на столе, неумело выбрасывая в сторону зрителей ноги, затянутые в слишком узкие галифе. Милиции всегда почему-то предлагают спектакли о милиции или о разведке. Считают, что им понятнее и интереснее.

Ратанова в театре не было, он собирался к Ольге Мартыновой.

Егоров увидел внизу Тамулиса — тот опоздал и теперь внимательно, не отрываясь смотрел на актеров. Он, видимо, воспринимал ситуацию на сцене всерьез и напряженно ждал, как развернутся события.

«Интересно, как он там один управляется, — подумал Егоров. — Если все будет хорошо, нужно завтра позвать их с Германом к обеду... Вера грибы приготовит...»

После антракта события на сцене достигли апогея: на званом ужине под аккомпанемент цыганских песен русский певец-белоэмигрант при всех заявил нашему разведчику, что он не тот, за кого выдает себя. Раздались выстрелы, затемнение, топот ног по сцене. Разведчику удалось бежать. Началась длинная любовная сцена.

Внезапно Егоров услышал торопливые шаги в коридоре: дверь ложи была приоткрыта. Вот скрипнула дверь в соседней ложе, и Егоров услышал, как кто-то негромко произнес его фамилию. Он встал и, тронув Веру за плечо, стал пробираться к выходу. Видимо, что-то произошло в горотделе.

В дверях возникла темная фигура. Прикрыв дверь, вошедший громким шепотом спросил:

— Майор Егоров не здесь?

— Тише! Самим неинтересно, так другим не мешайте!

— Егоров! — раздалось чуть громче.

Он узнал Тамулиса.

— Здесь! — Они вышли из ложи.

— Слышал? — рявкнул в коридоре Тамулис, хватая его за руку.

— Что? Говори быстрее!

— Слышал песню, которую цыгане пели в первом акте? — возбужденно и радостно, не отпуская его руки и заглядывая в лицо, спрашивал Тамулис.

К ним уже спешила билетерша.

— Граждане!

— Что же случилось?

— «Герав дурэдыр» — слова из того письма, что у Варнавина! Они же цыганские! Они означают «спрячь подальше»!

— Тише! Говори по порядку!

— Ратанов дал мне списки грузчиков склада аптекоуправления. Шесть лет назад там недолго работал один цыган по фамилии Николаев. Я сначала не обратил на него внимания. А сейчас, когда услышал песню в первом акте, я чуть со стула не упал. Слова-то, слова-то похожие! Я уже за кулисы бегал,

показывал письмо. И не «постюмо» там написано, а «костюмо»! Костюмы! Понимаешь?

В зале раздались аплодисменты и снова стало тихо.

Егоров понял.

— Что ты предлагаешь?

— А вдруг Николаев именно в эту минуту уезжает из города? Вдруг завтра уже поздно будет? А мы в театре сидим... У меня и адрес с собой! — Тамулис обеими руками зашарил по карманам.

От этой бессвязной речи Егорову стало жарко.

— Столько трудов положено...

«Не повезло», — подумал Егоров, вспомнив, что в театре он не один, а вслух спросил:

— А с машиной как?

— Возьмем у театра... чью-нибудь...

В зале снова раздались аплодисменты.

13

Рядом с шофером сидел Тамулис, сзади Егоров. Вера, которая чуть ли не со слезами уговорила их взять с собой на операцию, и проводник служебно-розыскной собаки Морозов без своего Карата. Тамулис обнаружил Морозова в кабинете администратора театра, когда прибегал туда звонить по телефону.

Незаметный, застенчивый паренек, каждую осень неизменно болевший воспалением волосяного мешочка ресниц, в просторечье — «ячменем», был в восторге от спектакля и переписывал себе в блокнот репертуар областного театра.

— Поедешь с нами! — не терпящим возражений тоном приказал Тамулис и, не давая ни секунды на размышления, добавил: — Быстро в машину!

На Морозова было жалко смотреть, когда он, захлопнув блокнот, бросая вокруг умоляющие взгляды, шел за Тамулисом.

Конечно, операцию можно было бы отложить на утро, но извечная профессиональная болезнь оперативников — «опоздать с задержанием» — взяла верх.

— Нужно осторожно узнать, дома ли Николаев. Но так, чтобы в случае его отсутствия никто ничего не заподозрил бы, — сказал Егоров. — В дом пойдут Тамулис с Верой. Слушайте, — он повернулся к шоферу, — у вас на каком сиденье ковер почище?

— На заднем.

— Возьмите с собой ковер. Предложите купить. Приметы преступника Алик знает по фотороботу. Мы с Морозовым подойдем к окну. Если на крыльце, когда вы будете выходить из дома, окажется камень или палка, значит, вам надо во что бы то ни стало вернуться назад, в дом. Значит, мы тоже сейчас войдем вслед за вами. Ясно?

Из-под колес на дорогу вылетали маленькие камешки. Они то и дело стучали по крыльям и диферу машины.

— Может, Вере Васильевне не ходить? — спросил Тамулис.

— Почему же? — Чувствовалось, что она ни за что не откажется.

Тамулис откинулся головой на спинку сиденья, в спокойное пружинящее тепло. Шофер включил радио.

— «Аппассионата», — обернувшись, шепнул Тамулис.

Николаев жил на самой окраине города.

— Где ставить машину? — спросил шофер.

— Вон у того дома...

Машина остановилась.

— Пошли, — сказал Егоров.

Они двинулись молча гуськом по узкой тропинке между какими-то заборами и кюветом. Егоров взял Веру за руку, помогая обойти канаву с водой.

Было тихо, но в домах еще не спали.

— Сюда, — шепнул Егоров, — и ни пуха ни пера!

Вера, а за нею Тамулис со сложенным вчетверо ковриком молча шагнули через высокий порог калитки во двор. Через минуту раздался стук, потом напевный женский голос:

— Вам ковер не нужен? Продаем по случаю отъезда.

Дверь скрипнула, на миг блеснул свет, и снова стало темно.

Егоров и Морозов подбежали к окну.

За столом, так близко, что, если бы не стекло, их можно было бы тронуть рукой, сидел старик цыган и с ним две женщины. Вера прямо на столе показывала им ковер. Еще одна женщина возилась у печки. Друга Варнавина, запечатленного на фотороботе, среди них не было.

Там, за стеклом, Вера внезапно покачала головой и стала сворачивать ковер. Видимо, не сошлись в цене.

Егоров и Морозов встали за крыльцо.

В доме заскрипела дверь, щелкнула задвижка в коридоре. Секунда, другая...

Тамулис вышел первым. Вот он на крыльце. Ищет ногой камень. Еще секунда.

— Слушай, отец, — где-то совсем рядом негромко сказал

Тамулис, — ковер — это пустяк... Мне Черень нужен... Дело есть.

Егоров с силой сжал плечо проводника.

— Черт бы его побрал, твоего Череня! Баро дромескиро! Явится в год раз, и трясись каждую ночь из-за него! Ушел он с этим...

— С кем?

— Ну, с высоким таким, здоровым чертом...

— А придет он? Вещи его здесь?..

— Какие у него вещи! Ты знаешь его или нет? Он, может, сегодня придет, а может, через год. Что ему?

Откуда-то, может, из соседнего дома доносились все те же захватывающие звуки «Аппассионаты».

Потом дверь захлопнулась. Умолкла музыка. Во дворе стало темно. Тамулис и Вера вернулись к машине.

— Я с Морозовым остаюсь, — поглаживая Альке руку, тихо сказал Егоров. — Ты поезжай к Ратанову. Теперь мы все знаем. Молодец. И захвати Веру. Про кого только он сказал «здоровый черт», похоже на Волчару, но Волчара в тюрьме?!

Веретенников тоже в театре не был.

В своем объяснении о событиях этого вечера майор Веретенников писал так:

«В половине восьмого вечера, выполняя отдельное поручение прокурора следственного отдела, я находился в служебном кабинете прокуратуры с арестованным Варнавиным. Конвоировавшие арестованного милиционеры находились в соседней комнате, чтобы не мешать допросу. Арестованный во время допроса сидел на стуле в трех метрах от двери и был отделен от меня столом и приставным столиком. Позади меня находилось окно кабинета и застекленная дверь на балкон второго этажа.

В поведении арестованного ничего подозрительного не отмечалось. На вопросы он отвечал охотно и сообщил ряд сведений, заслуживающих оперативного интереса.

В частности, Варнавин сообщил, что видел в городе некоего Зубарина, по кличке Зубр, располагающего огнестрельным оружием. За время допроса Варнавин встал со стула всего один раз, чтобы выпить воды из графина, стоявшего на приставном столике.

Около девяти часов я услышал, как в соседнюю комнату вошел заместитель начальника горотдела милиции тов. Шальнов, встал из-за стола и подошел к дверям. Я слышал, как

тов. Шальнов спрашивал обо мне у конвоиров, и, открыв дверь, сказал, что я здесь, Шальнов спросил меня, не отказывается ли арестованный от дачи мне показаний. Я ответил отрицательно. Пропуская тов. Шальнова в комнату, я увидел, что стул, на котором сидел Варнавин, пуст. Дверь на балкон была полуоткрыта.

Мною и тов. Шальновым были приняты следующие меры для розыска преступника по горячим следам:

а) организация преследования бежавшего силами конвоя,

б) личный осмотр прилегающего участка площади...»

...Перед третьим действием к театру подкатила «Волга», и худощавый человек пробежал мимо замешкавшихся билетерш в зрительный зал. Он с минуту задержался у центральной ложи, где сидело руководство, и перед самым поднятием занавеса прошел к рампе. Зал добродушно зааплодировал.

Помощник дежурного по управлению поднял руку:

— Работников уголовного розыска города и управления прошу срочно собраться в вестибюле.

Генерал и его заместитель вышли из зала первыми. В темноте раздался скрип кресел, шарканье ног. Оркестр заиграл увертюру к последнему действию пьесы, так глубоко взволновавшей Тамулиса.

...К утру и весь следующий день город был взят в невидимое постороннему глазу кольцо, и Ратанов, проезжая на машине по городу, видел на автобусных остановках, у закусочных, столовых, парикмахерских знакомых людей. Они были в одиночку и со спутницами, подолгу ждали автобусов, читали газеты на стендах, любовались витринами, разговаривали. Иногда ему встречались и незнакомые лица, в которых он безошибочно угадывал дружинников. Узнать человека, который кого-то ищет, всегда просто.

14

Барков слушал нетерпеливо и смотрел в окно.

Из кабинета Ратанова был виден ставший по-осеннему неприветливым маленький внутренний дворик и вход в КПЗ. Высокий милиционер из конвойного взвода шел по двору, держа в руках малюсенький металлический чайник.

— Есть данные, что Волчара попытается выехать со станции Неверовская, там будет находиться основная часть оперативной группы, — говорил Ратанов, он выглядел еще более серьезным и замкнутым, чем обычно, — но вы с Тамулисом поедете на сто сорок восьмой разъезд. Это довольно глухой

полустанок, там останавливается всего один поезд. На полустанке он встречается со скорым. В последний раз Волчара прибыл в город именно с этого разъезда.

— Там будет кто-нибудь в форме? — спросил Тамулис.

— Участковый уполномоченный. Ему уже позвонили.

— Можно ехать? — Барков наконец оторвался от окна: ему казалось, что Ратанов только зря тянет время.

— Волчара может появиться в клубе — клуб стоит у самой станции. В семье сторожа клуба Волчару знают: он у них раньше ночевал, — Ратанов пропустил вопрос Баркова мимо ушей. — По данным, которыми мы располагаем, Волчара переоделся, имеет при себе деньги. Насчет оружия сведений не получено, тем не менее будьте осторожны. Все. Можно ехать. Еще раз напоминаю об осторожности.

Эдик ждал их у машины.

Когда они выехали из города, было темно. По обеим сторонам дороги стоял лес. Деревьев уже не было видно — просто высокие стены сплошного черного забора касались звезд своими неровными острыми зубцами. Дорога подсохла, и «Победа» легко тянула по дороге. Иногда им попадались встречные полуторки и еще издалека начинали перемигиваться с «Победой» тусклыми желтоватыми огнями.

Метрах в двухстах от клуба они остановились. Где-то невдалеке прокричал паровоз, раздался лязг сцепляемых вагонов. Станция была рядом.

— Ну, пока, ни пера ни пуха, — шепнул Эдик, хотя вокруг никого не было.

Барков ушел на станцию, а Тамулис замешался в толпу ребят — студентов сельскохозяйственного института, проходивших практику в совхозе. Купив билет, он подошел к пожилому лейтенанту, стоявшему у дверей, и передал привет от Ратанова. Это был участковый уполномоченный, о котором их предупредил начальник отделения.

В клубе хозяйничали девчата. Они сновали по двухэтажному зданию из зала, находившегося на втором этаже, в раздевалку, к большому прямоугольному зеркалу, вставленному в массивную дубовую раму.

Тамулис сразу заметил заведующую клубом — женщину лет тридцати трех, с большими голубыми глазами и толстой длинной косой, закрученной вокруг головы. Она рассеянно, слегка морща лоб, слушала плотного крепыша в очках, говорившего ей что-то низким, грубоватым голосом.

«Когда березку стройную ты встретишь на пути, — пела радиола, — ты на нее, пожалуйста, вниманье обрати...»

В городе эту песню уже давно не пели.

Тамулисом никто не интересовался, как и он, бывало, не обращал внимания на сидящих в зале незнакомых ребят, когда приходил у себя в Каунасе на танцы. А ведь, наверное, были случаи, когда и там рядом с ним сидели тоже оперативники.

Пожилой лейтенант кивнул Тамулису. Тот вышел в коридор.

— Десятый час. Все тихо. Я, пожалуй, к Бусыгинскому клубу подамся. А заведующую я на всякий случай предупредил и тебя ей показал... Ты не против?

— Ничего... Счастливо.

Высокая, еще совсем прямая фигура участкового мелькнула в проеме дверей и исчезла.

Показался Барков. Вдвоем с Тамулисом они вышли на крыльцо. Теперь музыка звучала тише, как будто рождалась она на бетонированном лесном шоссе вместе с ночным ветром и шелестом сухих осенних листьев; ночной холодок медленно обволакивал и крыльцо, и сад, и побелевшие далекие звезды.

На шоссе слышались чьи-то голоса.

— Грустишь? — спросил Барков.

— Ну да!

С шоссе взлетела уже новая мелодия: «Все часы сговорились и не идут...»

Четверо мужчин прошли мимо них в клуб. Они шли гуськом, и один из них негромко сказал:

— Ушел. Я сам видел.

Тамулис вздрогнул. Барков с силой наступил ему на ногу.

— Он! Их четверо, нам его вдвоем не взять... Беги в Бусыгино, зови участкового...

— Почему я?

— Потому что тебе приказывает старший!

— Хорош! Ну ладно...

Тамулис спустился с крыльца, и тут же темнота словно смыла его с дорожки, чтобы выбросить где-то совсем далеко от клуба. Выждав несколько минут, Барков погасил папироску, осторожно вошел в клуб. И сразу увидел Волчару. Рядом с ним стоял второй мужчина, лицо которого Баркову показалось тоже очень знакомым, как будто он повторял уже кому-то эти запоминающиеся приметы: «Волосы черные, вьющиеся, нос с горбинкой, коренастый, в хромовых сапогах...»

Как сон!

Рядом с Варнавиным стоял оживший робот — Николаев. Черень.

Барков вспотел. Он больше не смотрел на них, боясь вызвать то странное притяжение, когда человек мгновенно оглядывается, почувствовав затылком устремленный на него тяжелый взгляд.

Черень посмотрел на часы и что-то сказал Варнавину.

«Поезд, — вспомнил Барков, — запаздывающий на час поезд!»

Теперь все зависело только от него. До поезда оставалось минут тридцать, и до этого времени Тамулис все равно не успеет.

Барков обошел здание и по пожарной лестнице поднялся к окну. Заведующая клубом вывела из зала злостного курильщика и читала ему нотацию в коридоре. Волчара и Черень спокойно стояли у дверей.

А в это время Алька уже свернул с шоссе и бежал по узкой, едва заметной тропинке, но не к Бусыгину, а к Ридину, удлиняя вдвое и без того дальнюю дорогу.

Барков снова вернулся на крыльцо. Здесь стояли двое парней, пришедших с Волчарой и Черенем.

«Надо спешить, надо действовать!»

Минутная стрелка, казалось, летела по циферблату часов.

Он поманил к себе заведующую клубом.

— Я вас давно знаю, — улыбаясь, сказала она, — я учусь в педучилище, вы дружите с Галей...

— Правильно! — перебил он. — Посмотрите на тех двух мужчин! Заманите их в свой кабинет! Во что бы то ни стало! Попросите их передвинуть денежный ящик! Им не отказаться от этого!

— Но у меня нет денежного ящика!

— Неважно... Пусть только зайдут! Быстрее!

Отойдя в сторону, он переложил ПМ в боковой карман пиджака и загнал патрон в патронник: теперь ему достаточно было опустить большим пальцем предохранитель, чтобы сделать подряд восемь выстрелов. Это было крайней мерой. Потом Барков оглянулся: Волчара и Черень спускались по лестнице. За ними странно семенила заведующая.

Они свернули в двух шагах от него в кабинет.

«Пора!» — ударило сердце.

Барков вытер платком правую руку, сунул ее в карман и распахнул дверь в кабинет. Заведующая стояла за столом, дергая запертый выдвижной ящик. Впереди у окна, прислонившись к стене, стоял Волчара, а у стола — Черень, удивленно смотревший на Баркова.

То, что они стояли не у самой двери, было чистой удачей, потому что он забыл подумать об этом.

— Я из уголовного розыска. Не двигаться. — Он сказал это не очень громко, но твердо, не голосом — всем своим существом, так, как учил его Егоров, так, чтобы и Волчара и Черень поняли, что он из тех, кто скорее умрет, чем струсит, а если и умрет, то перед смертью все равно вцепится им в руки, в горло, в одежду и будет держать самой последней, самой страшной хваткой, пока не прибудут свои.

Не вынимая руку из кармана, он щелкнул предохранителем. Если бы в этот момент они бросились вперед, он выстрелил бы прямо через карман.

— Ни с места, — сказал еще Барков, — стрелять буду сразу.

Он не спускал с них глаз, не чувствуя больше ни растерянности, ни тревоги, а только свою большую правоту, которая позволяла ему так поступать с ними. И еще вспомнил он дом в Смежном переулке и те бурые пятна на асфальте, которые по неписаной традиции называют в протоколах «похожими на кровь».

— Варнавин, повернитесь к стене! Руками одежды не касаться! Ну! А вы, — он обратился к заведующей, хотя голос его и тон не изменились и на заведующую он не смотрел, — вернетесь в зал. Если их друзья спросят вас, скажите, что они вышли из клуба. Танцы закончите пораньше. А сейчас потушите здесь свет и закройте нас снаружи на ключ. Не проходите между нами, идите позади меня. Все! Гасите свет!

Щелкнул выключатель. Завклубом еще долго возилась в коридоре с замком, слышно было, как она дважды роняла ключ, потом дернула ручку двери. Дверь была заперта.

Барков держал на прицеле Череня, Варнавин стоял от него дальше, сбоку от окна.

Прошло несколько минут, Волчара пошевелился: в комнату проникал свет уличного фонаря, и все было видно. Барков отступил назад, в темноту.

— Я предупредил, что стрелять буду сразу!

Тот что-то пробормотал, выругался.

«Попалась бы Альке машина... Какая-нибудь машина навстречу... Машина... Машина...»

Наверху зазвучал марш, и на лестнице послышались смех, громкие голоса, топот ног. Танцы закончились. Очень скоро все стихло.

Потянулись минуты молчания. Сколько их прошло? Две? Сто?

Внезапно у клуба раздался свист.

— Черень! — позвал кто-то. — Э-э-эй!

Где-то очень далеко чуть слышно крикнул паровоз.

— Закурить можно будет, начальник? — спросил Черень.

Барков перевел на него взгляд.

— Нет!

И в этот самый момент Волчара, нащупавший на подоконнике кусок железа, служивший кому-то вместо молотка, бросился на Баркова. Герман выстрелил почти в упор. В раме вылетели стекла. Черень успел схватить Баркова за руку.

Они катались с Черенем по полу, сбивая стулья, тесно прижавшись друг к другу, пачкая лицо и руки чем-то вязким и липким, пока Баркову не удалось отшвырнуть бандита в сторону, а самому облокотиться на стол и выставить вперед пистолет.

Когда Тамулис с дружинниками открыли кабинет, Барков не мог двинуться им навстречу. И ничего не сказал Альгису. Они ни о чем и не спрашивали, только увели Череня.

Герман сам дотащился до крыльца и лег там, судорожно глотая воздух. Грудь покалывало сотнями иголок, воздуха явно не хватало. Заведующая клубом приподняла его голову и положила себе на колени. Вокруг стояли какие-то люди, но Герман не замечал их. И впервые ни о чем не думал.

Вскоре одна за другой к клубу подъехали несколько машин — судебно-медицинский эксперт, следователь прокуратуры, еще много каких-то людей. Барков все еще сидел на крыльце клуба, прислонившись спиной к деревянному стояку. Из клуба вывели Николаева и провели к машине. О Волчаре никто не говорил, и Барков понял, что Варнавина больше нет.

Герману показалось, что он услышал позади себя голоса Ратанова и генерала.

— Я считаю, что оружие применено правильно, — будто бы сказал Ратанов, — другого выхода не было...

— Я с вами полностью согласен.

Барков поднялся с крыльца и сам пошел к машине. Слабость быстро улетучивалась, только глубоко вздохнуть он все еще не решался.

— Все в полном порядке, — Ратанов и генерал действительно стояли у крыльца. Увидев Баркова, они пошли ему навстречу.

— Поезжайте в город все трое, — сказал Дед, рукой подзывая к себе Тамулиса. — Сначала покажете Баркова врачу и, если все хорошо, — домой. Берите мою машину.

Шофер еле слышно, стараясь избегать резких толчков, тронул с места и повел машину к шоссе.

В пути все трое пассажиров молчали. Но если бы каждого из них спросили, о чем он думает, то оказалось бы, что все трое думают об одном человеке, об Андрее Мартынове.

Стояли ясные солнечные дни — временно установилась сухая, безоблачная погода. Старожилы на Ролдуге давно уже не знали такой тихой осени.

Как-то неожиданно появился в отделе полковник Альгин. И снова нельзя было уже представить себе отдел без Альгина: без его хозяйского глаза, без к месту вставленного им в черновик слова, даже без его «скверной» привычки насвистывать в машине.

Первое, что он сделал, придя из отпуска, — отправил всех во главе с Ратановым по грибы.

— Мы с Шальновым два дня продержимся за всех, — шутил он. — Правда, Василий Васильевич?

Шальнов принужденно отшучивался. Всем было видно, что чувствует он себя неловко, неспокойно. В управлении была создана комиссия, расследовавшая незаконный арест Арслана Джалилова и отстранившая Веретенникова от работы. Заключение комиссии ожидалось со дня на день.

Поездка за грибами прошла успешно, если не считать маленькой оплошности Тамулиса: почти все грибы, собранные им, пришлось оставить в лесу — они оказались несъедобными.

Несмотря на усталость, в машине все время пели песни, сначала современные, молодежные, а когда репертуар иссяк, Егоров стал запевать военные, а потом и предвоенные. Все ему дружно подтягивали.

Один Ратанов был какой-то невеселый, хотя и старался улыбаться и петь вместе со всеми. Вскользь он сказал, что Ольга Мартынова собирается уезжать с Игорешкой в Москву.

Ольга уезжала в середине октября, в воскресенье, и проводить ее пришли многие. По заранее намеченному и утвержденному Ольгой плану собрались не на вокзале, а в круглом маленьком скверике в центре города: Ольга не хотела прощаться на перроне.

И потому, что собралось много людей и встретились они в самой шумной части города, прощание не было печальным. Ольга держала себя мужественно. Говорили о гастролях в городе кубинского певца, о предстоявшем строевом смотре, о

деревянных катерах Игорешки, которые смастерил ему Егоров.

Когда все уже были в сборе, на попутной машине приехали Барков и Галя. Баркова никто не ждал, так как он был в отпуске и должен был вернуться из Ленинграда не раньше среды. Его появление вызвало сенсацию.

На Гале было новое модное пальто, купленное, по-видимому, в Ленинграде. Она выглядела в нем еще более застенчивой и смущенной против обычного, но по ее счастливым глазам, выражению лица и по тому, как она, здороваясь и разговаривая, на виду у всех держит Германа за руку, все предположили, что о помолвке может быть объявлено в ближайшие дни или даже часы.

— Как там мой «крестник»? — спросил Барков у Ратанова.

— Арслан? О нем скоро все услышат. С ним сейчас встречается спецкор по нашей области: Арслан решил написать письмо ко всем, кто еще не нашел свой путь.

— Молодец!

— Кстати, — сказал Егоров, — тебя и Алика на днях вызовет к себе генерал.

— Зачем? — встревожился Герман.

Ратанов и Егоров засмеялись.

— Не томите его, — сказала Вера Егорова, — скажите!

— И еще! — Егоров поднял вверх указательный палец. — Передай своей хозяйке, что на днях к тебе соберутся гости, твои друзья по работе. Я думаю, что вы с Тамулисом не позволите себе уйти в областной уголовный розыск так... Правда, Галя? Это было бы неэтично.

Мимо них густым потоком шли люди. Некоторые смотрели в их сторону и улыбались. Может, они знали кого-то из оперативников в лицо, а может, у них просто было легко на душе оттого, что строились вокруг благоустроенные дома, росли хорошие дети, светило солнце и на красном полотнище, протянувшемся через всю улицу, большими буквами было написано: «Миру — мир!»

— Когда-нибудь, — задумчиво сказал Ратанов и положил Игорешке руку на плечо, — на одной из площадей горисполком поставит памятник. Памятник оперативному уполномоченному. И поступающие в милицию, все, в любом звании, будут давать у памятника клятву: всю свою энергию, любовь, жизнь посвятить людям...

Он вдруг замолчал, ощутив рядом сразу окаменевшее, налившееся тяжестью тело жены Андрея Мартынова, ее мгновенно наполнившиеся слезами большие грустные глаза, дрог-

нувшие губы. Ратанов пожалел о вырвавшихся у него словах. «Она еще слишком слаба», — подумал он.

Но он ошибся: Ольга нашла в себе силы и заговорила спокойным, низким, чуточку суховатым голосом:

— Я вижу этот памятник. Высокий, сильный человек пристально вглядывается в даль. Простой беспокойный человек, в плаще, в чуть сдвинутой на лоб шляпе... Ему всегда нелегко, но он улыбается... Он был нужен людям и был счастлив...

ОБ АВТОРАХ

Юрий Николаевич Авдеенко родился в 1933 году. Детство его прошло на Северном Кавказе, на берегу Черного моря, и все воспоминания и впечатления той поры остались связанными с небольшим промышленным, портовым и курортным городом на побережье — родным Туапсе.

Юрий Авдеенко переступил порог первого класса в тот год, когда началась Великая Отечественная война. Вскоре она докатилась до его города, линия фронта приблизилась к самому Туапсе. На долю восьми-десятилетнего мальчика выпали полной мерой все тяготы суровой военной поры.

После окончания школы он был призван в ряды Советских Вооруженных Сил, служил в пехоте — рядовым, сержантом. Демобилизовавшись, Авдеенко поступил во Всесоюзный институт кинематографии, на сценарный факультет. В студенчестве он начал пробовать свои силы в литературе, в трудоемком жанре рассказа. Первый его рассказ «Ландыши» был опубликован в 1957 году в журнале «Советский моряк». В этом лирическом и юмористическом произведении нашли отражение его впечатления о службе в армии, воспоминания о море, с которым было связано все его детство.

Еще до окончания ВГИКа Авдеенко понял, что его жизненные устремления не с кино, а с литературой. Выйдя из институтских стен, он начал работать редактором в журнале «Старшина — сержант», затем — в Военном издательстве Министерства обороны СССР, в издательстве «Молодая гвардия». В настоящее время Ю. Авдеенко — заместитель главного редактора издательства «Московский рабочий».

Все годы он постоянно и упорно занимается литературной работой. Его произведения публикуются на страницах журналов «Советский воин», «Старшина — сержант», «Смена», во многих газетах. В 1965 году в Военном издательстве вышел его первый сборник рассказов «Крылатый день»; в 1967 году, в издательстве «Молодая гвардия» — книга «Лунная радуга», в которую вошли одноименная повесть и повесть «Этажи». Спустя год Военное издательство выпустило сборник повестей и рассказов Ю. Авдеенко «Солнце над окопами», а в 1972 году в издательстве «Молодая гвардия» вышел в свет его первый роман «Этот маленький город». Рассказы Ю. Авдеенко включались в сборники «Приключения», издаваемые «Молодой гвардией».

В 1969 году Юрий Авдеенко был принят в члены Союза советских писателей.

Две темы определяют литературную биографию Юрия Авдеенко. Первая неразрывно и плодотворно связана с впечатлениями детства, с родным городом, с его нелегкой и героической судьбой. Именно тогда, в пору детства, воображение и память будущего писателя обогатились образами героев его произведений, олицетворяющих такие черты характера, как мужество, отвага, в поступках, проявляющих высокую меру любви к Отечеству и патриотизма. В памяти детства следует искать и благодарную привязанность писателя ко второй теме, проходящей через все его творчество, — теме Советской Армии, подвигам ее солдат. Служба в рядах Советских Воо-

руженных Сил дала писателю возможность достоверно и ярко рассказать о жизни молодых воинов в мирное время, раскрыть тему боевых традиций Советской Армии, преемственности поколений. Вполне естественно, что эти две темы очень часто переплетаются в творчестве писателя, взаимно обогащая друг друга.

Яркий пример тому — тепло встреченный читателями роман Юрия Авдеенко «Этот маленький город», посвященный героической обороне Туапсе во время Великой Отечественной войны. Писатель показал яркие характеры героев — защитников города, воинов Красной Армии, моряков флота — и в то же время с проникновением, лиризмом и любовью нарисовал образы мирных жителей города, представителей старшего поколения и своих тогдашних сверстников, рассказал об их жизни, полной тревог, трудностей и свершений.

В предлагаемой вниманию читателей повести «Последняя засада» из сборника «Солнце над окопами» мы опять становимся свидетелями драматических событий, разворачивающихся на Северном Кавказе и Кубани. Герои повести — красные кавалеристы. В «Последней засаде» рассказывается о борьбе с бандитами в 1933 году, когда на Северном Кавказе завершалась многотрудная работа по утверждению колхозного строя.

По всем литературным канонам эта повесть — произведение приключенческого жанра, с острыми и неожиданными поворотами сюжета, динамизмом, яркими характерами героев, проявляющимися в острых ситуациях. Следует сказать, что Юрий Авдеенко обратился к этому жанру не сразу. Первые его литературные работы были, как правило, бессюжетны. Однако стремление раскрыть героические характеры, показать сложные жизненные ситуации, реальные исторические события привели писателя к поискам наиболее емких и в то же время лаконичных и четких приемов, свойственных именно остросюжетной, приключенческой литературе. Кроме повести «Последняя засада», в таком же ключе им написаны повести «Полковник из контрразведки», «Четыре почтовых голубя», несколько рассказов.

В настоящее время Юрий Авдеенко закончил работу над новым романом — «Дикий хмель», в котором отошел от своей излюбленной тематики и приключенческого жанра. Писатель обратился к исследованию новых для своего творчества пластов жизни: взаимоотношения в молодежном рабочем коллективе. События романа развертываются в Москве, в наши дни. Но эта работа завершена, и Юрия Авдеенко снова манят море, героика, неиссякаемые впечатления детства и юности. «Буксир в далекие моря» — так условно назвал он новое произведение, которому в ближайшие месяцы будет отдавать свое время и свои творческие силы.

В. ПОНИЗОВСКИЙ

Леонид Семенович Словин родился в Москве в 1931 году. Но прежде чем познакомить читателей с его биографией, мне бы хотелось рассказать о нашем первом, правда, заочном знакомстве.

Для этого мне надо вспомнить ребят из Балашихинского отделения милиции, с которыми вместе работал десять лет назад. Вспомнить оперативников Володю Лепилова и Васю Паршикова, вспомнить эксперта Казначеева и его маленький чемоданчик с «инструментами», которые теперь стали архаикой. У ребят в Балашихе была огромная территория. И на ней располагалось все: пивные, ресторан, стадион, лесной массив с озером, сотни овражков, оврагов и насыпей и дачи, которые почти всегда пустовали. А рядом была Москва. И в Балашихе иногда оседали те, кто боялся показываться в столице. Их влекла видимая безнаказанность и провинциальная тишина.

Кое-кто из этих людей зимой селился в брошенных дачах... Да, что говорить, работы было много, а техники почти не было. Даже на происшествие не всегда ездили на машинах, чаще пешком или на автобусе, но все же в районе не было нераскрытых преступлений, а у моих друзей из угрозыска не было ни одного свободного дня. Но именно такая работа была для них делом жизни и самым большим счастьем.

Однажды, во время ночного дежурства, мы сидели с Володей Лепиловым в маленькой комнате, на дверях которой была пугающая надпись: «Уголовный розыск». Дежурство было удачным; после часа ночи телефон замолчал. Я рассматривал в сотый раз альбом, доставшийся нам в наследство еще от уездной милиции. В нем был собран весь цвет преступного мира двадцатых годов: налетчики, медвежатники, конокрады, фармазонщики. Это были фотографии мамонтов, вымерших так же, как и их воровские «профессии».

Телефон молчал. Я листал альбом, а Володя Лепилов читал книгу в тонком картонном переплете. Он открыл ее в девять вечера и, не отрываясь, прочел всю сразу. Потом он отложил ее, прошелся по комнате.

— Слушай, — он заглянул через мое плечо в альбом, — брось ты покойников. Лучше прочти эту книжку.

— Интересная?

— Очень. Этот парень пишет о милиции так, словно сам работал в угрозыске. Необыкновенно точно, и именно эта достоверность деталей дает полное ощущение правды.

Я взял книгу, на титульном листе: Л. Словин, «Такая работа», повесть, Ярославское книжное издательство.

Открываю наугад: «Дежурное помещение — сердце милиции. Это сердце стучит быстро и медленно, ритмично или неритмично, тоны его то точны. то пугают шумом, иногда кажется, что оно не выдержит нагрузки и вот-вот выскочит из груди, — но оно никогда не останавливается, это сердце, и бьется в любое время дня и ночи. Телефоны в дежурной комнате милиции, как чуткие сейсмические приборы, регистрируют мельчайшие, не ощутимые непосвященным и «подземные толчки» городской жизни. Они почти беспрерывно звонят примерно до часа ночи, потом умолкают и пробуждаются лишь для того, чтобы сообщить о неожиданном и важном».

Меня сразу же поразила необыкновенная схожесть обстановки. Дежурства, которые описывал автор, и того, что про-

исходило этим вечером, ночью и произойдет утром. И я начал читать дальше, все больше поражаясь достоверности написанного, и, увлекшись, словно перенесся в другой город, в другую дежурную комнату и сам стал причастным к трагическим событиям, происходящим такой же ночью, как и сегодняшняя.

В повести есть кусок, когда хоронят убитого бандитами молодого талантливого оперативника — капитана милиции Андрея Мартынова. Этот эпизод выписан настолько правдиво, что кажется, будто ты сам побывал на этих похоронах, шел за гробом вместе с товарищами Андрея.

Короче, прочитав повесть, я решил просмотреть все книги Л. Словина. Но в каталоге Ленинской библиотеки, к сожалению, числилась всего одна — «Такая работа». Все же, правда, много позже мне пришлось вновь столкнуться с этой фамилией уже на страницах «Искателя». Но теперь героем писателя стал постовой на одном из московских вокзалов сержант Денисов. И снова, прочитав рассказ, я подивился необычайной точности деталей и ненадуманности сюжета.

В начале этого года знакомая фамилия появилась в журнале. Л. Словина хвалило «Литературное обозрение». А потом я прочитал его фамилию среди участников семинара в Дубалтах. Теперь все стало на свои места. Леонид Словин действительно был работником милиции, более того, заместителем начальника уголовного розыска отдела милиции на станции Москва-Павелецкая. То есть одним из немногих участников семинара, который оказался настоящим сыщиком.

Познакомились мы с ним позже, летом. Леонид принес в редакцию свою новую повесть, герой которой был все тот же сержант Денисов, которого уже успели полюбить читатели «Искателя» и молодогвардейских сборников «Приключения».

Когда он пришел в нашу комнату, поздоровался и голосом, чуть глуховатым от смущения, представился — «Словин», я сначала не поверил. Уж больно не был похож он на своих героев: высоких, элегантных, современных ребят. Также не был он похож и на майора милиции. Невысокий, чуть сутулый, в роговых очках, Леня Словин скорее напоминал аспиранта с кафедры математики МГУ. Оговариваюсь сразу. Ни с одним из них я не знаком, так что представляю эту высокоинтеллектуальную категорию только по книгам и фильмам.

...Он считал себя неудачником. И неприятности начали преследовать его сразу же по окончании института и продолжались почти три года. Леня Словин кончил юрфак МГУ. Работать в милицию решил идти сразу же после первой практики. И если многие его сокурсники колебались между прокуратурой и адвокатурой, он знал точно — угрозыск. Но что-то не сработало, не повезло, что ли, и поехал он в город Кострому в адвокатуру. Он дежурил в юридической консультации (а думал об угрозыске), разговаривал с подзащитными (которые могли бы быть его подследственными), в суде пререкался с прокурором (а хотел помогать ему).

И все это время он приходил в УВД, беседовал с разными начальствующими лицами и просился на работу в милицию.

Кое-кто никак не мог понять, как молодой, но ставший уже заметным адвокат может проситься на работу, где он теряет ровно половину заработка.

Но люди были нужны, и Леонида Словина все-таки берут в милицию следователем.

Так в первом отделении милиции города Костромы появляется новый лейтенант. А через год он переходит в областное управление, в отдел уголовного розыска. Первая должность звучит непонятно и не очень романтично: инспектор уголовного розыска по предупреждению краж крупного рогатого скота. Специальные книги по зоотехнике и ветеринарии Леня Словин нашел легко, но при его работе ему просто необходима была еще одна — учебник цыганского языка. Любопытно, что после революции это учебное пособие не переиздавалось ни разу. В поиски его он вложил напор оперативника и страсть библиофила. Он завел знакомство со всеми букинистами и книголюбами, и наконец нужная книга была найдена.

Это была нелегкая работа. Молодой оперативник не вылезал из районов. Первые его дела мало походили на раскрытие убийств и поединки с медвежатниками. У каждой профессии есть свой специфический язык. Есть такой и у работников угрозыска, дела, которыми занимался Словин, именовались «мелочевкой». Так называли работу бесперспективную, скучную и, главное, не очень легкую. Но именно эта работа заложила фундамент оперативного опыта. Леонид предупреждал и раскрывал кражи. И это было совсем нелегко, если учесть специфику его работы.

Именно с этой не очень романтической должности начался служебный рост офицера милиции. Через два года капитан Словин стал начальником отделения уголовного розыска районного отдела милиции. Там вместе с ним работал старший оперуполномоченный Саша Печурин. Наверное, нигде так чисто и преданно не дружат люди, как в авиации, на флоте, в геологии — везде, где человеческие отношения сцементированы тем элементом риска, которым пронизана профессия. Перечисляя многие настоящие мужские профессии, нельзя забывать о милиции, где риск является слагаемым службы.

Они были очень дружны — Леня Словин и Саша Печурин. Они не думали о риске, они были молоды и просто не верили, что с кем-нибудь из них случится что-то нехорошее.

И это случилось. Ночью седьмого ноября. В праздник. В квартире Словина зазвонил телефон. Звонок его тревожно и резко разорвал магнитофонную музыку и смех гостей.

— Словин слушает, — поднял он трубку.

— Товарищ капитан, — голос дежурного срывался от волнения, — старшего лейтенанта Печурина убили. Машина за вами выслана.

И сразу же наступила тишина. Хотя крутились бабины магнитофона и гости говорили о чем-то веселом и хорошем. Он не слышал их. Только голос дежурного бесконечно и хрипло повторял в памяти: «Убили... Убили... Убили...» Потом машина неслась по пустым иллюминированным улицам, а он

все слышал этот голос, и ему становилось тревожно и зябко.

Они нашли убийцу своего товарища. Но мне нет смысла повторяться, потому что именно об этом написана повесть самим Леонидом Словиным, и называется она «Такая работа». Это о ней разговаривали мы на дежурстве с Володей Лепиловым. Книгу эту переиздало издательство «Молодая гвардия» в 1969 году.

Он начал писать свою первую книгу, не надеясь, естественно, что она увидит свет. Он писал ее просто так, в память о погибшем товарище. С того дня, как впервые Леонид Словин сел за писательский стол и ощутил страх, который чувствует пишущий человек, оставаясь один на один с чистым листом бумаги, прошло немало лет.

В творческом активе писателя Словина четыре повести, больше десятка рассказов. Он автор трех отдельных книг, которые переиздавались в Болгарии и Чехословакии, и одной пьесы, которая шла в костромском театре.

Много ли это для писателя? Трудно судить. У каждого пишущего человека своя индивидуальная манера работы. А вот для майора милиции это немало. За последнее время в нашей приключенческой литературе появились проходные герои. Это Слава Костенко Юлиана Семенова, Александр Белецкий Анатолия Безуглова и Юрия Кларова, Сергей Коршунов Аркадия Адамова. Есть такой герой и у Леонида Словина. И выгодно отличается от героев других писателей. Прежде всего тем, что это вполне реальный человек, с которым Леонид уже несколько лет работает вместе. Видимо, профессиональная зоркость оперативника и талант литератора помогли Словину так точно срисовать с Николая Акимова своего героя-сержанта, а позже — лейтенанта Денисова. И если говорить честно, то Леонид Словин находится в более выгодном положении, чем его товарищи по литературному цеху. Ему не надо тратить время на поиски материала: постоянное общение с героями позволяет ему писать их смело и емко.

Кажется, почувствовав себя достаточно прочно в литературе, можно было бы спокойно сменить беспокойную службу сыщика на труд писателя. Но все дело в том, что писатель Словин не мыслит себя без майора Словина. Его работа начинается сразу же, как только он выходит из метро «Павелецкая». И хотя площадь эта уже «полоса отчуждения», все равно это уже его территория, потому что он отвечает за спокойствие и безопасность всех тех, кто ждет такси, берет билеты у касс, сдает вещи в камеру хранения, садится в поезд. Его территория — это площадь, перроны, здания вокзала и многие километры рельсов. Если попытаться выразить математически один день работника уголовного розыска, то он выглядел бы приблизительно так: день, к которому плюсуется бесконечность забот.

...А дома на столе ждет новая рукопись, и называется она «Вокзал». Но что делать, найдется и для нее время. А пока некогда. Что поделаешь, такая работа.

Э. ХРУЦКИЙ

В конце шестидесятых и в начале семидесятых годов на страницах центральных и периферийных журналов одна за другой появилось несколько повестей, подписанных именем **Павла Шестакова.** И хотя это имя ни о чем еще не говорило искушенному читателю, а повести явно тяготели к детективному жанру, они, против ожидания, были сразу же замечены серьезной критикой. Авторы ряда статей, опубликованных в «Литературном обозрении», в журнале «Молодая гвардия» и в других периодических изданиях, единодушно признали факт рождения нового писателя. Так Павел Шестаков вошел в нашу литературу. Ныне он — член Союза писателей СССР, собственный корреспондент «Литературной газеты».

Чем же объяснить столь быстрый успех молодого литератора? И был ли этот успех таким неожиданным, как это можно себе представить? Нет, дело обстоит несколько серьезней, а причины, обусловившие признание Павла Шестакова, гораздо глубже, чем кажутся на первый взгляд.

Павел Шестаков родился в 1932 году в Ростове. В 1954-м он окончил исторический факультет Ростовского университета, после чего работал учителем, научным сотрудником музея. Мы не случайно останавливаемся на этом. Занятия историей, требующие кропотливости и пристального внимания к предмету, развивают в Павле Шестакове те качества, которые впоследствии так пригодятся ему, — умение в малом видеть большое, оперировать, казалось бы, второстепенными фактами и деталями, мыслить логически.

История — наука точная. Доказательство, основанное на материальных фактах, в истории ценится так же, как логическое построение в математике. Именно этот метод Павел Шестаков позднее привнес в свои повести: именно он в сочетании с особой манерой стиля — неторопливой и обстоятельной — обеспечил успех его первым литературным опытам. Это были повести «Через лабиринт», «Игра против всех», «Отпуск в Дагезане», «Давняя история». Объединенные в один сборник, они вскоре вышли в издательстве «Молодая гвардия».

Сборник определил направление творческих поисков Павла Шестакова. Писатель довлел к сюжету острому и занимательному, к интриге интересной, тонкой и неожиданной. Но уже тогда была подмечена одна особенность шестаковской прозы — ее серьезная психологичность. Да, Павел Шестаков строил сюжет по давно апробированным в детективе канонам, но классицизм формы приобретал неожиданную окраску, смягченный непривычными, казалось бы, интонациями. Павел Шестаков не делил резко своих героев на преступников и представителей закона; те и другие у него были прежде всего людьми — со своей жизнью, проблемами, интересами, но одни из них по каким-то причинам нарушали законность и нормы человеческой морали, другие же отстаивали их. Причины, толкавшие первых на путь преступлений, и составляли предмет пристального внимания Павла Шестакова. С другой стороны, писателя привлекали и такие разнополюсные понятия, как мужество и гражданская робость, гуманизм и бесчеловечность, самоотверженность и расчетливость. Они сопутствуют человеческой жизни, и, думая о них, Павел Шестаков осмысливал их истоки, их корни и взаимосвязь.

Повесть «Страх высоты», предлагаемая ныне читателям «Подвига», продолжает развивать те положения и взгляды, которые приняты в творчестве Павла Шестакова за отправные. На первый взгляд в повести нет криминальной тайны, то есть того, что составляет костяк каждого детектива. Но это только на первый взгляд. На самом же деле тайна существует, и Павел Шестаков с присущим ему мастерством раскрывает ее. Под пером писателя процесс моральной и физической гибели человека, пораженного крайним индивидуализмом, вырастает в нравственную проблему чрезвычайного значения и актуальности. В повести немало действующих лиц, но лишь два героя несут ее основную нагрузку — следователь Мазин и молодой ученый Тихомиров.

Оба они — представители одного поколения, и, стало быть, возможно предполагать их философское и нравственное родство. Но, как увидит читатель, дело обстоит совсем наоборот. То, что кажется важным Мазину, не принимается Тихомировым, человеком, несомненно, талантливым, но рационально-холодным, расчетливым, стоящим «выше» тех принципов, которые исповедуют живущие рядом с ним люди. Чувство моральной ответственности чуждо Тихомирову, и это в конце концов приводит его к нравственному преступлению.

Мы не станем разбирать здесь достоинства и недостатки повести — это дело критиков. Отметим только, что ее нравственно-этические идеи не вступают в противоречие с детективным сюжетом, а, наоборот, острота повествования, драматизм его ситуаций помогают нам глубже взглянуть на многое в окружающей нас жизни, дают возможность отличить истинное от мнимого. Читая повесть Павла Шестакова, мы думаем не только о людях, прошедших перед нами, но и о самих себе, черпаем в ней мысли о том, как прожить свою жизнь достойнее и вернее.

Б. ВОРОБЬЕВ

СОДЕРЖАНИЕ

Ответственные за издание

О. ПОПЦОВ, С. РОМАНОВСКИЙ.

Повесть Ю. Авдеенко «Последняя засада» рассказывает о тревожных 30-х годах на Кубани, о борьбе чекистов с остатками белогвардейщины.

В своей повести **Павел Шестаков** знакомит читателя с кропотливым и сложным трудом работников милиции. Это рассказ о том, с какими трудностями сталкиваются работники уголовного розыска.

Повседневной работе горотдела милиции, его боевым будням посвящена повесть **Л. Словина.** Время действия — наши дни.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ», т. 4. М., «Молодая гвардия», 1974 г. 368 стр. 69 коп.

Редактор-составитель *Э. Хруцкий*
Обложка *В. Федорова*
Рисунки *Б. Чупрыгина, А. Тюрина, В. Федорова*
Оформление *А. Шипова*
Художественный редактор *М. Михайлов*
Технический редактор *Л. Коноплева*
Корректоры: *Г. Василёва, Л. Четыркина, З. Харитонова*

Сдано в набор 23/IX 1974 г. Подписано к печати 9/XII 1974 г. А07840. Формат 84×108[1]/32. Бумага № 2. Печ. л. 11,5 (усл. 19,32). Уч.-изд. л. 23. Тираж 300 000 экз. Цена 69 коп. Заказ 1969.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

